

*К 60-летию снятия
блокады Ленинграда*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2003

ИЗ ИСТОРИИ КУНСТКАМЕРЫ

1941–1945

СЛОВО ТЕМ, КТО СОХРАНЯЛ МУЗЕЙ

СЛОВО ТЕМ, КТО ВОЕВАЛ

СЛОВО ТЕМ, КТО РАБОТАЛ

СЛОВО ДЕТЯМ БЛОКАДЫ

1941—1945 годы по праву можно назвать наиболее яркими и трагическими из всей богатейшей истории Петровской Кунсткамеры.

Война унесла почти половину сотрудников Музея. Но трагическое соседствовало рядом с героическим, об этом свидетельствуют скупые слова воспоминаний самих сотрудников, сумевших сохранить музейные ценности, с оружием в руках защищавших нашу Родину, наш город, наше культурное наследие, наш Музей.

Сейчас это актуально не только в связи с празднованием 27 января 2004 года 60-летия со дня снятия блокады Ленинграда, но и в связи с пристальным вниманием общественности к возрождению духовных и культурных традиций. Эта публикация найдет отклик и за рубежом благодаря широкой мировой известности нашего Музея.

Рассчитана на массового читателя.

Ответственный редактор
заслуженный деятель науки РФ, д.и.н. А.С. Мыльников

Составитель
к.и.н. В.Н. Вологодина

«В Ленинграде, где фронт и тыл были неразделимы, сражались все. Ленинград защищали не только пехотинцы, артиллеристы, летчики, моряки, но и рабочие, инженеры, ученые, художники, медики, актеры — люди разных профессий и возрастов, даже дети».

Михаил Дудин.
Из предисловия к книге А. В. Бурова
«Блокада день за днем»
[Лениздат, 1979]

Прежде чем ознакомить читателя с воспоминаниями наших ветеранов, чьими трудами был сохранен Музей в годы Великой Отечественной войны, необходимо сказать несколько слов о них самих. Они принадлежат к блестящей плеяде исследователей, пришедших в этнографию в 20—30-е годы. Их учителями были такие признанные авторитеты в области этнографии и смежных с ней дисциплин, как Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, А.Я. Штернберг, В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин, И.И. Зарубин, Б.Н. Вишневский и другие. Придя в Институт этнографии АН СССР, молодые исследователи не ограничивались научно-исследовательской деятельностью. Они вели большую музейную работу — участвовали в экспедициях, где собирали новые коллекции, устраивали выставки, создавали научную документацию коллекций, налаживали учетно-хранительскую работу, вели экскурсии и т.д. Недалеко многих из них называли «подвижниками-энтузиастами» музейного дела.

Воспоминания наших ветеранов далеко не исчерпывают всех сложностей в поистине самоотверженной работе по сохранению музейных ценностей, которые они преодолевали, как и всего пережитого в те суровые годы. Многие могли бы добавить сотрудники, к сожалению, уже ушедшие из жизни.

Охрана здания и подготовка его как объекта обороны города осуществлялась самими сотрудниками. На набережной перед Музеем появились окопы. Вход в Таможенный переулок был перекрыт надолбами с колючей проволокой. Башня Кунсткамеры должна была служить наблюдательным пунктом и огневой точкой, как и два угловых кабинета первого этажа, куда были доставлены артиллерийские орудия. Только по настоятельной неоднократной просьбе сотрудников Музея по

распоряжению первого секретаря обкома и горкома партии и члена Военного совета Северо-Западного фронта А.А. Жданова огневая точка с башни была снята.

Недавно, после того, как рассекретили архивы [см.: Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1999], был обнаружен подлинник документа, подтверждающий этот факт. Приводим его текст:

№ 21

Письмо И.Н. Винникова

*А.А. Жданову и секретарю Василеостровского
РК ВКП(б) А.А. Шишмареву с протестом против
устройства огневых точек в здании Кунсткамеры*

23 сентября 1941 г.

Распоряжением начальников I и II участков обороны Василеостровского района в здании музея Института этнографии Академии наук СССР (кстати, это здание является одним из немногих сохранившихся древнейших сооружений нашего города; в этом здании были заложены великим Ломоносовым основы русской науки и помещалась прославленная Кунсткамера, учрежденная Петром I) приступлено к оборудованию и установке огневых позиций и точек. При этом позиции и точки устанавливаются в помещениях, в которых хранится огромное количество коллекций, имеющих общегосударственное и мировое значение. Эти коллекции не могут быть перемещены ни в какое другое помещение внутри здания, а самые помещения не могут быть изолированы от других помещений музея, которые, в свою очередь, заняты ценнейшими собраниями. Далее, неизбежное размещение в музее воинской части для обслуживания названных огневых точек нарушит всю систему охраны здания музея и его ценностей и в значительной степени нарушит проводимую научным персоналом музея работу.

Так как музей Института этнографии Академии наук СССР является учреждением, имеющим всесоюзное и об-

ценациональное значение, я считаю своим долгом обратить внимание Военного совета обороны г. Ленинграда на необходимость принятия всех возможных мер для обеспечения сохранности накопленных столетиями ценностей музея.

*Директор Института этнографии
Академии наук СССР
профессор И. Винников*

Резолюция: «тов. Шишмареву.

Это верно. Жданов»

[ЦГАИПД СПб., ф.24, оп.2-б, д.1057, л.14—14 об.].

Здание Музея сильно пострадало от артобстрелов. Осколки снарядов повредили крышу, стены и окна. Сотрудникам приходилось постоянно чинить крышу, заделывать окна фанерой. Осколки снарядов залетали в оконные проемы, но надежно укрытые экспонаты почти не пострадали. Значительный ущерб зданию нанесли зажигательные бомбы. Больше всего страдала башня. Дважды на ней возникал пожар. Сотрудники тушили его водой, которую по цепочке в ведрах передавали из проруби в Неве.

Эвакуировать уникальные коллекции Музея не представилось возможным. Ящики с упакованными в них экспонатами были сначала рассредоточены в подвалах, затем по всему первому этажу здания. 125 ящиков с наиболее ценными экспонатами передали на хранение в Эрмитаж. В залах остались музейная мебель, манекены и большие предметы, не поддающиеся разборке, укрытые картоном или фанерой.

Зима 1941/42 года — наиболее тяжелый период блокады Ленинграда. От голода и болезней, вызванных голодом, скончалось 33 сотрудника. Многие умерли в Музее, так как переселились сюда из своих квартир вместе с семьями. Совместная жизнь и работа помогали им выдержать испытания. Они работали над кандидатскими и докторскими диссертациями, обрабатывали коллекционные материалы. Некоторые умирали прямо за письменным столом, как солдаты на поле боя...

За годы войны и блокады Музей потерял почти половину своих сотрудников, которые пали в боях за Родину и умерли от голода. Среди погибших были ученые, опытные музейные работники, успешные сочетавшие музейную и научную работу, а также технический

персонал. Среди них научные сотрудники С.А. Штернберг, Н.П. Дыренкова, А.Б. Пиотровский, А.Н. Генко, Г.Н. Прокофьев, Г.И. Петров, В.В. Екимова, А.Н. Юзефович, В.Е. Краснодембский, А.Н. Кондауров, Е.В. Жиров, заведующий негатекой Е.П. Эмме, библиотекарь Е.М. Кубиш, реставратор О.В. Гущина, научно-технические сотрудники Н.Р. Косинковский и Г.П. Баевич, препараторы В.А. Елкин, А.А. Луконина, вахтер А.В. Козлов.

Летом 1942 года состоялась массовая эвакуация сотрудников Музея. Постоянную вахту при Музее осталась нести небольшая группа научных сотрудников и технического персонала. Благодаря их самоотверженности были спасены уникальные коллекции Кунсткамеры, сохранилось и само здание.

Эвакуировались в 1942 году научные сотрудники С.М. Абрамзон, Е.Э. Бломквист, Н.А. Бутинов, Г.М. Василевич, И.С. Вдовин, И.Н. Винников, А.Э. Каруновская, В.Е. Краснодембский, Ю.М. Лихтенберг, А.А. Попов, А.П. Потапов, М.В. Степанова, Н.Н. Степанов, Г.Г. Стратанович, В.Г. Трисман, Т.А. Юзепчук и др.

Остались охранять Музей Уполномоченный от Президиума Академии наук, заведующий Отделом оформления, впоследствии первый директор Музея М.В. Ломоносова Р.И. Каплан-Ингель (1884—1951), старший научный сотрудник К.В. Вяткина (1892—1974), младшие научные сотрудники В.В. Федоров (1892—1976), М.Д. Торэн (1904—1974), В.В. Антропова (1909—1976), заведующая канцелярией А.Н. Калдыкина (1899—1988), комендант Е.А. Максимова, препаратор Н.В. Андросова, вахтеры П.Н. Артамонова, А.Н. Макарова, О.П. Карманова, М.Г. Константинова, рабочие З.И. Каплан, Н.В. Парамонова, дворник М.В. Евстратова.

Вспоминая те суровые и героические дни, нельзя не сказать о сотрудниках Института этнографии, с оружием в руках защищавших нашу страну, наш город, наше культурное достояние. Их было восемнадцать (основной состав сотрудников на 1 января 1941 года — 103 человека), ушедших на войну. По мобилизации ушли в армию заведующий отделом учета и хранения И.Я. Треногов, старшие научно-технические сотрудники Г.А. Гловацкий и И.И. Сазонов, аспирант М.К. Кудрявцев, электромонтер Ю.Н. Смирнов, экскурсовод А.И. Собченко, дворник П.Д. Рыжаков.

Ученый секретарь И.И. Насекин ушел в армию в августе 1941 года. Девять сотрудников Института вступили добровольцами в ряды народного ополчения, в состав Василеостровской дивизии. Созданная в июле 1941 года, она объединила всех добровольцев-мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, значительную часть которых составляли научные работники,

преподаватели вузов, студенты. От нашего Музея в нее вошли научные сотрудники Г.Д. Вербов, Н.П. Никульшин, А.И. Лавров, А.Н. Нечаев, Н.Б. Шнакенбург, аспирант С.Р. Смирнов, помощник директора по АХЧ Ф.Б. Шапиро, служащая Е.К. Иванова. Василеостровская дивизия героически сражалась на подступах к Ленинграду. Особенно тяжелыми были сентябрьские бои, когда враг вплотную подошел к нашему городу. Очень многие ополченцы погибли. Им было приказано стоять насмерть. И они стояли.

К сожалению, нам известны далеко не все военные пути-дороги наших фронтовиков, их судьбы. Они служили в разных составах войск, участвовали в боях на Ленинградском, Волховском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских, Белорусском, Дальневосточном и других фронтах, на Балтийском флоте. Разные воинские должности и звания имели они — от рядового солдата и матроса до полковника. Среди них были командиры взводов и рот, политработники, военные топографы, штабные работники. Многие были тяжело ранены и контужены, им довелось тонуть в зимних водах Балтийского моря, принимать вражеский огонь на себя, выходить из окружения. Некоторым пришлось изведать участь военнопленных. Они выдержали все. Но назад вернулись не все. Погибли сибиреведы Г.Д. Вербов (заведующий отделом Сибири), Н.П. Никульшин; японист А.А. Савинич, специалист по финно-угорским народам и народам Индонезии И.М. Лекомцев, специалист по чукчам Н.Б. Шнакенбург, сотрудник Института этнографии по издательской деятельности А.М. Кукулевич, кочегар К.Н. Шакуров, рабочий А.Н. Шакуров, дворник Н.В. Евстратов и другие. Они ушли из жизни, так и не успев проявить все свои творческие возможности, докончить начатые ими дела.

Про Г.Д. Вербова, Н.П. Никульшина, Н.Б. Шнакенбурга можно было сказать: неизвестно, где больше времени проводили они — дома за письменным столом, в Музее или в поле. Как и их старший товарищ Георгий Николаевич Прокофьев, скончавшийся от голода в блокадном Ленинграде, они длительное время жили и работали среди изучаемых ими народов — селькупов, ненцев, эвенков, чукчей, эскимосов и других. Зная их язык, они учили детей, и что самое важное — принимали непосредственное участие в составлении учебных пособий (букварей, грамматик и т.п.). Они собирали этнографические материалы, которые использовали в своих научных трудах, привозили коллекции. И погибли Г.Д. Вербов и Н.П. Никульшин почти в одно и то же время — летом 1942 года под Ленинградом.

Аспирант Сектора Сибири Н.Б. Шнакенбург связал свою судьбу с далекой Чукоткой. По рекомендации профессора В.Г. Богораза он пре-

рвал учебу в университете и поехал на длительную производственную практику. В телеграмме своему учителю он писал: «Уеду в самую глушь к реке Ванкарсма (возможно, Ванкарем. — *Ред.*). Твердо уверен в себе и работе». Перед войной Н.Б. Шнакенбург совершил еще одну поездку к Берингову морю, побывав у малоисследованной группы кереков. С большими научными планами поступил Николай Борисович в аспирантуру нашего Института, но осуществить их не удалось. О его судьбе узнали не сразу: он попал в плен. Фашисты предложили ему, как немцу, сотрудничать с ними, но он отказался и был расстрелян.

В послевоенные годы Институт пополнился новыми сотрудниками, имевшими славную военную биографию. К ним относятся В.В. Гинзбург — полковник медицинской службы; Н.В. Новиков — капитан; К.В. Чистов — партизан, затем рядовой; Л.М. Сабурова — медсестра; К.Д. Лаушкин — капитан; Н.М. Федоров — полковник авиации; А.С. Маторин — младший лейтенант; А.С. Задорожный — капитан; Э.Е. Фрадкин — младший лейтенант; М.М. Крюкова — старшина разведчик; М.Г. Слесарев — старшина 1-й статьи; Н.В. Скресанов — капитан; М.П. Горбовский — старший сержант; О.А. Вильчевский — подполковник административной службы; В.Д. Карпихин — майор; В. П. Якимов — старший лейтенант; А.П. Рябинкин — старшина. Воевали старший инженер А.П. Смирнов, главный бухгалтер М.И. Клименко, бухгалтер В.В. Алексеева; преподавали в военных училищах директор Музея М.В. Ломоносова Э.П. Карпеев, главный научный сотрудник Б.Н. Путилов, ведущий научный сотрудник Б.П. Полевой.

Многие из них поделились своими воспоминаниями о войне на страницах этой книги.

Пусть простят нас те, чьи имена мы не упомянули.

Большая группа сотрудников нашего Института пережила блокаду в Ленинграде с первого до последнего дня, внося посильный труд в общее дело борьбы за победу.

В разном возрасте застала их война, кто уже работал, а кто еще учился в школе. Но в годы войны, да еще в Ленинграде, не было человека, который бы остался в стороне от общего дела. Недаром наша Победа называется всенародной. Те, кто были постарше, работали на предприятиях города. Так, Т.Г. Конокотина была слесарем-револьверщиком, делала снаряды, М.А. Медведева шила маскировочные костюмы для фронта, М.Е. Золотарева работала на оборонном заводе, Е.А. Елисеева и Е.И. Паршина были телефонистками, Т.И. Ганюшкина была стрелком в рабочем отряде на военном заводе, Р.С. Разумовская — в команде МПВО, Ф.Г. Артемьев служил в военизированной пожарной

охране, Р.А. Ксенофонтова до ухода в армию в 1943 году работала на заводе.

Студенты и выпускники школ после окончания специальных курсов начинали работать в составе медицинских воинских частей, переводчиками, связистами, медсестрами, участвовали в строительстве Дороги жизни, связавшей осажденный Ленинград со всей страной, работали в командах МПВО, на лесозаготовках, в милиции, детских домах, где брали на себя заботу о малолетних детях-сиротах.

Назовем некоторых из них: А.Л. Викторова — младший лейтенант административной службы, переводчик; О.С. Томановская — младший лейтенант административной службы, переводчик; Ю.В. Кнорозов — рядовой артиллерист (выполнял обязанности вычислителя батареи в Резерве Главного Командования, который бросали на самые горячие точки фронтов); Н.А. Бутинов — электромонтер, затем комендант Музея; Р.В. Кинжалов — политпросветработник прифронтового госпиталя; М.Ф. Глушкова — шофер санитарного транспорта; Г.Г. Шаповалова — санитарка в госпитале; А.В. Хомич — воспитатель детского дома; А.И. Баславская — библиотекарь; А.Г. Нечаева — строитель Дороги жизни; Т.Д. Равдоникас — участник оборонных работ; В.П. Битков — сотрудник команды МПВО; Р.Ф. Гаврилова — рабочая оборонного завода; М.И. Курзенкова и Х.А. Штейн работали на лесозаготовках.

Многие сотрудники Музея в юном возрасте, не бросая учебу в школах или ремесленных училищах, активно участвовали в обороне города. Они дежурили на крышах домов, тушили зажигательные бомбы, помогали командам МПВО в их нелегкой работе, приводили город в порядок, работали на полях. Это Ф.Д. Люшкевич, В.П. Дьяконова, А.И. Смирнова, Т.К. Шафрановская, С.А. Маретина, Г.Н. Грачева, В.Н. Володина, А.Л. Левизи, Г.Н. Гоцко, А.И. Мухлинов, Т.А. Попова, К.Б. Серебровская. Награждены Знаком «Жителю блокадного Ленинграда» В.С. Бережнов, Н.М. Гиренко, Э.М. Горелова, А.В. Дульбиш, Н.Н. Иоанесова, Г.У. Михайлова, Т.А. Шрадер, Б.К. Шафранов, Т.К. Федосеева и другие.

О блокадных детях и подростках написано и рассказано немало, хотя далеко еще не все. Ведь у каждого, пережившего то тяжелое время, свои воспоминания, свое восприятие событий. Нередко приходится слышать: «Ну разве ребенок мог запомнить свое блокадное детство?». Представьте себе — мог. Детская память цепкая, в ней удерживаются порой даже мелкие детали, но казавшиеся ребенку значительными. Да и дети в то время выросли и мужали не по годам, научившись понимать и делать то, что совсем не свойственно их возрасту. Многим пришлось шагнуть из детства прямо во взрослую жизнь.

Надо сказать, далеко не все наши сотрудники охотно делятся своими воспоминаниями. И их можно понять. Нелегко, даже в мыслях, еще раз пережить весь тот ужас, когда на твоих глазах рушатся стены родного дома, когда осколки разорвавшегося снаряда убивают близкого человека, когда от голода погибли все твои родственники, а ты, чудом оставшись в живых, вынужден лежать в темной холодной комнате, один среди мертвецов...

Надеюсь, у читателя не сложилось впечатления, что большинство детей оставались в Ленинграде в течение всей блокады. Детей эвакуировали в первую очередь в начале войны. Когда была открыта Дорога жизни через Ладожское озеро, появилась возможность продолжить эвакуацию детей. Надо сказать, что не все родители соглашались на эвакуацию своих детей. Причины были разные. В начале войны одни не верили, что война продлится долго, другие не хотели расставаться с детьми.

Не все дети, оставшиеся в осажденном городе, имели возможность посещать школу. Большинство школ не функционировало. Всю блокаду в Ленинграде действовали около 100 школ. До весны 1942 года к занятиям, начавшимся с опозданием на месяц, а то и больше, были допущены учащиеся начиная с 7-го класса. В суровую зиму 1941/42 года число работающих школ значительно сократилось. Умирали учителя, умирали ученики, некоторые по разным причинам оставались дома, и школы закрывались. В то далекое время дети любили школу, любили своих учителей, поэтому закрытие школы всегда ими остро переживалось, кроме того, оно лишало их и привычной тарелки «блокадного супа», который выдавали без карточек. Для детей эта тарелка супа была большим подспорьем к скудному рациону, а у некоторых — и единственной пищей. Ведь начиная с 12 лет получали «иждивенческую» карточку с минимальной нормой выдачи продуктов. Не намного больше была норма выдачи продуктов и по «детским» карточкам.

Иное положение было в ремесленных училищах и школах ФЗО. Эти учебные заведения пополнялись в основном за счет сирот или детей, родственники которых не могли их прокормить. В училищах готовили кадры для промышленности, главным образом для военной. За годы войны ремесленные училища и школы ФЗО Ленинграда и области выпустили свыше 60 тысяч специалистов для промышленности всей страны. Неоценима помощь учащихся училищ и школ ФЗО и в восстановлении городского хозяйства Ленинграда в послевоенные годы.

Питание в училищах было намного лучше, чем в обычных школах. Как правило, учащиеся получали «рабочие» карточки, где норма выда-

чи продуктов была значительно выше. Иногда сверх нормы им выдавали кое-какие другие продукты. Из наших сотрудников в ремесленном училище обучалась Л.А. Левизи. Училище находилось при заводе, работавшем на оборону. Ребята, проходившие там практику, изготавливали холодное оружие. Л. Левизи довелось работать токарем и слесарем на военных заводах в других городах, куда впоследствии эвакуировалось училище.

Продолжая учиться, мальчишки и девчонки не стояли в стороне от общего дела, неся на своих плечах порой непосильную ношу. Они дежурили у ворот дома, на крышах, тушили «зажигалки», помогали командам МПВО, работали на огородах, в составе ремонтных бригад, дежурили в госпиталях, выступали в концертных бригадах, а весной 1942 года очищали город от снега и нечистот.

Наш сотрудник А.И. Мухлинов пришел на военный завод, где работали ушедшие на фронт отец и старшие братья, когда ему было 12 лет. Он подставлял под ноги ящик, чтобы дотянуться до своего токарного станка. Другой сотрудник — Ю.В. Маретин — в возрасте 11 лет работал в составе ремонтных бригад, состоявших из таких же, как он, ребят в возрасте 11—14 лет. Они чинили пробойны на крышах домов, ремонтировали сантехнику, производили другие работы, связанные с подготовкой жилых домов города-фронта к зиме. Их работа была отмечена в октябре 1942 года Почетными грамотами райисполкомов. И таких примеров можно привести множество, в чем читатель убедится сам, прочитав рассказы-воспоминания, часть которых взята из блокадных дневников. Александр Фадеев писал: «Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами». За свой самоотверженный труд многие сотрудники нашего Музея удостоены правительственной награды — медали «За оборону Ленинграда». Вот их имена: Л.И. Смирнова, А.И. Мухлинов, Ю.В. Маретин, Г.Н. Гоцко, Ф.Д. Люшкевич, С.А. Маретина, Г.Н. Грачева, Г.Г. Шаповалова, В.Н. Вологодина, В.П. Дьяконова.

В публикуемых воспоминаниях есть много общего. Это неудивительно, ведь у всех защитников города была одна цель, одна задача. Но хочется сказать о другом. Никто не считал, что делал что-то исключительное, героическое. Жизнь воспитала у их поколения чувство долга и ответственности, чувство братства, товарищеского единения в общем деле, что помогло им выжить и выстоять. Потеря той доброжелательной атмосферы в наше непростое время вызывает у поколения, пережившего блокаду, ностальгию по прошедшему. Вот почему прошлое,

несмотря на все тяжести, оставило у них светлую память. Этих людей надо понимать.

И еще. Из простых, бесхитростных воспоминаний звучит гимн Матери, которая, жертвуя многим, уберегала своих детей. Она была всюду — отдавала детям последний кусок хлеба, укрывала своим телом в случае опасности, вызволяла из многих бед, подавала пример гражданского мужества...

Добрым словом отзываются авторы воспоминаний и о властях города, которые, несмотря на суровость времени, всегда находили возможность хоть как-то помочь детям в организации их питания, учебы, культурного развития, медицинской помощи, отдыха. Дети-сироты не были покинуты и не чувствовали себя лишними. Особая роль принадлежала здесь райкомам комсомола. По их направлениям многие подростки были определены в ремесленные училища, малыши — в детские дома.

В 1944 году стали возвращаться эвакуированные сотрудники Института и сразу же включились в восстановительные и ремонтные работы, которые производились в основном собственными силами. За ремонтными работами последовали реставрационные, в том числе и достройка верхней части башни Кунсткамеры. Летом 1945 года в дни празднования 220-летнего юбилея Академии наук, Музей был открыт для обозрения. Первоначально функционировали только четыре тематические выставки, но и они давали представление о богатстве коллекций Кунсткамеры.

Почетное место на одной из выставок заняли материалы, характеризующие деятельность сотрудников во время войны и блокады. Много сделали для увековечения памяти своих товарищей А.И. Лавров, М.К. Кудрявцев и И.Я. Треногов. В книге использованы также сведения о наших сотрудниках, собранные А.М. Решетовым.

Мы включили в эту книгу не только рассказы, но и отрывки из дневников, письма ветеранов войны и блокады. В связи с тем, что большинство рукописей представляли собой черновики, позволили себе внести некоторую стилистическую и редакторскую правку.

В.Н. Вологодина

СЛОВО ТЕМ,
КТО СОХРАНЯЛ МУЗЕЙ

1941–1945

А.А. Попов

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГЕРОЯХ И МНИМЫХ

Июнь 1941 года, пригожий жаркий день. Проходя мимо базара, я увидел большую толпу около громкоговорителя. Поинтересовался и я, подошел поближе. Передавалась речь Молотова о войне с Германией. Я скорее побежал домой и рассказал жене. И она, и я, как все население города, были полны патриотизма. Присоединение Латвии, Эстонии и Литвы, как нам внушали, делало наше государство неприступным, а финнов, как говорили, мы «шапками закидаем». Увы, мы и не представляли сколько придется вытерпеть из-за этой проклятой финской войны, и не предполагали, что и в объявленной войне многим из нас не придется дожить до Победы. Если бы нам кто-нибудь тогда сказал, что фашисты подойдут к Ленинграду, его бы сочли предателем.

Увы, наша подготовка к войне оказалась совершенно неудовлетворительной. Приходится удивляться, как только мы победили фашистов. Хаос, неорганизованность царили во всем. А ведь было ясно, что немцы рано или поздно нападут на нас...

Как я помню, день 22 июня был воскресный. Мы позвонили в Институт, там была уже вся дирекция, собирались сотрудники. Мы тоже отправились туда...

В первые же дни войны на меня возложили обязанности заведующего музейными фондами, так как прежний заведующий И.Я. Треногов был призван в армию. Шли слухи об эвакуации Музея. Началась большая и очень сложная работа — надо было все ценное из коллекций уложить в ящики (которые пришлось изготавливать в максимально



*Андрей Александрович Попов,
заведующий Сектором Сибири,
кандидат исторических наук.
Во время блокады принимал
самое активное участие
в охране здания Кунсткамеры
и ее бесценных коллекций.*

короткий срок), спешно запаковать сотни тысяч предметов. И мы все, не покладая рук, трудились днем и ночью. Надо сказать, к чести нашего коллектива, все трудились самоотверженно, и ради спасения тех ценностей, которые доверила им наука, не жалели ни сил, ни здоровья, ни жизни, что и произошло впоследствии. Правда, были среди нас и паникеры, но их, к счастью, оказалось всего трое, и среди них старый партийный работник с дореволюционным стажем, имевший в прошлом, как говорили, большие заслуги. Она металась, как угорелая, по Музею, всюду шептала, что немцы войдут в Ленинград, армия их не удержит. И при первой же возможности покинула Институт, эвакуировалась в тыл, чтобы после войны вернуться обратно, занять свое прежнее место и пользоваться уважением, каким пользовалась до войны. Мы же тогда смотрели на таких людей, как на дезертиров.

Вскоре начались изнурительные работы, связанные с обороной Музея. В них принимали участие все, не исключая больных. Мы красили суперфосфатом стропила крыши, таскали по этажам песок, воду, инструменты. Руководил работами весьма бестолковый товарищ. Бывало, заставлял нас носить ведрами песок на третий этаж или на чердак, а на другой день этот же песок надо было переносить в другое место. Мы ворчали по этому поводу, но никому не приходило в голову протестовать, знали, что, в конечном счете, все делалось в общих интересах и прежде всего для сохранения всем нам дорогих ценностей. Удивляло другое. Многие учреждения эвакуировались. Какой-нибудь второстепенный театр не только вывозил сотрудников, но и занимал вагоны малоценной бутафорией. А о мировых ценностях нашего Музея никто вроде как и не думал.

Из руководства Академии наук мало кто остался в городе. Почти все академики и члены-корреспонденты в первые же месяцы войны покинули Ленинград. Осталось несколько человек, в том числе И.А. Орбели, И.Ю. Крачковский и А.И. Тюменев. Особо хочу сказать о С.А. Жебелеве. Не в пример многим, он был настолько скромен, что вместе со всеми нами стоял в очереди за дрожжевым супом — единственным блюдом без карточек, которым обеспечивала нас столовая. Этот мужественный человек стал, к сожалению, одной из первых жертв голода. Некоторые академики, как И.А. Орбели, И.И. Мещанинов и другие, не хотели покидать Ленинград, но их заставили выехать из города.

Я совсем не хочу сказать, что академики и члены-корреспонденты должны были умирать в Ленинграде. Очень хорошо, что их спасли. Но нас, попавших в тиски блокады, удручало, что многие из них не проявили ни малейшей заботы об оставшихся в осажденном городе. А

когда в самый тяжелый период некоторые из сотрудников Академии обратились в Василеостровский райком партии за помощью, один из руководителей ответил: «Мы всех крупных научных работников вывезли, остались, очевидно, малоценные, пусть выкарабкиваются сами». Я не пытался узнать имя этого прохвоста. Бог с ним. Вина не его, а тех, кто в этот тяжелый момент доверил судьбу людей таким вот «руководителям». Вероятно, он здравствует и теперь и как житель осажденного Ленинграда занимает какой-нибудь руководящий пост, имеет награды.

С первых же дней войны начались круглосуточные дежурства в Музее. Жили мы еще на квартирах и приходили дежурить из дома. Меня с женой устроили так, что когда я дежурю, она дома, когда она дежурит, — я дома. Мы почти перестали встречаться. Естественно, нам хотелось свободное от дежурств и других обязанностей время проводить вместе. И я, по простоте душевной, пошел к директору (директором в то время был И.Н. Винников. — *Ред.*) просить назначить нас обоих дежурить в одно и то же время. Однако директор сердито бросил в ответ: «Недопустимо в военное время разводить семейственность». О, если бы он руководствовался этим правилом в отношении самого себя!

Но мы недолго переживали отказ директора. Вскоре всех мужчин перевели на казарменное положение, и мы должны были днем и ночью безотлучно находиться в Музее. Женщины дежурили через день. Вообще в организации внутреннего распорядка жизнедеятельности Института царили суматоха и бестолковщина. Дирекция больше всего стремилась произвести хорошее впечатление на руководящих работников разных вышестоящих инстанций. Чего только стоила игра в так называемый «патриотизм». Были выделены два «вербовщика» из числа сотрудников Института, которые буквально по пятам ходили за нашими мужчинами, всеми без исключения, уговаривая их идти в добровольцы. Их прельщали званием, пайком, обещанием устроить в военизированную охрану Музея и т.д. Зная, от кого исходят такие медоточивые речи, многие воспринимали их с недоверием. Это была не трусость. Уж не говоря о том, что мы не подходили по возрасту или по каким-то другим причинам, из-за чего нас не призвал военкомат, мы осознавали, что здесь мы нужнее, без нас музейные ценности мирового значения сберечь будет трудно.

Все, не записавшиеся в добровольцы, вынуждены были предстать перед директором. Разговор сопровождался криком и топаньем ногами: «Я хочу, чтобы вы записались в добровольцы, вы — дезертиры. Стоит мне только позвонить в военкомат, — и вас всех заберут...». На это я

ему возразил: «Исаак Натанович! Вы на себя такую смелость берете, разве военкомат вам подчиняется? Кроме того, как и на фронте, мы каждый день рискуем своей жизнью, не прячась ни по каким углам».

«Вербовщикам» удалось записать троих сотрудников: один был сердечник, другой имел многолетнюю язву желудка, третий — хромой. Конечно, в военкомате их сразу же забраковали, и они вернулись. Зато наши руководители, вволю наигравшись в «патриотизм», добились того, что в «верхах» стали числиться хорошими организаторами в военное время.

Оставшимся в Музее мужчинам выдали две винтовки и два (?) патрона «на случай прихода немцев» (очевидно, для «защиты» или чтобы «отражать нападение»). Велено было нам собираться по утрам и изучать эти винтовки. Однажды к нам зашел какой-то инструктор (чтобы обучать нас), осмотрел винтовки и изрек: «Да, это неплохие ружья, но когда вы будете стрелять, держите лицо подальше, у них может быть сильная обратная отдача». Мучительно было видеть в такой серьезный момент нашу российскую бестолковость, эту нелепую игру «в оборону».

Худо ли, бедно ли, но к осени мы закончили свертывание экспозиций, составление описей, упаковку коллекций в ящики. Вопрос об эвакуации коллекций был уже снят — враг железным кольцом окружил город. Ящики с коллекциями стояли в залах и кабинетах. Оставлять их там стало опасно из-за участвовавших бомбежек. Я пошел к нашему директору и в присутствии парторга (секретарем парторганизации был С.А. Абрамзон. — *Ред.*) потребовал распорядиться дальнейшей судьбой ценнейших коллекций, хотя бы снести ящики в подвалы нашего здания. Это справедливое требование вызвало шквал возмущений. Вот дословно его слова: «Наплевать на все коллекции, лишь бы самим остаться в живых». Тут я не выдержал и взорвался: «А я придерживаюсь другого мнения, если мы умрем — это полбеда, а если погибнут коллекции — это уже трагедия». Парторг промолчал...

Не добившись ничего, я стал советоваться со своей дорогой Марусенькой, что же делать дальше в таком положении. И вот вместе с Евгенией Эдуардовной Бломквист, в тайне от нашего руководства, они отправились к И.А. Орбели просить помощи. И.А. Орбели в то время был руководителем Ленинградской части Академии наук. И к нему кто-то из наших сотрудников уже обращался с такой же просьбой. Буквально на другой день наша дирекция получила приказание — наиболее ценные коллекции передать на хранение в Эрмитаж (и они были укрыты в подвалах Эрмитажа), остальные перебазировать в подвалы

нашего Музея. Директор вынужден был выполнить это распоряжение. О, если бы он знал, от кого исходила инициатива!

Еще с лета наших сотрудников стали посылать на оборонные работы — рытье окопов на подступах к Ленинграду. Мы думали, будем делать полезное дело, поэтому энтузиазм вначале был большой. Но, как выяснилось впоследствии, те, кто возглавлял мобилизацию, руководствовались не здравым смыслом, а желанием «перещеголять» соседний район в количестве мобилизованных на эти работы. Так, всякие прекрасные порывы можно было испортить полностью. Бывало, мы только мешали, оказывая «медвежью услугу» нашим воинским частям. Я ездил два раза на такие работы. Помню, первый раз пробирались мы целый день по лесу, никто не знал, кто нас послал и где использовать. Ничего не добившись, таким же путем пробирались обратно.

Другой раз нас послали под Лугу. Ехали мы туда с военным инструктором, но и он ничего не знал. Подняв потеряли на то, чтобы найти хоть кого-то, кто указал бы нам, куда идти дальше и что делать. Все от нас отмахивались, всем мы мешали. Наконец, нам выделили красноармейца, и он повел нас. Целые сутки мы блуждали по лесу. Страшно устали. Наконец, вышли на какую-то опушку и решили расположиться на ночлег. В изнеможении попадали на землю, как вдруг из леса вышел какой-то командир и с ходу стал кричать на нас: «Кто такие, откуда, кто вас послал?». Узнав, в чем дело, раскалился еще больше: «Почему нас не предупредили заранее, мы с этой стороны ожидаем немцев! Ваше счастье, что не вошли в лес, мы бы по ошибке вас обстреляли!».

Не помню уж, какими путями мы добрались до места. Рыли противотанковые рвы. Никто нас не охранял, хотя немецкие самолеты по нескольку раз в день пролетали над нами. Летали они очень низко, но не бомбили, хотя другие наши товарищи, ездившие под Псков и в Радофинниково, неоднократно подвергались и бомбежкам, и обстрелам, так что им пришлось бежать оттуда. Потом мы узнали причину, почему нас пощадили. Оказывается, мы делали для них полезное дело. Эти рвы пригодились потом немцам...

Между тем фашисты все ближе подступали к городу. Положение с продовольствием обострилось до крайности. И в то же время нам запрещалось привозить картофель или овощи из пригородов, где мы находились на оборонных работах. Тех, кто привозил с собой мешок картошки или овощей, привлекали к ответу. Так что весь урожай достался немцам. Наши «мудрые» руководители не догадались мобилизовать население города на уборку урожая, хотя положение с продоволь-

ствием было весьма критическим, его еще можно было бы как-то поправить за счет собранных овощей и зерновых. Безобразие творилось повсюду. Взрывали или поджигали продовольственные склады, овощехранилища и т.п. А город в это время голодал. Скучные запасы продовольствия были в основном сосредоточены в одном месте — на Бадаевских складах, но они сгорели...

Жизнь наша становилась все хуже и хуже. Беспрерывные налеты изматывали силы. Однажды рано утром развели мосты на Неве и целый день по направлению к Ладожскому озеру проходили военные суда. Мы посчитали, что наши защитники покидают нас. Наблюдать это было больно.

По врагу теперь стреляли зенитки. Нам казалось, что от них мало толку, так как сбитых самолетов было немного, хотя грохот от зениток стоял невероятный. Немецкие самолеты, видимо, мало обращали на них внимания, фашисты с методичной пунктуальностью посылали нам сверху сотни зажигательных снарядов и фугасок. Из некоторых домов во время налетов вылетали пакеты ракет — это орудовали немецкие шпионы, указывая цель самолетам...

Вскоре после моего перебазирования на казарменное положение, в Институт переехала и Маруся. Правда, поселилась она в другом месте — в подвале, выходившем окнами на набережную. Там уже обосновались Л.Э. Каруновская, Л.Б. Панек, С.А. Штернберг, И.Н. Винников с семьей, В.В. Антропова, Е.В. Жиров, Г.И. Смирнов, В.В. Федоров, А.Н. Юзефович и другие.

Подвалы, предназначенные под бомбоубежища, обустраивали мы сами. Помню, приглашенный архитектор указал наиболее «безопасные» места. Таковыми оказались подвалы направо от входа со стороны Таможенного переулка — под вестибюлем и гардеробом. Было оборудовано еще одно бомбоубежище, куда вход вел со стороны набережной. Сюда мог заходить любой прохожий, застигнутый воздушной тревогой. Нам же бомбоубежища практически были не нужны. Как только объявляли сигнал воздушной тревоги, все бежали, не исключая слабых и больных, на свои посты в здании Музея, на чердак или на крышу. А наш директор и вместе с ним бежали в бомбоубежище. Бомбоубежище это было обставлено хорошей мебелью, взятой из кабинетов, были даже ковры. Входить в этот «бункер» разрешалось только избранным.

Мы обжили подвалы, когда переселились сюда из квартир. Как-то из своего угла, где находилась моя постель, я, выглянув в окно, неожиданно увидел фашистский самолет. Сброшенная им фугаска упала на набережную. Осколки, влетевшие через окно подвала, врезались в сте-

ну над моей койкой. Если бы я оставался на своем месте — меня бы не было в живых. Я переживал только сам факт — если мне суждено умереть, то почему не рядом с Марусей. Маруся же в это время ковыляла на боевой пост. Особенно тяжело ей давались лестницы. Она задыхалась, ноги отказывались идти. Наблюдая такую картину, Е.В. Жиров не вытерпел: «На кой черт женщин посылают на чердак, разве не видно, что среди них есть больные!». Да, кому следовало видеть — не видели, а кто видел — сделать ничего не мог, хотя внимательно и чутко воспринимал чужие беды. Марусенька же переносила все тяготы со свойственным ей героизмом.

В подвале была установлена плита, на которой мы варили нашу скудную еду. Дрова добывали сами, в основном на дрова разбирались деревянные дома и постройки, их грузили на санки и везли в Институт. Проблема заключалась в другом — что варить на этой плите. Многие хозяйственные люди сразу же после объявления войны начали закупать продукты. Нам, как и большинству сотрудников, это казалось преступлением. В голову не приходило, что придется умирать с голоду. Да нам и не на что было делать закупки, денежных накоплений мы не имели, кроме того считали недопустимым думать о себе в такое тяжелое время.

Отвратительно мерзко стали проявляться хищнические инстинкты у некоторых сотрудников. По нашим понятиям, они катались, как сыр в масле, в то время как мы ломали голову, где раздобыть себе что-либо съестное. Я хорошо помню, как жена директора по административно-хозяйственной части, хотя плакалась, что им голодно, варила целыми котлами картошку и пекла толстые лепешки на масле. А рядом бедная Марусенька варила похлебку из морской капусты или какой-либо другой дряни, которая с трудом шла в горло. Наш директор с семьей питался по тем меркам тоже хорошо, но имел обыкновение интересоваться, чем питаются его сотрудники, заглядывая в кастрюли, стоявшие на плите, и делая, по его мнению, весьма «остроумные» замечания по поводу нашей еды, за которые хотелось дать ему хорошую оплеуху. Так, однажды, заглянув в нашу кастрюлю, он изрек: «У Марии Васильевны весьма утонченный вкус, она варит себе кашу из морской капусты». Какая низость! Я помню, сколько слез после этого его замечания пролила моя милая Маруся. Да мы бы с удовольствием ели продукты, подходящие к его «неуточенному» вкусу, которыми он запасся, по совету своих «высокопоставленных друзей».

Первой жертвой блокады стала Н.П. Дыренкова. Правда, умерла она не от голода, а от воспаления легких. Дежурила на крыше, простуди-

лась, долго болела. Смерть наступила во время сердечного приступа. Случилось это в октябре 1941 года. Умерла она на руках у своего учителя А.Я. Штернберга. Мы сумели ее похоронить на Волковском кладбище по всем правилам, по-человечески. К сожалению, про остальные жертвы этого сказать нельзя. А сколько их было еще впереди...

В страшные январские дни 1942 года смерть косила наших товарищей почти каждый день. На живых было страшно смотреть — не люди, а тени какие-то. Не хватало сил даже на то, чтобы вывезти трупы на саночках на Пушкинскую площадь, откуда их забирали специальные машины. Трупы складывали в отдельное помещение в здании самого Музея...

А наш директор попал в категорию «ценных научных работников». Хотя он и напускал на себя «значимый» вид, мы-то знали, как усиленно он хлопотал о выезде из Ленинграда. И добился своего. Укатил по Дороге жизни, когда состоялся первый массовый выезд сотрудников Академии наук из осажденного Ленинграда.

Накануне отъезда у меня был разговор с ним с глазу на глаз. «Андрей Александрович, — сказал он, — я считаю, что вы более чем кто-либо можете меня заменить. Я хочу оставить вас вместо себя. Вероятно, скоро придется сокращать сотрудников, и вам надо взять это на себя. Оставьте в институте 2—3 человека». Я взорвался: «Сокращения проводить не буду, так как считаю несправедливым выкидывать людей за борт, обрекая их на верную голодную смерть». На этом наш разговор и окончился. А в итоге — директором был оставлен С.М. Абрамзон.

Я далек от осуждения тех сотрудников, которые, бросив все, эвакуировались из Ленинграда. Плохо то, что многие из них начисто позабыли о наших страданиях и никак не поддерживали нас...

Раздобывать еду становилось все труднее и труднее. Дорогая моя, бедная Марусенька! Для тебя наступили самые страшные дни. Кто бы мог подумать, что в тебе, слабой и больной, было столько героизма и самоотверженности. Ты одна заботилась о пище: стояла в очередях за хлебом (125 г на человека, других продуктов не было). Ходила то к спекулянтам, то на базар покупать или обменивать кое-какие наши вещички на жмыхи или морскую капусту. Помню, однажды ее обманули на базаре. Вместо дуранды она принесла домой мелкие опилки. Но самый страшный случай произошел, когда она ходила менять вещи к знакомым, которые жили на окраине города. Не знаю, что ей удалось выменять, но до дома она ничего не донесла. Продолав пешком такой длинный путь, на Дворцовом мосту она попала под жестокий обстрел. Чудом спаслась, подробностей не помнила, очевидно, потеряла

сознание. Но когда пришла в себя — видит, лежит в луже крови среди убитых людей. Надо было пережить весь этот кошмар...

Я ничем не мог помочь Марусе. Сперва я еще как-то крепился. С дико распухшими ногами, едва передвигаясь, продолжал исполнять свои обязанности по Музею. Ходил даже в университет, где в нетопленных аудиториях меня ждала маленькая группа студентов, оставшихся при кафедре. Из преподавателей нас было только двое. Но в конце января 1942 года я слег, весь распухший и отекающий, и подняться уже не смог. Мой последний «выход» состоялся в начале января в военкомат, куда я должен был явиться на переучет. Военкомат находился недалеко от нашей квартиры на улице Петра Лаврова. Трамваи не ходили, и мне пришлось от Музея почти два часа добираться до места. Как дошел — не помню. Еще оказалось, что в военкомате полно народу, сесть некуда. Но у меня был такой вид, что место мне уступили сразу. Ждать пришлось долго; когда освободился, понял, что обратно в Музей не дойду. Добрел кое-как до своей квартиры, сел на кухне. Тут меня и нашли соседи. Как отходили — не помню. Помню, пил кипяток и что-то жевал, очевидно, кусочек хлеба, спрятанный Марусей «на всякий случай». И все же поздно вечером поковылял обратно, к Марусе. Едва дополз до своей кровати, просил меня не трогать и больше почти не вставал, только по крайней необходимости...

Весной 1942 года особенно стало заметно, как поредели ряды сотрудников Академии наук, оставшихся в Ленинграде. Погибло их почти три четверти, а многие из них были специалистами, единственными в своей области... (А.А. Попов и М.В. Степанова были эвакуированы из Ленинграда летом 1942 года. — Ред.)

В.В. Федоров

О БЛОКАДНЫХ ДНЯХ, ПЕРЕЖИТЫХ СОТРУДНИКАМИ МАЭ



Василий Васильевич Федоров, научный сотрудник Отдела археологии. Один из авторов постоянной и 5 временных экспозиций. В период блокады продолжал работать в Институте. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».

Трудно вспоминать все то, что пришлось пережить во время блокады. Еще труднее заставить себя говорить или писать. Но не делать этого нельзя, хотя бы во имя тех, кто не дожил до светлого дня Победы.

Июнь 1941 года. Институт и находящийся при нем Музей живут нормальной творческой жизнью. Разрабатываются новые научные планы, идет реорганизация отдельных экспозиций с целью их улучшения (в частности, моего Отдела археологии), исправно ведутся экскурсии и т.д.

И вдруг... 21 июня — конец всем мирным планам, начался новый, непредсказуемый период в нашей жизни.

С первых же дней войны мужчины нашего Института ушли в армию или народное ополчение. Остались только те, кто был негоден к несению воинской службы или кому была дана отсрочка в военкомате. Часть научных сотрудников эвакуировались. На оставшихся легла вся работа по охране Музея и свертыванию экспозиций.

При нашем Музее были организованы штаб МПВО и ряд команд по охране Музея, установлены круглосуточные

дежурства и посты наблюдения, которые находились на чердаках зданий. Мы связали их телефоном со штабом МПВО Музея.

Дежурили в основном женщины. Мужчины, которым была дана отсрочка от военной службы, составили вооруженную дружину. Они находились на казарменном положении и дежурили круглосуточно.

В их обязанности входила охрана здания изнутри и снаружи. Особенно бдительными им приходилось быть по ночам, так как в городе случались диверсии.

Основной же нашей работой в те дни было свертывание музейных экспозиций: наиболее уникальные и ценные экспонаты требовалось отобрать и подготовить к эвакуации, остальные запаковать и укрыть в более надежном месте. Сложностей сразу возникло много: оказалось, что во многих отделах Музея не было списков уникальных предметов, не было упаковочного материала, ящиков и т.д. Ящики пришлось заказывать на стороне, а что касается остального — справились собственными силами, с трудом, но справились. К началу осени 1941 года все работы по свертыванию экспозиций были закончены. Наиболее уникальные и ценные экспонаты, по договоренности, были перенесены в Эрмитаж (в помещение особых кладовых), остальные, тоже уложенные в ящики, были сосредоточены на первом этаже и в подвале МАЭ. Коллекции же, находящиеся в Главных фондах МАЭ (в помещении здания на Таможенном переулке), решили оставить на месте. Здесь был установлен круглосуточный пост.

Я перечислил далеко не все наши обязанности в те тяжелые дни. Много труда и времени заняла маскировка здания, заклейка окон бумажными полосами (считалось, что наклеенные на окна крест-накрест бумажные полосы предохраняют выпадение стекол при сотрясении здания во время бомбежек и артобстрелов), оборудование бомбоубежища и т.д.

У нас функционировало три бомбоубежища: одно для своих сотрудников, два — для тех, кого тревога (обстрел или бомбежка) застала на улицах вблизи МАЭ. Оборудовали эти бомбоубежища в подвале. Наружные окна пришлось заложить кирпичом и заштукатурить. В помещение бомбоубежища снесли стулья и кое-какую мебель. Установили дежурства. Надо сказать, что в первые месяцы войны в бомбоубежище собиралось довольно много народу. Впоследствии, когда участились бомбежки и обстрелы, в подвал был переведен и штаб МПВО Института.

В связи с приближением фронта к Ленинграду, группе наших сотрудников вместе с сотрудниками других академических учреждений пришлось выезжать в разные районы на подступах к городу, где они рыли противотанковые окопы. Случалось, это было совсем недалеко от линии фронта, как говорится, под самым носом у немцев. Многое пришлось испытать тем, кто выезжал на оборонные работы: и налеты немецких самолетов, на бреющем полете обстреливавших наши око-

пы, и выход из окружения, когда только по счастливой случайности им удавалось спастись.

Вражеское кольцо все туже стягивалось вокруг Ленинграда. Наступил сентябрь — начало блокады нашего города. Усилились бомбежки и обстрелы города. Были разбомблены и сгорели Бадаевские склады, что вызвало снижение продовольственных норм по карточкам. Это отразилось главным образом на хлебе, остальные продукты питания выдавались очень нерегулярно или вообще не выдавались. Было произведено три снижения норм хлеба: первое — 2 сентября 1941 года (рабочие получали 800 г, служащие — 600 г, иждивенцы — 400 г); второе снижение — 12 сентября (рабочие — 500 г, служащие — 300 г, иждивенцы — 200 г), и, наконец, третье снижение — 1 октября (рабочие — 250 г, служащие и иждивенцы — всего лишь по 125 г).

Вспоминаются ноябрьские праздники 1941 года. Как многолюдно, торжественно и весело проходили они у нас всегда до войны! И в этот день собрались почти все оставшиеся сотрудники Института. Многие пришли со своими семьями. Правда, торжество состоялось не в актовом зале, а в подвале, в бомбоубежище № 1 (для сотрудников). Еще не отключалось электричество, и свет придавал торжественность нашему собранию, способствовал приподнятости настроения. После торжественного митинга был организован товарищеский чай, с собранными в общий котел нашими скудными съестными припасами. Вечеринка получилась очень оживленной, почему-то в этот вечер всем захотелось забыть про войну, бомбежки, лишения, вспоминать мирное время, не возвращаться к тяжелым думам, беспокоившим в глубине души каждого из нас, — а удастся ли дожить до следующего праздника? Откуда-то принесли патефон, начались танцы, хотя было и тесновато. Лишь поздно вечером мы разошлись, кто по домам, а кто на свои боевые посты.

Между тем подошла зима 1941 года. Жизнь в осажденном городе становилась все тяжелее, несколько сотрудников эвакуировались, но большинство продолжали оставаться на своих постах. Постепенно почти все оставшиеся сотрудники переселились в Музей. Сначала обжили кабинеты, затем перешли в подвал, где находилось бомбоубежище № 1 (под современным залом Америки). Здесь были сложены две плиты, которые как-то обогревали помещение, позволяли всегда иметь под рукой горячий кипяток, что было очень важно. Дрова заготавливали мы сами (в основном разбирали деревянные дома на окраинах города, предназначенные на слом). На санках мы перевозили их на наш двор, пилили и кололи. Бомбоубежище имело три отсека, которые и заселили наши сотрудники и члены их семей. Хозяйственники доставили туда

кровати, столы, стулья. Постепенно мы приспособили для своих нужд и другие отделения подвала, так как практически посторонние уже не заходили в них. «Старожилами» бомбоубежища были Д.А. Лев (с семьей), В.В. Федоров, Е.Н. Жиров, А.Б. Пиотровский, А.Н. Юзefович, Г.И. Петров, Г.Н. Прокофьев, Г.И. Смирнов (уже помню не всех). Позднее к нам присоединились В.В. Антропова, К.В. Вяткина, И.Н. Вишняков, А.А. Попов, М.В. Степанова, Л.Э. Каруновская, Н.А. Липская, Г.Г. Стратанович (с семьей), В.В. Екимова, А.Н. Кондауров. Они заняли помещение бомбоубежища № 2.

Для нас такая коллективная жизнь имела прежде всего большое моральное значение. Товарищи по работе всеми силами и способами старались помочь друг другу, поддержать слабеющих.

А положение в городе все ухудшалось. Перестал ходить трамвай. Те, кто не переселился в Музей, вынуждены были ходить пешком. Перестала поступать электроэнергия, замерз водопровод, кончались дрова (использовать в качестве топлива музейное имущество никому даже в голову не приходило). За водой отправлялись на Неву (хорошо, что близко), электрический свет заменили самодельные коптилки, куда наливалось все, что могло гореть. Они давали так мало света, что не освещали даже лиц сидящих около них людей. Большие плиты нам уже нечем было топить, достали откуда-то «временки», или «буржуйки», — небольшие самодельные железные плиты, на которых можно было разогреть нашу мизерную еду, принесенную из соседней академической столовой. Копоть и чад от этих «отопительно-осветительных» приборов были невероятными.

Но, конечно, больше всего нас одолевал голод. Появились больные дистрофией, которые не могли уже подняться с постели. Да и ходячие едва волочили ноги. Выполнять свои обязанности становилось все труднее и труднее. Особенно тяжело было дежурить в темноте на холодных чердаках.

И вот первые потери. Умирали тут же, среди своих товарищей. Особенно тяжело умирал Г.Н. Прокофьев, у которого на почве голода возникло острое психическое расстройство. Умерших товарищей мы выносили из наших подвалов в один из кабинетов на первом этаже, который очень быстро стал превращаться в настоящую мертвецкую. За зиму 1941/42 года мы потеряли почти 1/3 наших сотрудников. Среди них Н.А. Липская, А.Б. Пиотровский, Г.И. Петров, А.Н. Юзefович, А.Н. Кондауров, В.В. Екимова и многие другие.

Что помогло выжить, выстоять в это страшное время? Только глубокая вера в победу. И еще труд, любимая работа. Научная жизнь,

несмотря на все трудновыносимые, порой невероятные условия, продолжалась. Так, до своих последних дней работал над диссертацией А.Н. Кондауров, В.В. Екимова вела исследования по бухарским тканям. И таких примеров было много.

К счастью, в здание нашего Музея не было прямого попадания ни бомб, ни тяжелых снарядов. Однако само здание, особенно крыша, сильно пострадали от осколков разорвавшихся вблизи бомб (Зоологический институт, Университет) и снарядов. Приходилось самим чинить и латать крышу во избежание протечек и обвалов потолка. Что касается зажигательных бомб, то тут «недостатка» не было. Правда, особого вреда они не причинили. Дежурные зорко следили за всеми попаданиями и быстро тушили эти зажигалки.

Расскажу один особенно запомнившийся мне случай. В этот осенний день 1941 года на очередное дежурство на посту МПВО, находившемся в помещении Главных фондов МАЭ, — в то время Главные фонды МАЭ размещались в здании типографии АН СССР (ныне на Таможенном переулке) и занимали второй этаж, — заступили Д.А. Ольдерогге, В.В. Екимова и я.

С наступлением темноты на Ленинград был совершен очередной налет вражеской авиации. На этот раз массированной бомбардировке подвергся Василеостровский район. Получив по местному телефону уведомление о начавшейся воздушной тревоге, Д.А. Ольдерогге и я побежали на свои боевые посты у слуховых окон чердачного помещения, оставив внизу у телефона В.В. Екимову. Нам недолго пришлось наблюдать из окон. Увидев, как посыпались зажигалки на соседние здания и на улице стало светло, как днем, мы бросились проверять наши чердачные помещения. Большие чердачные помещения Главных фондов МАЭ в то время были абсолютно темными, так как все слуховые окна, кроме двух наблюдательных, были наглухо заколочены. Кроме того, уровень пола в помещении Главных фондов был неодинаков. Главные фонды располагались в трех старых зданиях с потолками разной высоты, причем потолок среднего здания был значительно ниже крайних. Все это создавало дополнительные трудности, делая чердачные помещения трудно проходимыми и плохо просматриваемыми. Приходилось то спускаться, то подниматься по крутым лесенкам с одной плоскости на другую, опасаясь в темноте не заметить ступеней и сорваться вниз. Лестницы были довольно крутые и без перил. Без фонаря в темноте проделать весь путь было почти невозможно, а фонарь был только один. На всей территории этого сложного по своей конструкции чердачного помещения стояли

бочки с водой, ведра, лопаты и другой инвентарь для тушения зажигательных бомб, а также кучи песка.

Осмотрев все чердачное помещение и не обнаружив ничего подозрительного, мы полезли на крышу, чтобы осмотреть и ее. На крыше в разных местах дымилось довольно много зажигалок. Их надо было немедленно обезвредить, прежде чем они успели бы прожечь крышу. Посоветовавшись, мы решили, что Дмитрий Алексеевич останется у своего поста — у слухового окна, а я полез на крышу и стал сбрасывать зажигалки лопатой на мостовую переулка и во двор, где их тушили уже другие дружинники МПВО из числа сотрудников Академии наук.

От криков дружинников и шипения зажигалок гвалт стоял невообразимый, и я не услышал свиста Дмитрия Алексеевича, который подавал мне условный сигнал. А случилось вот что: на другом конце здания Дмитрий Алексеевич заметил густой дым и огонь, пробивавшийся изнутри помещения. Покончив быстро с работой на крыше, я вернулся на чердак, и мы бросились к новому очагу пожара. Оказалось, одна из зажигательных бомб все-таки попала на чердак. Ударившись своей тыловой частью о крышу, она пробила ее и упала в ящик с землей, стоявший у стены. Мы не заметили эту бомбу, поскольку она, зарывшись в землю, лежала какое-то время в спокойном состоянии. Затем бомба стала активно проявлять свое действие, разбрасывая в разные стороны не только огненные струи на довольно большое расстояние, но и какой-то очень едкий дым, который перехватывал дыхание. Пришлось надеть противогазы. Но и они не смогли защитить нас от ядовитого дыма. Создавалось трудное положение, так как этот дым заполнил все чердачное помещение. Однако мы заметили, что в верхних слоях он значительно плотнее (как мы потом узнали, это был фосфорный газ, от которого противогаз не мог защитить), поэтому решили приблизиться к бомбе ползком, по-пластунски. Бомба продолжала фонтанировать, огонь подбирался к двери соседнего помещения, ее обивка уже начинала обугливаться. Мне как-то удалось дотянуться до нее и открыть ее лопатой. Огонь сразу уменьшился и не мог уже достать до двери. Загорись дверь, огонь проник бы в помещение самих фондов.

Тем временем бомба стала плавиться и деформироваться и превратилась в огнедышащую растекавшуюся массу, которая грозила прожечь тонкое деревянное перекрытие пола чердака. Под этим чердаком находилось помещение фондов Отдела Сибири, где на стеллажах до самого потолка хранились деревянные и берестяные коллекции.

Поскольку песок и вода уже не помогали, пришлось пробовать другие способы тушения. Мы стали растаскивать и забивать лопатами это огненное месиво на части, не давая им подолгу оставаться на одном месте. Мы уже не думали о себе, о том, что можем отравиться ядовитым газом, — только бы поскорее потушить огонь, не дать возникнуть огромному пожару. А в некоторых местах доски и балки начинали уже обугливаться, загорелись стружка и мусор, которые оставались тут со времен строительства подсобной комнатухи. Работы прибавилось. Мы не знали, чток тушить в первую очередь — саму ли бомбу или новые очаги пожара. Испробовав все доступные средства и приемы, нам удалось в конце концов справиться с огнем. Сколько времени продолжалась эта схватка — не помню. Мы едва держались на ногах от усталости и сильного кашля, вызванного едким дымом. Однако сознание того, что коллекции Фондов были спасены, пожар не повредил помещения, а главное — жизнь нашей третьей дежурной — Екимовой — была спасена (в случае пожара ей вряд ли удалось бы выбраться со своего поста), придавало нам бодрости. Справившись со своим состоянием (дым стал постепенно улетучиваться через открытое слуховое окно), мы продолжали нести вахту. Как мы потом узнали, зажигательные бомбы в тот раз попали и в башню Музея. При тушении пожара наши сотрудники, вероятно, тоже проявили не меньшую изобретательность.

Однако тяжелее всего было тушить пожар на башне Музея зимой 1941 года. Там не было выставлено поста, и поэтому меры по ликвидации очага пожара не были приняты своевременно. Когда туда поднялись сотрудники — всюю бушевало пламя. Огонь, очевидно, занялся сразу. В башне горели деревянные перекрытия, стропила. Вот-вот могли загореться большие шкафы, наполненные разными легковоспламеняющимися материалами. Как тушить пожар? Случилось это поздно вечером. Водопровод не работал, до песка не добраться, да он и не помог бы. Пришлось брать воду из проруби на Неве. На тушение пожара были мобилизованы все сотрудники Музея и члены их семей, в том числе вездесущая и проворная двенадцатилетняя Галя — дочь А.Н. Генко. Образовали цепочку и передавали ведра друг другу и так до самого верха башни. От истощения и от волнения трудно было удерживать ведра, вода проливалась, тут же замерзая. Особенно тяжело было на узкой винтовой лестнице, ведущей на башню. Многие тогда получили тяжелые травмы, падая со скользких ступенек. Но все-таки пожар мы потушили, не дав огню проникнуть в глубь здания.

В декабре 1941 года башня вновь пострадала. На этот раз от осколков снарядов. В результате участвовавших обстрелов наше здание полу-

чило существенные повреждения. А мы перестали уже обращать внимание на эти обстрелы и, если надо было по делу, шли по улицам, правда, по возможности избегая той стороны, где имелась надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!».

Наступил 1942-й год. В связи с открытием Дороги жизни по льду Ладожского озера улучшилась доставка продовольствия в осажденный Ленинград. В первую очередь увеличились нормы выдачи хлеба по карточкам — в феврале рабочие получали уже 500 г, служащие — 400 г. Не были забыты и ученые Ленинграда. По распоряжению правительства специальный паек стал выдаваться сперва академикам и членам, затем профессорам и докторам наук. Для других категорий научных сотрудников, как и для большинства работающих ленинградцев, организовывались стационары со специальным усиленным питанием, куда в первую очередь попадали наиболее обессиленные и истощенные. Для нас такой стационар был открыт при Доме Ученых.

Не забыли нас и эвакуировавшиеся коллеги (очередная эвакуация по льду Ладожского озера производилась зимой 1942 года). И вот с Большой земли мы получили существенную помощь. Собрав значительную сумму денег, наши товарищи приобрели продукты и переслали их в осажденный Ленинград. Среди эвакуировавшихся нашлись добровольцы, которые вызвались сопровождать эти продукты, чтобы лично вручить их каждому из нас. Такое забыть невозможно.

Время шло, кончилась холодная зима, наступила весна и с ней новые тревоги и заботы. Прежде всего необходимо было, во избежание эпидемий, очистить улицы города от снега и мусора и скопившихся на них нечистот (ведь канализация зимой не работала). Специальным постановлением Ленгорисполкома (март 1942 г.) на уборку улиц было мобилизовано все население Ленинграда. И стар и млад — все вышли на уборку. Мы убирали свою территорию — на набережной, дворах и близлежащих переулках. И город снова стал чистым. А когда с наступлением тепла по городу побежал трамвай, радости нашей не было границ! Мы почувствовали, что жизнь в нас пробуждается вновь.

Но едва мы начали оправляться от дистрофии, как нас поджидал другой коварный враг — цинга. Сказалось отсутствие витаминов в пище: расшатывались и выпадали зубы, пухли суставы, отказывали ноги. Специальным распоряжением Ленгорисполкома (апрель 1942 г.) витамин С стали вырабатывать из ветвей хвои. Он поступил в продажу в аптеках города. Было рекомендовано самим заваривать и настаивать хвою и пить ее.

Другое распоряжение Ленгорисполкома касалось организации индивидуальных огородов. В черте города, где только было возможно, — на площадях, скверах, садах, дворах и т.д. — возникли такие огороды. Ботанический институт АН СССР и Всесоюзный институт растениеводства бесплатно раздавали всем желающим рассаду (лук, капуста, морковь и пр.). Некоторые наши сотрудники тоже занимали свои огороды и смогли собрать скромный урожай зелени и овощей.

Летом 1942 года была вторая массовая эвакуация сотрудников АН СССР. Эвакуировалась основная часть научных сотрудников нашего Института. Нас осталось совсем немного: В.В. Антропова, К.В. Вяткина, А.Н. Калдыкина, М.Д. Торэн, В.В. Федоров, технические работники: П.Н. Артамонова, Е.А. Максимова, А.А. Макарова, М. Кожевникова и Р.И. Каплан-Ингель. Возглавил нашу группу Уполномоченный от Академии наук архитектор Р.И. Каплан-Ингель. Ему была поручена охрана Музея со всеми оставшимися документами и коллекциями. Мы распределили обязанности, переехали в новое помещение — подвальные комнатки, где после войны разместились реставрационная мастерская и дежурка для смотрителей Музея и вахтеров. Новое помещение имело ряд преимуществ: окна не были заделаны кирпичом, поэтому пропускали дневной свет, толстые перекрытия стен изолировали их от других подвальных помещений, рядом был выход на улицу. И еще — комнатки имели печи, мы могли хорошо обогреться зимой.

Мы составили план первоочередных работ по Музею и приступили к их исполнению. Надо признать, что Р.И. Каплан-Ингель проявил большие организаторские способности как в отношении работы, так и нашего быта.

Между тем кончалось лето. Фашистам стало все труднее прорываться к городу с воздуха, зато они еще яростнее стали обстреливать его из дальнобойных орудий. Взять Ленинград измором фашистам не удалось, они стали готовиться к штурму.

Нас, как и всех ленинградцев, привлекли к оборонительным работам. Мы устанавливали проволочные заграждения, рыли траншеи в районе Пушкинского дома и Биржевого моста. У Дворцового моста со стороны Зоологического института были установлены дзоты. По распоряжению командования фронта, здание Музея было переоборудовано в опорный пункт обороны. Нам пришлось превратить два угловых кабинета на первом этаже, выходивших окнами на набережную (современные кабинеты Африки и Сибири) в боевые точки. Все работы произвели мы сами. Военные доставили нам только строительные материалы (каменные плиты, кирпичи, цемент, песок и т.п.), которые мы



Папуас, «выстреливший» из лука.

перенесли на своих руках в здание Музея, в том числе и на верхние этажи. Каменные плиты мы установили в проемах окон, заделали кирпичом, оставив амбразуры для пулеметов. Для установки пулеметов построили специальные деревянные постаменты, а для тяжелых орудий пришлось в толстых стенах здания пробивать специальные двери. Нам же пришлось прокладывать и телефонный кабель внутри здания, чтобы в случае необходимости, осуществлять связь с военной частью, дислоцированной в данном районе города.

А работы внутри Музея шли своим чередом. Надо было вынести крупные экспонаты из шкафов, упаковать их, заделать витрины, шкафы и манекены щитами, досками и другими упаковочными материа-

лами, чтобы сохранить их. Интересная история приключилась с одним из манекенов — «Папуас, стреляющий из лука» (сейчас он стоит в зале Австралии). Вблизи Музея разорвался крупный снаряд. Здание сильно трянуло, многие предметы сдвинулись со своих мест, некоторые разломались. У манекена, стоящего на галерее, отломился палец руки, удерживавший натянутую тетиву. Освобожденная тетива довольно сильного лука моментально выбросила стрелу вперед, разрядив тем самым лук. Стрела, пролетев через весь зал, опустилась и вонзилась в щит, защищавший один из шкафов нижней части зала. Получилось впечатление, что манекен-папуас, обращенный лицом в сторону врага, выпустил в него из своего лука стрелу в отместку за все, содеянное им. А в Музее до сих пор бытует легенда «Как папуас Музей от врага защищал».

Вот так и протекали наши блокадные дни — работа по Музею, дежурства, оборонные работы, очистка близлежащих территорий от снега и мусора, разные авральные работы, связанные с ликвидацией последствий бомбежек и обстрелов. Мы жили и работали, как все ленинградцы в то время. Я перечислил здесь далеко не все, но хочу подчеркнуть, что мы не делали ничего исключительного.

В.В. Екимова

О ФОНДЕ ОБОРОНЫ

Клич, брошенный по всей стране о создании фонда обороны, нашел отклик и в нашем Институте. На общем собрании сотрудников было постановлено ежемесячно отчислять однодневный заработок. В августе однодневный заработок имевшихся налицо 77 сотрудников составил 1504 руб. 22 коп. Но, к сожалению, к сентябрю энтузиазм спал: так, однодневный заработок за сентябрь внесли 22 сотрудника из 63, а сейчас уже середина октября. Товарищи, давайте не затягивать выполнение своих обязательств перед Родиной!

Нельзя сказать, что очень хорошо прошел у нас сбор ценностей. Облигации внесли 12 сотрудников на сумму 6960 руб. Двое принесли немного золота и серебра.

Наступают холода. Мы в помещении и то ощущаем холод, а можно себе представить, каково быть в окопах, если не имеешь теплой одежды! Наши защитники Ленинграда получают теплое белье, но еще много его нужно для армии. Ряд товарищей — 12 человек — оказали посильную помощь кто чем мог. Принесла шерстяные носки, шерсть, фуфайку М.Д. Торэн. Принесли, что могли, и Н.А. Липская, Е.А. Максимова. Но откликнулись далеко не все, кто мог бы помочь Армии. Конечно, не у всех есть личные теплые вещи, но можно ведь оказать помощь деньгами.

БАН собрал 2000 руб., на собранные деньги был куплен теплый материал и сами сотрудники взялись за пошив белья. У нас же собрали всего 190 руб. на покупку теплого белья. Надо брать пример с Э.Я. Шапиро, которая горячо откликнулась на наш призыв и принесла не только деньги, но и теплые вещи. А она ведь не является сотрудницей нашего Музея.

Товарищи, когда Вам будет холодно, вспомните — а каково нашим бойцам в окопах!



*Вера Васильевна Екимова,
заведующая Отделом Передней
и Средней Азии. Умерла
во время блокады.*

НАБРОСКИ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ¹



**Дмитрий Алексеевич
Ольдерогге**, член-корреспондент
АН СССР и нескольких зарубежных
академий, признанный глава
отечественной африканистики.
Принимал активное участие
в жизни коллектива Института
в тяжелые годы блокады.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени и медалью
«За оборону Ленинграда».

Утром 22 июня радио оповестило об агрессии и вторжении в нашу страну фашистских войск Германии. К 8—9 часам все сотрудники явились на свои рабочие места. В Институте установили круглосуточные дежурства, определили дежурные посты в разных концах здания, а также в помещении фондов, находящихся в здании АН СССР, — во втором этаже по всей линии Таможенного переулка, во флигеле, стоящем напротив Института этнографии...

Еще до войны сотрудники Музея антропологии и этнографии должны были составить списки особо ценных коллекций, которые в случае опасности требовали специального хранения. Для этих коллекций, отнесенных к группе уникальных собраний, еще до войны заготавливались специальные ящики, которых не хватало. В первые же дни войны ящики с ценными предметами поставили в нижний подвальный этаж здания, где своды очень надежны.

Затем началась разборка экспозиций и укладка вещей в ящики, которые тут же изготовлялись. Основная масса упакованных коллекций была перенесена и уложена в подвалах. Работа осложнялась тем, что многие сотрудники ушли на фронт, в том числе и заведовавший фондами И.Я.Треногов. Объем работ был ве-

¹ Сюда вошли материалы из Справки о деятельности коллектива Института этнографии АН СССР в дни войны, представленной Ученому секретарю 15 марта 1985 года, а также отрывки из личной переписки Д.А. Ольдерогге 1994 года. — Ред.

лик — сюда входила и очистка помещений фондов, главным образом чердаков, где накопилось немало всевозможных вещей — безномерные черепа, кости, части археологических предметов, запасы хозяйки и т.п. Часть этих безномерных предметов мы зарыли в большую яму, вырытую около ворот, ведущих в Архив АН СССР (между нашим и Зоологическим музеем). Надо об этом помнить, чтобы будущие археологи не удивились обилию и разнообразию черепов в одном «погребении».

В первые месяцы войны мы еще ограничивались приведением в порядок коллекций и дежурствами. Затем после участвовавших налетов и бомбежек пересмотрели весь наш внутренний распорядок. Прежде всего, открыли все двери, даже заколоченные. Так, дверь в библиотеку, которую закрывали ежедневно после окончания всех работ, пришлось держать постоянно открытой, чтобы обеспечить свободный проход дежурной охраны здания.

В июле 1941 года группа сотрудников Института была направлена на оборонные работы на станцию Радофинниково, где предстояло рыть траншеи. Со мной в группе были Э.В. Зиберт, Г.И. Петров, Н.И. Шадрина, в другой группе — Т.А. Юзепчук, кто еще не помню. Там мы прожили неделю, как вдруг ночью прискакал вестовой с сообщением, что немцы прорвали оборону, обошли наши части. Всем военнообязанным нужно было возвратиться в Ленинград в свои комиссариаты. Однако по приказу местного начальника группу сотрудников академических учреждений вывезли к Новгороду опять же заниматься строительством рубежей. Местность, где нам пришлось работать, простреливалась, поэтому работали по ночам. Через несколько дней немцы и здесь прорвали оборону, и мы оказались в районе боев. Вывозили нас на военных машинах, сперва доставили в Новгород, а потом в Ленинград.

А через несколько дней группа сотрудников академических институтов, входившая в так называемый Василеостровский отряд, снова была послана на оборонные работы под тот же Новгород. Продержались там несколько дней. Прибывший вестовой сообщил нам, что немцы обошли этот участок и находятся уже далеко впереди. Пока судили-рядили, как выбраться, сюда стали стекаться отдельные красноармейцы с оружием. Решили идти ночью, не зажигая огня. Командиром выбрали меня, как старшего по званию (капитан запаса) и знавшего местность (моя семья многие годы летом отдыхала в этих краях, мы много ходили пешком по окрестным деревням). Шли гуськом в затылок друг за другом, стараясь не шуметь, не говорить, выбирали густые участки леса, костров не разжигали. Вышли к своим около Радофинникова. Там встретили сотрудниц нашего института, рывших противо-

танковые рвы. Мы отдали женщинам все свои теплые вещи, так как посчитали, что они нам больше не нужны, — тепло, мы едем в Ленинград, а им еще неизвестно, как долго предстоит работать.

А когда пришли на станцию, какой-то лейтенант, принявший на себя командование, объявил нас всех мобилизованными в армию, посадил в вагоны и направил в сторону фронта. Пытавшемся возразить против чинимого произвола К.К. Курдоеву (из Института востоковедения) пригрозил расстрелом на месте. Ночью вагоны подверглись жестокому обстрелу, все высыпали из вагонов и рассыпались по полю. Остаток ночи провели в канаве, плотно прижавшись друг к другу. Ночи были уже прохладные, а из одежды у нас остались одни майки да легкие рубашки. Утром мы увидели подъехавшие грузовики с красноармейцами. Командир приказал в каждую машину брать по нашему сотруднику, за исключением К.К. Курдоева, которого старательно искал, «чтобы расстрелять на месте». Бедного Курдоева бойцы спрятали себе под ноги на дно машины, чтобы не попался на глаза разгневанному начальнику. На этих машинах мы благополучно прибыли в Ленинград, где еще было тихо.

По приезде в Ленинград меня направили в отряд гражданской обороны, расположенный в Академии художеств. Там мы проходили военную подготовку. В случае необходимости, задачей отряда была оборона моста Лейтенанта Шмидта. Потом отряд расформировали.

После первых бомбежек многие семьи сотрудников остались без крова. Кабинет Африки отдали под жилье семье профессора Генко и его жене. Затем были оборудованы два бомбоубежища: одно в подвале восточного крыла Музея, другое — в подвале здания, выходящего на Таможенный переулок.

При объявлении воздушной тревоги дежурные немедленно отправлялись на свои посты — на крыши зданий Кунсткамеры и фондов Музея, находившихся в восточном крыле главного здания Академии наук. Каждый пост был снабжен противопожарным инвентарем, в том числе бочками с водой и песком. Дежурные надевали пожарные каски.

18 октября 1941 года в результате массированного налета Стрелка Васильевского острова оказалась буквально засыпанной зажигательными бомбами. Большинство зажигалок были благополучно погашены дежурными или сброшены вниз, где их «доканчивали» вышедшие на набережную наши сотрудники. Однако пожар начался на самой башне Кунсткамеры, там очевидно поста не было. Напомню, башня тогда оставалась недостроенной — верх ее представлял собой площадку. Я вместе с начальником поста В.В. Федоровым находился в это время на

крыше другого здания — фондов. Мы благополучно ликвидировали все зажигалки и уже собирались уходить, как вдруг я заметил в самом углу чердака, под узкой щелью крыши, огонь. Оказалось, одна зажигалка, пробив железо крыши, застряла в перекрытии, зажигательная смесь стала плавиться и вытекать. Возник пожар, потушить который удалось с большим трудом, ползком перелезая через балки и перекрытия, нося в пожарных касках то воду, то песок. Не успев отдышаться, заметили зарево пожара над башней Кунсткамеры. Бросились вниз на помощь. Пожар был потушен.

В конце октября было получено распоряжение перевести всех сотрудников мужчин на казарменное положение. Меня в списки не включили, так как я в то время лечил разбитую при тушении пожара ногу. Сотрудники Института, не находившиеся на казарменном положении, обязаны были один раз в неделю являться в дирекцию. Кроме того им вменялось в обязанность обходить квартиры не явившихся в срок и узнавать причины отсутствия.

Началось самое тяжелое время блокады. Люди стали умирать от голода.

Для сотрудников, находившихся на казарменном положении, были оборудованы в подвалах общежития. Однако постепенно в них стали перебираться и сотрудники, по тем или иным причинам не живущие в своих квартирах. В подвалах в полной темноте рядами стояли кровати, около некоторых мерцали ночники. Было холодно, водопровод и канализация не работали. Но, несмотря на все эти трудности, в перерыве от своих обязанностей многие занимались научной работой. Скажу о себе: вместе с С.А. Штернберг и С.В. Ивановым мы обсуждали проблемы редактирования курса Л.Я. Штернберга по общей этнографии и подготовке его к печати. К весне 1942 года, когда стало светлее, улучшилось продовольственное снабжение, начались заседания объединенного Научного совета. Так, 1 апреля 1942 года состоялось организационное собрание, 27 мая был мой доклад по общей этнографии (эпигамия), 3 июня — отчет Института этнографии, где мне также пришлось выступать. 12 июля в Институте археологии на Ученом совете под председательством В.И. Равдоникаса состоялся мой доклад о наскальных росписях в Сахаре.

В конце лета 1942 года поступило распоряжение об эвакуации оставшихся сотрудников Академии наук. В Институте осталась небольшая группа под руководством Р.И. Каплан-Ингеля, энергичного организатора, сумевшего сохранить Музей. Эвакуация сотрудников с семьями происходила в августе, ехали мы по железной дороге до

Ладожского озера, затем на катерах на Большую землю. В Ташкент прибыли только в ноябре. Вскоре получили известие о назначении директором Института С.П. Толстова.

В начале 1943 года С.П. Толстов прибыл в Ташкент знакомиться с сотрудниками, организовал несколько научных заседаний...

В феврале 1944 года я и М.В. Степанова получили командировки в Москву, где в то время С.П. Толстов создавал Московское отделение Института этнографии АН СССР. Из Москвы я был командирован в Ленинград в начале марта 1944 года. Поезд, на котором я ехал, был одним из первых, что шли тогда из Бологого. Поезд кружным путем добирался до Шлиссельбурга, где был наведен мост через Неву. Перед поездом была прицеплена тяжелая платформа, обеспечивавшая ему безопасность от взрыва мин. Такой взрыв произошел перед поворотом на Тихвин...

В мае 1944 года у меня была вторая командировка в Москву, а затем и в Ленинград, где я уже остался насовсем. Впечатления от увиденного попытаюсь выразить в сравнении.

Разница между мартом и июлем ощутительна: как будто два различных Ленинграда, причем второй Ленинград становится уже менее фронтовым...

Март. У Московского вокзала сажусь в трамвай. Народу немного, в трамвае свободно, хотя вагонов в ходу не хватает и ждать приходится долго. В вагонах стекол мало, их заменяет фанера. Я нарочно просчитал, какой процент офанеренных и остекленных окон. В одном трамвае из 20 — 10 стекол, 10 фанер, в другом — 8 стекол, 12 фанер, в третьем — 14 стекол, 6 фанер, в четвертом — 4 стекла, 16 фанер. Причем на долю стекол остается мелкая расстекловка, все большие рамы (которые открываются), как правило, всегда фанерные. Поэтому вечером, в затемнении, трамвая не видно. Слабое мерцание притушенного фонаря снаружи позволяет различить его только на близком расстоянии. Внутри трамвая синий свет, отчего сидящие в нем люди кажутся мертвецами.

На улицах народу почти нет, особенно по вечерам. На Невском проспекте народу больше, на боковых улицах — единицы. Зараз видишь не более 2—3, ну человек 5 на такой улице, как Литейный проспект, а на меньших — лишь случайные прохожие. Поражают скелеты домов с пустыми глазницами окон. Есть и такие дома: внешне дом как дом, на невнимательного человека он не произведет никакого впечатления — стены целы, окна, правда, без стекол, но и без выбоин. Однако внутри нет потолочных перекрытий, стен, лестниц, разбиты цели-

ком или частично отдельные квартиры. Значит, здесь «поработали» снаряды.

Вот пример. Прихожу в дом О.Г. Зограф. На площадке две квартиры, направо ее квартира — налево открытая почему-то дверь. Оказывается, туда попал снаряд: уничтожены перекрытия, содрана штукатурка со стен, раздроблена мебель, книги, посуда — квартира необитаема...

А уж к лету 1944 г. города было не узнать. По Невскому муравьиным потоком движутся люди, идут по обеим сторонам, не вспоминая про надпись: «Граждане! Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна!». Эти надписи вспоминаются теперь почти как мраморные доски с указанием высоты воды в 1824 году. Их смывают, к сожалению, а хорошо бы оставить свидетелей тех тяжелых времен...

Изменилась и Университетская набережная. Перед нашим Музеем были три землянки, два дота. Кроме того при входе на Дворцовый мост тоже дзоты. Землянки с месяц назад засыпаны, а теперь и мостовую заложили камнями. Вход в Таможенный переулок освободили от проволочных заграждений, врытых в землю. В Главном здании Академии наук начинают разбирать замурованные окна. В нашем Музее кабинеты Африки и Сибири еще по-прежнему являют собой мощные доты.

Весной и летом начали появляться новые трамвайные вагоны, по новым маршрутам пущены отремонтированные. Они остеклены тонким, рубчатым, с браком стеклом. Сперва таких вагонов было мало, теперь с каждым днем становится все больше и больше. В трамвае давка и теснота, на подножках висят. Число маршрутов почти довоенное: перед Институтом № 5 и 12 (мост Биржевой не в порядке). Любопытно смотреть на трамвайные пути: на остановках, около стрелок, на перекрестках, всюду, где так или иначе сближаются трамвайные пути, — блестящие рельсы, тогда как на остальной части пути — темные. Это также результат обстрелов — развороченные рельсы заменялись новыми. На Невском такое увидишь на каждой остановке. Следы обстрелов выдают и более темные пятна на асфальте, обрывки болтающихся проводов, хотя, как правило, эти обрывки прикреплены к домам...

Хотя фронт продвинулся далеко, взрывы все еще слышны, — говорят, рвут мины на взморье. Мины — это сущее наказание, их бесконечно много, за городом ступить нельзя за пределы дороги. Много людей подорвалось на минах, неразорвавшихся снарядах и гранатах. Страдают и дети. В городе полно всякого пороха, гранат, патронов, и

мальчишки забавляются этим не без вреда. В мае прохожу я по двору соседнего дома, вдруг грохот, летят стекла, из окна пламя. Оказывается, дети раздобыли порох, сложили в кучу на лестнице и подожгли. Хорошо, что все обошлось благополучно, ребята отделались испугом и разбежались. А есть слухи похуже. На набережной Невы, за Мошковым переулком, мальчонка, где-то раздобыв противотанковую гранату, решил глушить рыбу. В результате у мальчишка оторваны руки, нога. Очень много таких происшествий в пригородах...

Пригороды, окрестности... Вспоминаю путь по Октябрьской дороге: от Чудова до Ленинграда нет ни одной железнодорожной будки — все взорваны. Поповка — абсолютно голое место, парк — только щетка голых стволов. Все эти места перерезаны линиями окопов и блиндажей. Поезд идет наперерез через них. Еще ужаснее вид пути вдоль Ладоги у Шлиссельбурга, Мги, где на десятки верст видишь только остатки леса — стволы, воронки и пни, пни, пни... Из воронки вдруг вылезает железнодорожник, помашет флажком и вновь ныряет вниз, в воронку...

Всего не перескажешь. Это вообще только наброски. Вспоминаний столько, что в пору написать книгу...

Приведу для примера, страничку из моего дневника...

1944 год

19.VI. Понедельник

С утра начал проводку телефонного кабеля по наружному фасаду здания Кунсткамеры. Первый день работаем с 9 ч. утра. С 12 — привезли дрова, две машины, — 12 м³.

Разгружали дрова человек восемь (почти исключительно женщины). К четырем—пяти [часам] окончили укладку в подвалы. Устали чрезвычайно. С Александрой Николаевной [Калдыкиной] вечером был даже сердечный припадок. Получил карточку сухого пайка НР. Был в кооперативе в первый раз.

20.VI. Вторник

Продолжал проводку телефона по наружной стене фасада Кунсткамеры. Провел до середины здания. Работа окончена к 2 часам, окончилась ввиду того, что весь моток — 220 м — израсходовал.

От вчерашней укладки и от непривычки работы с проводкой устал до того, что ничего дома не смог сделать. Уборка стоит уже третий день. Отоварил частично карточки — белый хлеб.

21.VI. Среда

От усталости ночь не спал. Сердце. Продолжал проводку кабеля. К часу провел 200 м, работа идет легче. Мотки не спутал, даже пропускаю их под водосточными трубами. Появился опыт. Вечером был

у Николая. Бежал, чтобы успеть к 12 ночи домой. За полчаса дошел до дому с чемоданом и динамиком от Октябрьского вокзала.

22.VI. Четверг

Дежурство. Предстоит включение света в ту часть здания, куда мы переходим на лето... Электротехник занят. Включение не состоялось. Сделал ввод телефонного провода в новую дежурку.

Из домашнего архива Д.А. Ольдерогге. На внутренней стороне твердой обложки книги П. Белинского «Пространство, время и движение» простым карандашом составлен «Список людей, которых надо было выводить из “мешка” близ Шимска в 1941 г. Всего 22 человека»

ФИН

1. Барашников, Ив[ан] Аф[ан]асьевич] (болезнь неразборчиво).
2. Павлов Борис Влад[имирович], бронхит, восп[аление] горла.
3. Викторов Влад[имир] Фед[орович], почки, суставной ревматизм, босой.

4. Федоров Илья Антон[ович].

ИВАН

5. Башкиров Андрей Вас[ильевич].
6. Новичев Арон Давыдович.
7. Цевикиан Арен.
8. Якимов.
9. Муллакандов.

ИЭ

10. Лев Давид Нат[анович], туберкулез.
11. Петров Гр[игорий] Ив[анович], рука, легкие.
12. Ольдерогге Дм[итрий] Ал[ексеевич].
13. Шакуров Али.

ЗИН

14. Рубцов Ив[ан] Ант[онович], желудок.
15. Кожанчиков Игорь Вас[ильевич].
16. Манчацкий Александр Сам.

Другие

17. Игнатович Александр Мих.
18. Кириллов Конст[антин] Геор[гиевич].

Приморский — Газоаппарат

19. Гришин Матв[ей] Никит[ович].
20. Лебедев Фед. Ив[анович].
21. Нестеров Ник[олай] Ник[олаевич].
22. Холодов Александр Ив[анович].

С.В. Иванов

КАК БЫЛА ЛИКВИДИРОВАНА ТЕРМИТНАЯ БОМБА



Сергей Васильевич Иванов, доктор исторических наук, сибиревед. Его научные труды составляют золотой фонд отечественной этнографической литературы. В тяжелые годы блокады работал в Институте.

Стоял конец холодного ноября 1941 года. Все более менее трудоспособные сотрудники нашего Института напряженно ждали очередного сигнала воздушной тревоги. А они объявлялись по нескольку раз в день.

Мы сидели в подвале, в дежурке, где было теплее, чем в кабинетах и залах Музея, с выбитыми стеклами и тонким налетом снега на полу.

А вот и сигнал, к которому мы всегда были готовы. Дежурные быстро заняли свои места. Мой пост в этот день был на крыше, неподалеку от башни, не имевшей тогда верхушки.

Вскоре послышалось глухое гудение фашистских самолетов. Еще через несколько минут на набережную и на наш Музей посыпались ящики с зажигательными бомбами. Их было много — ящиков и бомб. Они со стуком ударялись о мостовую и о крышу Музея. Раскальваясь, ящики выбрасывали десятки и сотни

бомб, разлетавшихся во все стороны. Нужно было внимательно следить за тем, чтобы ни одна из них не застряла на крыше, покрытой снегом.

Оглянувшись, я заметил бомбу, наполовину ушедшую в снег, неподалеку от моего поста. Времени было мало — дело решали секунды. Я схватил прищипы и, зажав ими бомбу, пробрался к лестнице и бросил зажигалку в большую бочку с водой. Вода зашипела, потом успокоилась, и я решил, что опасность миновала. На следующий день я вытащил бомбу из бочки и хотел выбросить, но услышал легкое шипенье. Пришлось снова опустить бомбу в бочку. Так продолжалось еще несколько раз в течение целого месяца. Наконец шипение прекратилось, но я держал бомбу в воде еще около месяца, а затем зарыл ее в песок, а позже отнес домой.

УЧЕНЫЕ ДУМАЮТ О СВОИХ ТРУДАХ, РАБОТАЯ ПРИ СВЕТЕ КОПТИЛКИ...

22 июня 1941 года гитлеровские полчища перешли границу нашей Родины. В этот день и в наш мирный Институт незваной гостьей вошла война. Один за другим уходили на фронт мужчины. В непривычной военной форме они наскоро забежали в Институт привести в порядок дела, торопливо прощались, попросив помочь семьям. Матери же со слезами отправляли ребятшек в далекую эвакуацию.

25 июня предельно краткий приказ по Институту: «Музей для посетителей закрыт до особого распоряжения». Удары молотков, визг пил, шуршание бумаги заменили в залах голоса экскурсоводов. Спешно делались ящики и в них упаковывались коллекции. Но вот забит последний ящик, уложены уникальные и наиболее ценные предметы. С коллекциями второй очереди труднее — не достает тары, израсходован упаковочный материал. Но и эта работа выполнена.

Враг с каждым днем приближается к городу. Началась подготовка Ленинграда к обороне. Сотрудники целыми группами уезжают на строительство оборонных сооружений. В них участвовали не только трудоспособные, но и те, кто не подлежал мобилизации на трудовом фронте, — К.В. Вяткина, Л.Э. Каруновская, Г.С. Григорьев и другие. Оставшиеся в Институте шили мешки, таскали песок и воду на чердаки, заклеивали и маскировали окна.

Сентябрь—октябрь 1941 года. Сомкнулось кольцо вражеской бло-



Валентина Васильевна Антропова, научный сотрудник Отдела Сибири. Всю блокаду работала в Институте. Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».

кады. Плохо с продовольствием, сокращается паек. Учащаются налеты фашистских стервятников. По ночам в погруженный во мрак город сыплются тысячи зажигательных бомб. За ними со свистом и грохотом падают тяжелые фугаски. Часть сотрудников переведена на казарменное положение, чтобы обеспечить противопожарную охрану Музея. Круглосуточное дежурство на чердаках. В одну из темных осенних ночей на здания Института и фондов падают зажигалки, но они быстро потушены С.В. Ивановым, Н.Н. Тихоницкой, В.В. Федоровым и Л.И. Судаковым. 18 октября 1941 года общими силами всего коллектива был потушен пожар на башне Института, куда под перекрытие попала зажигательная бомба.

В те осенние дни впервые в повседневную разговорную речь вошло страшное слово «дистрофия». Первой жертвой голода в Институте стала Н.П. Дырленкова.

Ноябрь—декабрь. Дни становятся короче и темнее, холод ощутительнее, вышел из строя водопровод, выключено электричество, через выбитые окна залетает снег, гуляет ветер. Все настойчивее дает о себе знать голод. Люди пухнут, болеют или просто падают и умирают. Но жизнь все еще теплится в стенах Института. Уполномоченный Р.И. Каплан-Ингель собирает еле двигающихся сотрудников, чтобы кусками фанеры заделать зияющие провалы в окнах. Ученые думают о своих трудах, работая при свете коптилки...

16 декабря на заседании Ученого совета филфака защитил диссертацию А.Н. Кондауров. Деятельно готовится к защите Н.Н. Тихоницкая. Д.А. Ольдерогте пишет докторскую диссертацию. Г.И. Петров читает лекции, пишет актуальные статьи по расовой проблеме.

Страшные январь и февраль 1942 года. Почти каждый день печальное известие о чьей-нибудь смерти. Из 33 человек, умерших в блокаду, 29 сотрудников Института умерли в эту холодную зиму. Но 1942-й год принес немало и радостей: разгром немцев под Тихвином, открылась Дорога жизни, увеличены нормы выдачи продуктов. В феврале часть сотрудников эвакуировалась на Большую землю. Суровая зима постепенно уступала свою власть. Люди поокрепли, и с наступлением весны все, кто мог держать лопату в руках, вышли на улицу, чтобы очистить город от снега и нечистот. И с этой работой коллектив справился.

Лето 1942 года. Ожидается новое наступление фашистских орд. В июне в Институте остается только небольшая группа сотрудников для охраны музейных коллекций, остальные эвакуируются. Ленинград подвергается ожесточенным артиллерийским обстрелам. Здание Институ-

та разукрашено следами осколков от снарядов. Внутри его мощные каменные доты, в сооружении которых принимают участие сотрудники Института. Они же зафанеривают слишком часто вылетающие окна, а в тихие дни вскрывают ящики с коллекциями: посмотреть, не завелась ли там моль.

Зима 1942/43 года была встречена во всеоружии: заготовлено топливо, улучшились бытовые условия, нормализовалось питание, но лучшей пищей были радостные известия с фронта.

Лето 1943 года. В каждый ясный солнечный день по всему двору натягивались веревки, на которых сушились и чистились меховые вещи. Вот запись из дневника того времени: «6/VI сушили сундук 8—158 вещей; 7/VI — обувь из морилки — 188 вещей... 20/VI — сушили мелкие вещи — 483 предмета» и т.д. И так до конца теплых и сухих дней.

В 1943 году оживилась и научная жизнь. В августе была организована научно-исследовательская группа историков под руководством Ю.П. Францева, ученым секретарем которой была назначена К.В. Вяткина.

27 января 1944 года залпы первого победного салюта в Ленинграде. Темное небо осветили пучки разноцветных огней. Знакомые и незнакомые поздравляют друг друга, смеются, кричат, плачут, но это слезы радости. Радость на лицах, домах, улицах: «Блокада снята!!!».

Далее мы приведем некоторые воспоминания Валентины Васильевны Антроповой о товарищах, с которыми она работала в те незабываемые годы.

Всем сибиреоведам (как у нас, так и за рубежом) хорошо известно имя **Георгия Николаевича Прокофьева** — лингвиста и этнографа, заполнившего на этнографической карте Сибири большое белое пятно и ознакомившего науку с почти не известным народом — селькупам.

Он изучил их обычаи, зафиксировал культуру, в совершенстве освоил их язык, что впоследствии дало ему возможность разработать и аргументировать теорию южного происхождения самодийских народов. Но деятельность Георгия Николаевича не ограничивалась разработкой чисто научных вопросов, он являлся также автором букварей, грамматик и других учебных пособий на селькупском языке. Селькупы до сих пор хорошо помнят Георгия Николаевича, хотя с тех пор прошло много десятилетий. В те далекие 20-е годы Георгий Николаевич был среди селькупов первым учителем в первой селькупской школе. И прав был профессор В.Г. Богораз, сказав: «Благодаря своему знанию селькупского языка, Прокофьев приобрел полное доверие своих селькупских соседей. Они называют его *Рус-сель-куп*, т.е. рус-

ский селькуп». Таков был Георгий Николаевич Прокофьев — ученый и гражданин.

Григорий Давыдович Вербов прожил всего 32 года. Трудно сказать, где больше времени провел он — в аудиториях, за письменным столом или в поле, пересекая на оленних нартах безбрежные тундры Европы и Западной Сибири от стойбища к стойбищу, обучая в чумах грамоте ненецких ребятишек и ведя беседы со стариками о древних обычаях ненецкого народа. В это же время Григорий Давыдович окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал ряд статей, принимал деятельное участие в составлении словарей, букварей и других учебных пособий на ненецком языке. Перед войной он начал работать над монографией «Ненцы», которая мыслилась как докторская диссертация.

22 июня Григорий Давыдович ушел добровольцем на фронт. Весной 1942 года сержант Вербов по рекомендации товарищей, знавших его по работе в Институте, подает заявление с просьбой принять его в ряды партии. Однако документы вернулись обратно, разрыв вражеского снаряда оборвал жизнь талантливого исследователя, большого знатока культуры и быта ненцев.

Старший научный сотрудник сектора Сибири **Николай Петрович Никульшин** — воспитанник Московского университета. После его окончания в 1931 году вместе с женой и грудным ребенком поехал на стационарную работу в Эвенкийский национальный округ. Более трех лет прожил там комсомолец Никульшин, сочетая практическую работу сотрудника культбазы со сбором этнографического материала и изучением эвенкийского языка. После Эвенкии — Ленинград, аспирантура, успешная защита диссертации. В отличие от многих этнографов 30-х годов Николай Петрович особый интерес проявил к изучению современности, что нашло отражение в его большой опубликованной работе «Первобытные производственные объединения и социалистическое строительство у эвенков». В первые дни войны коммунист Никульшин ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая подступы к Ленинграду.

В числе тяжелых утрат, которые понесла этнографическая наука в годы блокады, стоит имя **Надежды Петровны Дырнковой**.

Надежда Петровна — ученица востоковедов академика Александра Николаевича Самойловича, члена-корреспондента Сергея Ефимовича Малова и этнографа Льва Яковлевича Штернберга, была специалистом широкого профиля — этнографом, лингвистом, фольклористом. Начиная со студенческой скамьи, т.е. с 1925 года, она сочетала кабинетную работу с экспедиционной, побывала у всех тюркских народов Южной

Сибири. Этнографам хорошо известны работы Надежды Петровны в области социальной и духовной культуры тюркских народов, лингвистам — грамматика шорского и алтайского языков, фольклористам — богатейшие материалы, записанные ею у шорцев, алтайцев, хакасов.

«Шорский фольклор» — монография Надежды Петровны Дырленковой — был с интересом прочитан Алексеем Максимовичем Горьким и получил его одобрение.

Нина Александровна Липская — очень добрая скромная женщина, с радостью делившаяся со всеми тем, что имела и знала. Но за этой скромностью скрывались большие знания, большой опыт полевой работы неутомимого исследователя амурских народов, скрупулезное знание их обычаев, языка и фольклора. Нина Александровна и умерла, сидя за обработкой своих научных материалов.

Николай Борисович Шнакенбург, или попросту Шнак, как его звали друзья, связал свою судьбу с далекой Чукоткой. По рекомендации профессора Владимира Германовича Богораза, прервав учебу в университете, он поехал к чукчам и пробыл там свыше двух лет, работая учителем в чукотских и эскимосских стойбищах и селениях. Перед войной он совершил еще одну поездку на Чукотку, побывав у малоисследованной группы коряков-кереков. С большими планами поступил Николай Борисович перед войной в аспирантуру Института, но осуществить их не удалось. Солдат Николай Шнакенбург не вернулся с фронта.

Игорь Лекомцев. Если называть его полным именем, т.е. Игорем Михайловичем Лекомцевым, то даже близко знавшие его сперва должны были подумать, о ком идет речь. Для всех он был и остался просто Игорем Лекомцевым — кудрявым веселым комсомольцем, приехавшим в университет из глухой Удмуртии. Студент, затем научный работник Института этнографии, всегда имевший много творческих планов, он вел и большую общественную работу. С годами прибавлялся опыт, знания, научные статьи, авторитет, но Игорь оставался все тем же веселым чутким товарищем, надежным другом, комсомольским организатором.

Комсомол рекомендовал его в партию. После окончания Высшей партийной школы И. Лекомцев работал в Приморском райкоме партии, однако связи с Институтом не порывал, готовясь писать диссертацию. Но началась война. Игорь Лекомцев ушел добровольцем на фронт, где и оборвалась жизнь этого замечательного человека, многообещающего научного работника.

С.М. Абрамзон

ОНИ С ЧЕСТЬЮ СПРАВИЛИСЬ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ



Саул Матвеевич Абрамзон,
*доктор исторических наук,
специалист по этнографии
киргизов. Секретарь партийной
организации. После эвакуации
директора Института испол-
нял его обязанности.*

Уже в первые дни войны не ушедшие на фронт сотрудники своими силами переоборудовали институтский подвал под бомбоубежище и упаковали в ящики наиболее ценные коллекции Музея, но 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо вражеской блокады и эвакуировать коллекции не удалось. 125 ящиков с музейными вещами были тогда переданы на хранение в кладовые Государственного Эрмитажа, а другие вместе с упакованной библиотекой сложили в своем бомбоубежище. Когда потом в них обнаружилась сырость, пришлось эти несколько сот ящиков перетаскивать в экспозиционные залы Музея. Затем учет направления вражеского артиллерийского огня заставил снова переносить те же ящики в другие, более безопасные места. Чтобы осколки стекол, вылетающие при артобстреле из

окон и шкафов, не повредили экспонаты, оставшиеся неупакованными, шкафы с экспонатами обложили досками, старыми деревянными ящиками и другими предметами, а окна изнутри заставили щитами, сколоченными из досок. Мягкие музейные вещи в часы затишья периодически проветривали во дворе.

Для охраны здания Института этнографии и его Музея были установлены посты дежурств сотрудников. Особенно тяжелыми были дежурства на чердаке, который на случай пожара засыпали песком и покрыли суперфосфатом. Песок, ведра, лопаты и щипцы для обезвреживания зажигательных бомб находились под рукой в разных местах здания. Башня Кунсткамеры в начале блокады служила наблюдательным пунктом и зенитно-пулеметной точкой в системе противовоздуш-

ной обороны города, а позже стала одним из мест дежурства сотрудников.

В 1942 году здание Института по приказу командования фронта было переоборудовано в опорный пункт обороны. Ряд окон заложили кирпичом и мешками с песком. Оставленные в окнах щели должны были на случай уличных боев превратиться в амбразуры.

С лета 1942-го по 1944-й год в Ленинграде продолжали нести вахту 15 сотрудников Института: заведующий Отделом оформления Музея, ставший теперь Уполномоченным Президиума АН СССР, архитектор Р.И. Каплан-Ингель, старший научный сотрудник К.В. Вяткина, младшие научные сотрудники В.В. Антропова, В.В. Федоров, М.Д. Торэн, заведующая канцелярией А.Н. Калдыкина, комендант здания Е.А. Максимова, вахтеры А.Н. Макарова, О.П. Карманова и М.Т. Константинова, рабочие З.И. Каплан, П.Н. Артамонова и Н.В. Андросова, дворники М.В. Евстратова и Е.Е. Егорова. Именно им мы обязаны больше всего спасением здания Петровской Кунсткамеры и сокровищ Музея антропологии и этнографии. Все они, как и воины Ленинградского фронта, были награждены медалью «За оборону Ленинграда», а Р.И. Каплан-Ингель, К.В. Вяткина, В.В. Антропова, Е.А. Максимова и А.Н. Макарова, кроме того, другими орденами и медалями.

Стойкость, мужество и горячий советский патриотизм — вот те черты, которые ярко проявились в коллективе нашего Института в годы Великой Отечественной войны и особенно во время блокады Ленинграда. Разве не проявлением стойкости были бесстрашные ночные дежурства членов унитарной команды МПВО на чердаках и крышах здания Института? То же самое можно сказать о массовом участии сотрудников в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду, о самоотверженном труде научных и технических работников по отбору, упаковке и организации хранения уникальных и особо ценных коллекций нашего Музея.

Проявлением стойкости был замечательный пример творческого труда ученых в тяжелых условиях блокады. Профессор К. Пущкаревич, несмотря на голод и истощение, собрав все свои силы, написал небольшую книгу «Чехи», глубоко веря в грядущее освобождение братского чешского народа от ига гитлеровского фашизма. Рукопись этой книги была переправлена на Большую землю в Свердловск, где тогда находился Президиум АН СССР, и там книга была напечатана.

Старший научный сотрудник, антрополог Г.И. Петров уже во время блокады закончил работу над рукописью на крайне актуальную в то время тему «Расовая теория германского фашизма». К сожалению,

преждевременная смерть автора от голода не позволила реализовать этот патриотический труд.

Младший научный сотрудник, коммунист А.Н. Кондауров в неотапливаемой аудитории востфака ЛГУ в конце 1941 года защитил кандидатскую диссертацию. Защита прерывалась артобстрелом.

Старший научный сотрудник, коммунист М.А. Сергеев продолжал подготовку тома «Народы Сибири».

Так же мужественно трудились и обороняли город и доверенные нам музейные коллекции — национальное достояние страны — многие сотрудники. И когда в июле 1942 года основная часть ученых нашего Института была эвакуирована, огромный груз охраны коллекций Музея, библиотеки и всех материальных ценностей приняла на свои плечи небольшая группа сотрудников, ядром которой стали коммунисты К.В. Вяткина, В.В. Антропова, Р.И. Каплан-Ингель. Они с честью справились со своей задачей.

Таковы примеры стойкости советских людей в годы великих испытаний.

М.Д. Торэн

НАУЧНАЯ РАБОТА В ИНСТИТУТЕ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ

Коллекции были подготовлены к эвакуации. Но вскоре выяснилось, что эвакуировать их невозможно. Наиболее ценные коллекции (125 ящиков) были переданы в Эрмитаж на хранение. Остальные предметы и редкие книги разместили в первом этаже нашего здания под сводами. Описи спрятали в негосгораемый шкаф. Выбитые окна закрыли фанерой. Приняли противопожарные меры.

18 октября 1941 года зажигательная бомба попала в башню Кунсткамеры. Пожар был потушен.

Вскоре сотрудники перешли на казарменное положение. После бомбежки каждый из них обходил порученные ему помещения.

Январь 1942 года — голод, холод. Замерз водопровод, вышла из строя канализация. Единственное теплое место — дежурная комната. Здесь жили, на печурке грели завтраки и ужины (обедали в столовой). В период с декабря 1941 года по февраль 1942 года от голода скончались более трети оставшихся в Ленинграде сотрудников. С 11 февраля 1942 года хлебная норма служащим была увеличена с 200 до 400 граммов.

Научная работа в Институте не прерывалась. Работали над трудом «Народы мира».

В солнечные дни выносили на двор вещи, развешивали их и просушивали. Если начинался обстрел, то быстро уносили вещи в подвал.



*Мария Давыдовна Торэн,
научный сотрудник Отдела
Европы, кандидат исторических
наук. В период блокады продол-
жала работать в Институте.
Награждена медалями
«За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «В память 250-летия
Ленинграда».*

Сушили книги в бухгалтерии. Помню, как мне пришлось промывать заспиртованных монстров — от холода на них появились какие-то кристаллические выделения.

18 января 1943 года я дежурила вместе с В.В. Антроповой. По радио сообщили о прорыве блокады. Радость была огромная. Люди на улицах обнимались и целовались.

Научная деятельность становилась все более активной. При Институте работала научно-исследовательская группа: председателем был Ю.П. Францев, ученым секретарем — К.В. Вяткина. Заседания проходили в дежурной комнате. Обсуждались различные проблемы нашей науки.

В.Е. Краснодембский

**ИЗ ПИСЕМ БРАТУ
ВРЕМЕН БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА**

3/IX-41 г.

«...Я с небольшими перерывами был за городом на окопных работах все это время. Здоров.

1 сентября в университете начались занятия, может быть, и я приступаю к преподаванию (вероятно, буду одну неделю преподавать, другую — копать), а может быть пойду на фронт»...

13/XII-41 г.

«...Я живу, как и все ленинградцы, к счастью, у меня есть дрова и у меня тепло и уютно. (Да! На днях получил карточку первой категории, теперь мне стало лучше.)

Работы в университете почти нет. Научную работу я делаю, главным образом, т.е. почти целиком, дома».

8/II-42 г.

«...Мои дела такие: в Академии наук я в отпуске без сохранения содержания, в университете на пол-окладе. Теперь там каникулы. До последнего времени я, слава богу, не болел и держался крепко; сейчас вот в последние дни стала появляться слабость; исхудал очень здорово... Но теперь я подправляюсь!!! А в ближайшее время, я уверен, в Ленинграде наступит улучшение. Одним словом, я не падаю духом».



*Валерий Евгеньевич
Краснодембский, научный
сотрудник Отдела Индии
лингвист, историк, этнограф.
Умер 16 мая 1942 г. от дистрофии в Пензе, куда был
вывезен из блокадного города.*

**Письмо В.Е. Краснодембского брату Георгию из Пензы
от 2 мая 1942 года**

Дорогой Жорж!

Получил твое письмо (уже дней 5 назад). Я, как только получил

твою телеграмму, послал тебе подробное письмо, в котором писал, что понемногу поправляюсь от сильного истощения.

Описывал еще, как мне дважды в неделю посылает передачи одна ленинградская студентка.

Могу добавить, что потратил около 250 руб. гл. обр. на молоко, но я это прекратил — цены невыносимые. Денег у меня 700 р. В университете у меня было всего 1/2 ставки. За болезнь не получу ничего; м.б. за 10 дней дороги с 1/III до болезни. [...]

Пиши о всех новостях, планах. Я устаю писать.

До свидания, дорогой, крепко целую.

Твой Валерий

Письмо Г. Салминой Г.Е. Краснодембскому из Пензы

18 мая 1942 года

Уважаемый Георгий Евгеньевич!

Вы, конечно, уже получили телеграмму о преждевременной кончине Вашего брата Валерия Евгеньевича. В период нахождения Валерия Евгеньевича в пензенской больнице я регулярно навещала его. Никогда образом я не предполагала такого трагического исхода его болезни. Главврач все время обещал хотя и очень медленное, но поправление здоровья.

Окончательно погубил Валерия Евгеньевича, очевидно, плеврит туберкулезного характера. Плеврит начался уже в больнице после простуды.

Перед этим же заболеванием Ваш брат начинал оправляться от ленинградских трудностей, от истощения. Уже начинал вставать, ходить. Но в больнице простудили его, начался кашель, очень высокая температура. Затем опять кажущееся выздоровление. И внезапная смерть. Смерть была очень быстрая и легкая. Вашей маме я сегодня отослала телеграмму и подробное письмо. Боюсь, что на нее смерть сына очень тяжело подействует. Сейчас хлопочем насчет похорон. [...]

Уже после смерти Валерия Евгеньевича пришло одно Ваше письмо. И письмо из Саратова от декана филологического факультета. Письмо декана я прочитала, он очень тепло заботится о здоровье Вашего брата, ободряет его и успокаивает насчет будущей жизни и работы.

Страшно жаль, что письмо не пришло несколькими днями раньше. Валерий Евгеньевич так его ждал! М.б. это морально поддержало бы его, придало энергии и силы.

Ужасно обидная смерть. Очевидно, место хорошим людям осталось теперь только на том свете. А на этом гибнут сейчас самые лучшие, молодые, одаренные люди. Проклятье этой страшной смертоносной войне и ее зачинщикам.

Искренне сочувствующая Вам

Галя Салмина

Письмо Г. Салминой Г.Е. Краснодембскому из Пензы

21 мая 1942 г.

Уважаемый Георгий Евгеньевич!

Вчера вечером (в начале 9 ч.) схоронили Валерия Евгеньевича. Хоронили из больницы, но совершенно отдельно, в гробу, в отдельную могилу. Одели его в собственную одежду. Мертвый он выглядел очень хорошо, лицо спокойное, умиротворенное. Провожали его я, мои мать и сестра и старшая медсестра больницы, которая очень хорошо относилась к Валерию Евгеньевичу. Могилу хорошо заметили, так что в случае приедет кто-либо из родных, найти можно. [...]

Уважающая Вас

Г. Салмина

А.Н. Калдыкина

18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА



Александра Николаевна Калдыкина, заведующая канцелярией и отделом кадров Института. В период блокады продолжала работать в Институте. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В тот день, как всегда, около 9 часов утра я пошла в Институт. Погода была тихая и не очень морозная. Вышла на улицу Декабристов и остановилась в нерешительности.

Вдали слышалась сильная пушечная стрельба, без интервалов, страшным шквалом. Земля дрожала от подземного гула и толчков. С какой стороны обстрел, куда безопаснее направиться? Какая-то женщина подошла ко мне и спросила: «Слышите?». — «В том-то и дело, что слышу, — сказала я, — но не пойму, по какому району он будет стрелять». Она улыбнулась: «Ни по какому, это наши стреляют!».

Придя в Институт, я увидела своих товарищей, сосредоточенных, занятых своими делами, но как будто про себя улыбающихся. В этот день особенно усердно работали, зная, что в это время там, вдали, умирают за наше спасение люди. Нам хотелось, в меру наших сил, принять участие в общем деле.

К пяти часам дня стрельба стихла, и только небо над головой говорило нам о том, что идут еще очень страш-

ные бои. Сквозь дым пробивались огненные вспышки, и небо было кроваво-красным. Но люди при встрече улыбались друг другу и глаза их говорили о радостной надежде на будущее.

П.Н. Артамонова

ТРУДНО БЫЛО, НО ВЫЖИЛИ, СОХРАНИЛИ МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Институте я работаю с 1930 года. Правда, в 1934 году я ушла на завод, где меня и застала война. Муж ушел на фронт. Завод эвакуировался. Я стала работать в военном госпитале. Чтобы спасти двухлетнего сына, я отдавала ему свой хлеб. Это скоро сказалось — я упала на работе без сознания. Немного оправилась и в марте 1942 года вернулась на прежнюю работу в Институт.

В Кунсткамере окна всюду были выбиты, крыша пробита зажигательными бомбами, изрешечена осколками. Мы сами заделывали окна фанерой, ремонтировали кровлю. Железа и толя не было, и мы латали дыры мешковиной, обмазанной суриком.

Помню, как очищали двор ото льда, складывали лед на санки, запрягались в них по несколько человек и тащили их к Неве. Дрова возили из Новой Деревни таким же образом (там деревянные дома разбирали на дрова).

С середины апреля 1942 года стали ходить трамваи. После работы ездили на Волковское кладбище, собирали лебеду, варили ее и ели. Ели также похлебку из дрожжей. Мне тогда был 31 год, а незнакомые, обращаясь ко мне, называли меня «бабушкой».

О зиме 1941/42 года не могу думать и говорить без волнения и слез.

Трудно было, но выжили, выстояли, сохранили музейные ценности.



*Полина Николаевна
Артамонова, препаратор
Музея. Всю блокаду работала
в Институте. Награждена
медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».*

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Годы Великой Отечественной войны и ленинградской блокады — особая глава в жизни библиотеки Института этнографии АН СССР. В 1940 году книжные фонды составляли 37 038 единиц. Примерно половина всех изданий была представлена книгами и журналами на иностранных европейских и восточных языках, а также на языках народов СССР. Библиотека Института как одна из старейших академических библиотек имела хорошо сформированное книжное собрание и была, по словам члена-корреспондента Академии наук Д.К. Зеленина, «единственной в Ленинграде и даже в СССР специальной библиотекой по этнографии и антропологии народов всего мира. Кроме двух названных наук представлены археология, фольклористика, народное искусство, музееведение».¹ Он также указывал, что антропологический фонд представлен в мировом масштабе и является единственным в системе Академии наук вообще.²

Книжная коллекция включала разнообразные виды изданий: монографии, сборники статей, журналы, серии, брошюры, оттиски, альбомы, атласы, карты, а также энциклопедии, словари и справочники. Значительную часть фонда составляли редкие и ценные издания XVII—XIX вв., в том числе с автографами известных ученых и исторических деятелей, с экслибрисами и рукописными пометами.

Все книжное собрание размещалось в двух книгохранилищах, справочная литература была выделена в подсобный фонд и расставлена в читальном зале. Библиотека находилась на третьем этаже левого крыла здания Кунсткамеры в трех комнатах общей площадью 132,83 м².

Незадолго до начала войны начали организовывать новое подразделение библиотеки в кабинете директора Института профессора И.Н. Винникова. Ему была передана часть справочной литературы и издания под грифом Института этнографии в количестве 176 единиц.

Коллектив библиотеки в 1941 году по штатному расписанию состоял из трех человек: заведующего (в штате Института этнографии), старшего библиотекаря и библиотекаря (в штате Библиотеки Академии наук). Заведовал библиотекой с 1926 года крупный ученый, специалист по этнографии славян, автор более двухсот печатных трудов, в том числе известных библиографических указателей, член-корреспондент АН СССР Дмитрий Константинович Зеленин. Все годы вместе с

ним проработала старейшая сотрудница библиотеки Елена Маврикиевна Кубиш. Свою деятельность в Кунсткамере она начала в 1909 году и была специалистом высокой квалификации, знала четыре европейских языка и вела самые сложные участки работы. Третьим сотрудником была Мария Леонидовна Бутник-Сиверская (Каненберг, Грузинская), имевшая шестилетний стаж работы (с 1935 г.). В мае 1941 г. после неоднократных обращений заведующего в БАН СССР с просьбой об увеличении штата в отдел была прикомандирована Нина Павловна Шастина. Планировалось, что ее основной задачей будет усовершенствование и ведение систематического каталога.

Однако с началом Великой Отечественной войны этим планам не суждено было сбыться. Опытный, преданный делу, квалифицированный коллектив библиотеки распался. Д.К. Зеленин, которому в это время исполнилось 63 года, был эвакуирован в Самарканд, где и пробыл до конца войны. Е.М. Кубиш осталась в осажденном Ленинграде и умерла 12 марта 1942 года в возрасте 63 лет. Была уволена с формулировкой «по сокращению объема работы» М.А. Бутник-Сиверская и о дальнейшей ее судьбе ничего не известно. Библиотека Академии наук назначила с 8 ноября 1941 г. (приказ № 202) исполнять обязанности заведующей библиотекой Н.П. Шастину, но она проработала очень недолго. 7 июля 1942 года она была эвакуирована. Таким образом, в библиотеке не осталось никого из сотрудников, хорошо знавших книжные фонды и специфику работы.

По распоряжению БАН библиотека Института этнографии была законсервирована, и все меры по сохранности книжного фонда осуществляли сотрудники Института. С началом войны дирекция и часть коллектива Института были эвакуированы в Ташкент. Те, кто остался, обеспечивали сохранность исторического здания Кунсткамеры и музейных коллекций, а также готовили наиболее ценные экспонаты к эвакуации. Особенно большую роль в спасении книжного собрания сыграли Уполномоченный Президиума АН СССР по Институту этнографии Р.И. Каплан-Ингель и научные сотрудники М.Д. Торэн и В.В. Антропова. 9 мая 1942 года из БАН в библиотеку ИЭ была направлена на работу Мария Александровна Магнус.

Решено было бо́льшую часть книг оставить в библиотеке, а наиболее ценные и старинные издания упаковать в ящики и опустить в подвалы. В сентябре—октябре 1941 года в бомбоубежища (подвалы № 1 и 3) были помещены 170 ящиков с музейными экспонатами и 52 ящика с книгами и вещами. Предполагалась эвакуация коллекционных ценностей, в том числе и книг. В сентябре 1942 года для ускоре-

ния погрузки ящики были подняты из подвалов и перенесены в первый этаж (залы Азии, Америки, Африки), поближе к выходам. Но эвакуация все откладывалась, и ящики оставались на первом этаже до марта 1943 года.³ Сохранились «Списки ящиков с коллекциями и имуществом Института этнографии АН СССР», составленные от руки. В дальнейшем они дополнялись и были отпечатаны на машинке. В разделе «Библиотека» указано: «Материалы — книги» и номера ящиков: 141—165, 336, 343—353. Таким образом, всего было запаковано 35 ящиков с книгами. Отвечала за их сохранность сотрудница Отдела Сибири В.В. Антропова.⁴

В результате бомбежек и артобстрелов к середине 1942 года значительная часть стекол в здании института была заменена фанерой. В библиотеке, в частности, были выбиты стекла во всех восьми окнах. Из-за повреждений водопроводной сети не было воды, канализация не работала. Крыша над левым крылом здания по фасаду была разворочена снарядами.⁵ Документов 1941—1942 годов, касающихся положения дел в библиотеке, пока не удалось найти. Но за 1943 год обнаружено много актов, служебных записок и других материалов, характеризующих заботу о библиотечных фондах со стороны Уполномоченного по Институту Р.И. Каплан-Ингеля и руководства БАН СССР. Так, для сохранности коллекций и особо ценных книг был разработан «дислокационный план размещения ящиков в первом этаже». В Санкт-Петербургском филиале Архива Академии наук хранятся большие развернутые листы, где фиолетовыми и красными чернилами детально изображено расположение залов и витрин с пронумерованным обозначением местонахождения каждого ящика.⁶ Было учтено, что залы имели толстые своды, поэтому ящики ставили в простенках между окнами в два-три яруса. И действительно, такое удачное расположение спасло ящики от ударов взрывной волны и летящих осколков.⁷

Ответственными лицами регулярно проводились обследования всех помещений. Так, 9 января 1943 года был составлен акт об осмотре мест хранения библиотечных книг. В нем указывалось, что на основании распоряжения ЛАХУ библиотека была законсервирована. Весь фонд оставался в помещениях, где и ранее располагалась библиотека. Книги, находившиеся в кабинетах во временном пользовании, были возвращены в книгохранилища. Особо ценные издания, выделенные ранее для особого хранения в бомбоубежищах, расставлены в шкафах на первом этаже. На книги, приготовленные в 1941 году к эвакуации и упакованные в ящики для отправки эшелонам Академии наук, составлены списки в трех экземплярах. Русский и иностранный алфавитный каталог и

каталог периодики хранились в каталожном шкафу комнаты № 1 (помещения библиотеки), систематический каталог — в ящиках, упакованных в газеты. Абонемент библиотеки, включая индивидуальный, с формулярами читателей, эвакуированных и умерших в 1941—1942 годах, и коллективный абонемент (книги, взятые сотрудниками других институтов Академии наук) хранились в особом ящике в комнате № 1. Инвентарные книги в количестве 16 штук хранились в шкафу. Отчеты, переписка и прочая документация сохранялись в папках.⁸ Как видно из этого документа, подписанного сотрудниками Института этнографии Р.И. Каплан-Ингелем, М.Д. Торэн, В.В. Антроповой и старшим библиотекарем БАН М.А. Магнус, несмотря на тяжелейшие условия военного времени, порядок в библиотеке тщательно соблюдался.

А через три дня, 12 января, уже другие лица — научный сотрудник Института истории материальной культуры В.А. Петров, Уполномоченный по Архиву АН СССР И.С. Лосева вместе с Уполномоченным по Институту этнографии Р.И. Каплан-Ингелем — вновь обследовали помещения библиотеки в связи с разрушениями. Они зафиксировали, что во время артобстрела была пробита крыша над вторым книгохранилищем, выходящим окнами во двор. После ремонта течь устранили, потолок просох и не осыпался. В помещении температура была 10°C, воздух сухой. Все окна забиты фанерой, однако в дневные часы сотрудники работают. Нигде плесневения книг или переплетов не обнаружено.⁹

Через месяц, 15 февраля 1943 года научным сотрудником Института М.Д. Торэн и старшим библиотекарем БАН М.А. Магнус снова была осмотрена библиотека после артобстрела. Было заактировано, что входные двери расшатаны, первая дверь на лестницу не закрывается ключом. Стекла и фанера во всех трех комнатах выбиты.¹⁰

В акте от 24 июля 1943 года зафиксирован осмотр подвала и признана его непригодность для хранения уникальных книг. Дело в том, что подвал имел два окна с форточками, прикрытыми щитами, и внутри было темно. Помещение не отапливалось, отмечалась большая сырость вследствие высокого стояния грунтовых вод. Рекомендовалось перенести книги в сухое, проветриваемое помещение. Предварительно необходимо было их просушить, для чего предлагалось разложить книги в помещениях бухгалтерии и секретариата на столах и устроить сквозняки.¹¹ Согласно акту от 4 августа 1943 года указанные меры по спасению книг были приняты, после чего решено было расставить особо ценные издания в шкафах круглого зала на первом этаже, закрыть на ключ и опечатать.¹² На эти издания был составлен список из 1905

библиотечных единиц.¹³ Эту и многие другие работы, связанные с сохранением книжных коллекций, выполняла М.Д. Торэн, хорошо знавшая библиотеку, так как до войны в течение многих лет она вела роспись статей для каталога по договорам.

Все повреждения и неисправности сразу устранялись, само здание и коллекции, в том числе и книжные, заботливо сохранялись. Летом 1943 года здание Кунсткамеры было приведено в порядок: восстановлена канализация, пожарный водопровод и часть хозяйственного с двумя сануздами, вода из подвалов была откачана, крыша починена, восстановлены стропила, обрешетка и железная кровля, пробойны заделаны, починены двери и замки во всем здании.¹⁴ Для несения вахты внутри Музея были созданы бригады дежурных из трех человек. Круглосуточное наружное наблюдение обеспечивалось военизированной охраной НКВД. Вход в Музей был возможен только по специальным пропускам. На каждом этаже и в каждом кабинете держали ящики с песком, лопаты.

Уже с середины 1943 года библиотека вновь начала функционировать. Были проверены задолженности по книгам, взятым сотрудниками Института из фондов БАН по Межбиблиотечному абонементу, сверены личные формуляры погибших на фронте товарищей, составлены списки числящихся за ними книг. Эти издания по распоряжению БАН были списаны и исключены из инвентарей.¹⁵ Часть эвакуированных сотрудников Института просили выслать почтой в Ташкент книги, необходимые им для научной работы. Для этого предварительно испрашивали разрешения БАН.¹⁶

Количество читателей в 1944 году составляло 35 человек, было выдано 478 единиц литературы. В 1945 году читателей стало 69 человек, а книговыдача возросла до 1840 единиц.¹⁷ Начали устраивать выставки новых поступлений, а с 1945 года — и тематические выставки. Сейчас кажется удивительным, что уже с 1943 года БАН получала всю печатную продукцию в трех экземплярах из военного издательства Ленинградского фронта и десяти типографий города. Также пополнялись и фонды библиотеки Института этнографии. Кроме того, книги закупались в коллекторе научных библиотек Ленинграда, в магазинах «Академкнига», в киосках «Союзпечати».

Уже в 1943 году с некоторыми ограничениями была проведена подписка на журналы. На 1944 и 1945 годы подписка проводилась без ограничений. После снятия Ленинградской блокады фонды библиотеки Института стали медленно пополняться. Если к 1941 году общее количество литературы составляло 40 647 единиц и если три года при-

роста не происходило, то в 1944 году фонд увеличился до 40 874 единиц, а в 1945 году достиг 42 511 единиц.

Таким образом, благодаря самоотверженной работе по спасению музейных и книжных коллекций сотрудникам Института этнографии АН СССР, оставшимся в осажденном Ленинграде, удалось полностью сохранить фонды библиотеки. Это дало возможность уже с середины 1943 года организовать обслуживание читателей и возобновить другие библиотечные работы.

¹ Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, ф.849, оп.2, д.172, л.10.

² Там же, л.11.

³ Там же, ф.142, оп.1 — 1943, д.23, л.22.

⁴ Там же, л.2, 11.

⁵ Там же, д.20, л.82.

⁶ Там же, д.23, л.30—31.

⁷ Там же, л.22.

⁸ Там же, д.20, л.4.

⁹ Там же, л.5.

¹⁰ Там же, л.21.

¹¹ Там же, л.62.

¹² Там же, л.71.

¹³ Там же, д.23, л.23—28.

¹⁴ Там же, д.20, л.83—84.

¹⁵ Там же, л.98.

¹⁶ Там же, л.102.

¹⁷ История Библиотеки Академии наук СССР. 1714—1964. М.;Л.: «Наука», 1964. С.443.

МУЗЕЙНЫЕ РАБОТНИКИ В ГОДЫ БЛОКАДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ ЛО ИЭ И АН СССР)



Татьяна Владимировна Станюкович, лауреат Государственной премии. Историограф Музея, доктор исторических наук, собравшая интересные архивные материалы о наших ветеранах.

...К весне 1942 года в Ленинграде оставалась лишь небольшая группа в составе Р.И. Каплан-Ингеля — Уполномоченного Президиума АН СССР по охране Музея, старшего научного сотрудника К.В. Вяткиной, младших научных сотрудников В.В. Антроповой, М.Д. Торэн, В.В. Федорова, заведующей канцелярией А.Н. Калдыкиной, рабочих Е.А. Максимовой, А.Н. Макаровой, О.П. Кармановой, М.Г. Константиновой, З.И. Каплан, П.А. Артамоновой, Н.В. Андросовой, М.В. Евстратовой, Е.Е. Егоровой. Им принадлежит большая заслуга спасения коллекций Музея антропологии и этнографии в годы Великой Отечественной войны...

Одной из активнейших фигур не только МАЭ, но и Академии наук в годы блокады была **Капитолина Васильевна Вяткина** (1892—1973). Приведем характеристику, данную ей в 1943 году: «В период Отечественной войны выполняла и выполняет обязанности зав. отделом Восточной и Южной Азии, одновременно с большой

аккуратностью и умением ведет работу по охране и консервации коллекций указанных отделов, а также антропологических коллекций. В 1943 году участвовала в строительстве оборонных сооружений на подступах к Ленинграду (станции Пудость, Рыбацкое, Ручьи). В 1943 году усердно и добросовестно выполняла работы по ликвидации антисанитарии города, очистке площадок от разобранных зданий и др. С самого начала войны состоит бойцом санитарной команды МПВО, сначала

начальником санзвена, а затем ответственным дежурным. Дежурство несла весьма добросовестно, самоотверженно участвуя в ликвидации последствий аварий. Наряду с охраной музейных ценностей т. Вяткина работает над докторской диссертацией “Наскальные изображения Саяно-Алтайского нагорья (из истории древних насельников Хакасской автономной области)”, состоит ученым секретарем группы историков при АН с августа 1942 года, является председателем объединенного месткома Ленинградских учреждений Академии наук...».¹

Работа Капитолины Васильевны Вяткиной в годы Великой Отечественной войны неоднократно отмечалась благодарностями и премиями, медалью «За оборону Ленинграда», а после войны Указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена орденом «Знак Почета».

Научные интересы К.В. Вяткиной были очень широки. Кочуя в детстве вместе с отцом по Монголии, она овладела монгольским языком, познакомилась с бытом различных племен... В середине 20-х годов была приглашена академиком С.Ф. Ольденбургом в Комиссию по изучению племенного состава СССР (КИПС), слившуюся в 1933 году с МАЭ. Благодаря многочисленным экспедициям в различные районы страны она еще в довоенные годы считалась крупным специалистом в области этнографии и археологии не только Южной и Восточной Азии, но и Сибири, северных районов европейской части СССР.

К.В. Вяткина — автор монографий по народам Монголии и бурятам, а также многих научных статей. До конца своей жизни она продолжала вести активную научно-исследовательскую и музейную работу.

Мария Давыдовна Торэн (1894—1974), работая делопроизводителем, окончила в 1924 году восточный факультет Университета,² а затем Этнографическое отделение Ленинградского географического института и всю жизнь (с 1929 года) проработала в Музее антропологии и этнографии. Научная и музейная деятельность ее была очень разнообразна. Принятая в Отдел Европы и Кавказа, коллекции которого в дореволюционное время служили главным образом обменным фондом для приобретения зарубежных собраний (по колониальным и зависимым странам), она определила и описала большое число экспонатов, не имевших документации, а также составила картотеки по этническому и географическому принципу, которые и по сей день не утратили своего научного значения. Одновременно она вела экспедиционную и научно-собираТЕЛЬскую деятельность на Кавказе, у немцев Поволжья, у русских, эстонцев и финнов Ленинградской области. Коллекции, собранные ею, хранятся как в МАЭ, так и в Государственном музее

этнографии народов СССР. Хорошее знание иностранных языков привлекало к М.Д. Торэн сотрудников библиотеки Института, которым она помогала в составлении картотек и аннотировании работ на арабском и немецком языках...

В годы Великой Отечественной войны под ее наблюдением находились коллекции ряда отделов и библиотека. Характеристика, данная ей в 1943 году, отражая отчасти круг ее обязанностей, гласит, что М.Д. Торэн «с начала войны бессленно состояла в бригаде МПВО и несла аккуратно все дежурства и выполняла все мероприятия, связанные с подготовкой отдела к противовоздушной защите. В 1941 году принимала участие в строительстве оборонных сооружений в пределах города. В 1942—1943 гг. работала по очистке города от снега, нечистот и мусора. Весьма старательно работала по отбору, упаковке уникальных и особо ценных коллекций и книг. Добросовестно выполняла обязанности по сохранению музейных экспонатов Отделов Европы, Кавказа, Африки, Австралии и Океании с Галереей Миклухо-Маклая и библиотечных книг. Привела в должный порядок Отдел учета и хранения. Несмотря на весьма слабое здоровье принимала активное участие в ликвидации последствий аварий в результате авиабомбежек и артобстрелов».³ Упоминание в характеристике того факта, что Мария Дмитриевна отличалась «весьма слабым здоровьем», не случайно. Не только работавшие с ней в дни блокады коллеги, но и молодежь, принятая в сектор уже после войны, неизменно удивлялись, как эта хрупкая, чрезвычайно болезненная, близорукая женщина, напоминавшая фигурой девочку-подростка, смогла пережить блокаду.

Особое место в творческой деятельности Марии Давыдовны занимало изучение народной медицины, которое она успешно продолжила и в послевоенные годы. Ее монография «Русская народная медицина XIX—начала XX веков», вышедшая посмертно в 1982 году, была высоко оценена как этнографами, так и фармакологами.

В Архиве Института этнографии, в деле М.Д. Торэн, имеется много приказов о благодарностях, вынесенных ей в годы блокады,⁴ и сведения о правительственных наградах — медалях «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»⁵...

Валентина Васильевна Антропова (1909—1976) во время блокады отвечала за сохранность коллекций отделов Сибири, Средней Азии, архивных материалов МАЭ.⁶

Окончив в 1931 году Ленинградский историко-лингвистический институт, она была принята сначала практиканткой, а затем зачислена в

основной штат МАЭ на должность научно-технического сотрудника в Отдел Сибири... В 1934 году переведена на должность научного сотрудника II разряда...

В период блокады работа по профилактике сибирских коллекций представляла большую сложность: многочисленные экспонаты из меха и сукна требовали постоянного внимания, ибо могли погибнуть не только от бомбежки, пожара, но и от сырости и моли. Поэтому в теплые летние дни ящики, в которых хранились эти экспонаты, открывались, и В.В. Антропова, сопровождаемая музейными сотрудниками, неустанно — как она выражалась — «шаманила» над ними. Разумеется, профилактическая работа не освобождала ее от обязанностей по строительству оборонительных сооружений, дежурств при артобстрелах и многого другого...

В.В. Антропова многократно премировалась, была награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом «Знак Почета» (1954 г.).

Василий Васильевич Федоров (1892—1976). Археологическое образование получил в Пермском государственном университете, работал в Минералогическом кабинете Томского университета под руководством А.А. Полканова. После трехлетней добровольной службы в Красной Армии поступил в Ленинградский географический институт, по окончании которого в 1925 году был принят в качестве научно-технического сотрудника в Отдел археологии МАЭ... Отличавшийся большим практическим опытом и трудолюбием В.В. Федоров к 1940 году зарегистрировал 220 археологических коллекций, насчитывающих свыше 45 тысяч предметов, 25 тысяч муляжей и 11 тысяч негативов.⁷ В эти годы он участвовал в археологических экспедициях, материалы которых сам обрабатывал, в создании пяти временных археологических выставок... Кроме того он подготовил постоянную экспозицию Отдела археологии по эпохе неолита. Естественно, в период Великой Отечественной войны ему была поручена «охрана и наблюдение за ценностями и обслуживание фондов Отдела археологии».

Характеристика, выданная В.В. Федорову в 1943 году, гласит: «Младший научный сотрудник Отдела археологии Института этнографии В.В. Федоров с начала войны состоял в бригаде МПВО в качестве начальника команды и инструктора. Аккуратно нес все дежурства. Состоял на казарменном положении и участвовал в подготовке объекта к противовоздушной обороне. Федоров работал по ликвидации последствий многочисленных аварий от артобстрелов и бомбежек. Самоотвержен-

но участвовал в тушении пожаров, возникавших от зажигательных бомб на крыше здания, башни и помещения фондов. Работал по свертыванию экспозиций и упаковке коллекций Отдела археологии; принимал непосредственное участие в выполнении работ предупредительного, ремонтного и оборонного характера. Не жалея сил, вручную отыскивал и перевозил необходимые для этих работ материалы. В 1941 году несколько раз в качестве бригадира направлялся на оборонные работы в пригороды Ленинграда, принимал участие в очистке города... На протяжении всей блокады с большой тщательностью оберегал археологические коллекции и помогал работникам отдела Главных фондов Музея, где были сосредоточены уникальные музейные ценности.⁸ Был награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За оборону Ленинграда».⁹

Александра Николаевна Калдыкина (1899—1987). В системе Академии наук работала с 1925 по 1972 год — сначала в комиссии «Наука в России» над составлением справочников по научным учреждениям и специалистам в области этнографии,¹⁰ затем в КИПС, в Институте по изучению народов СССР (ИПИН), слившемся впоследствии с МАЭ (1933) и получившем название Института этнографии АН СССР.

Не имея специального образования, А.Н. Калдыкина была научно-техническим сотрудником, а с 1941 года заведовала канцелярией, а также отделом кадров Института. Во время войны на нее кроме того был возложен ряд обязанностей: она была машинисткой, счетоводом, бухгалтером, распределяла выдачу продуктовых и промтоварных карточек, вела общую отчетность по Институту. Как и все, она несла дежурства во время бомбежек, была ответственной за состояние водопровода, участвовала в авральных работах, помогала перемещению коллекций.

Помимо медалей «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» она была награждена премией и благодарностью Президиума АН СССР «За отличную добросовестную работу».¹¹

Документами, свидетельствующими о многочисленных премиях и благодарностях, полученных Александрой Николаевной по линии Института этнографии, заполнено все ее личное дело. В приказе по поводу пятидесятилетия ее работы в Академии наук говорится: «А.Н. Калдыкина хорошо известна сотрудникам Института как скромный труженик, хороший доброжелательный товарищ. В течение многих лет

честно и исключительно добросовестно работала в должности заведующей личным составом и канцелярией Института... Жизнь и деятельность А.Н. Калдыкиной в нашем коллективе — хороший образец безупречной работы и преданности коллективу и учреждению».¹² Неизменно находясь в канцелярии за своим столом, часто украшенным букетом, она встречала каждого входящего — вне зависимости от его ранга и возраста — приветливо как гостеприимная хозяйка. Посетителей она деловито направляла по нужному адресу: в дирекцию, в отдел, в библиотеку, в фонды. Исключительная доброжелательность, тактичность и умение слушать собеседника снискали ей всеобщее доверие и уважение. Недаром многие называли ее «душой института».

Роберт Исаакович Каплан-Ингель (1884—1951) по образованию архитектор. Поступил на работу в МАЭ заведующим Отделом художественного оформления в июле 1940 года. По его проекту были сделаны шкафы, стенды, подиумы, другая музейная мебель в едином стиле, где и была размещена экспозиция Отдела археологии. С наступлением войны, а затем и блокады он был назначен сначала заведующим специальным хранилищем коллекций МАЭ, затем помощником директора по хозяйственной части Института, начальником объекта и Уполномоченным Института. Под его руководством и работала на протяжении всей блокады группа научных и технических сотрудников. Именно он распределял сотрудников на дежурства, отправлял на лесо- и торфоразработки, очистку территории, прилегающей к Музею. Как специалиста-архитектора его привлекали к возведению оборонных сооружений и на подступах к Ленинграду (Гатчина), и в самом Ленинграде, а также для ликвидации повреждений академических зданий и для необходимых восстановительных работ.

Он был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Трудового Красного Знамени. В 1944 году его включили в качестве эксперта в комиссию по определению убытков, причиненных немецкими захватчиками учреждениям АН СССР. Реставрация и восстановление здания Кунсткамеры производились по его проекту и под его непосредственным наблюдением, причем одновременно достраивалась верхняя часть башни Кунсткамеры, в которой до пожара 1747 года располагалась обсерватория Академии наук. К началу 1947 года архитектурные и отделочные работы были окончены, и по распоряжению Президента Академии наук СССР С.И. Вавилова в Круглом зале третьего этажа Института и башне должна была быть развернута экспозиция, посвященная М.В. Ломоносову. Первым заведующим Музеем М.В. Ломоносова был назначен Р.И. Каплан-Ингель, предпринявший

активную деятельность по сбору материалов для восстановления бытовой обстановки, библиографии, инструментария и других экспонатов, характеризующих разносторонние научные, литературные и практические интересы ученого-энциклопедиста. После открытия Музея (4 января 1949 года) Р.И. Каплан-Ингель был награжден почетной грамотой Академии наук.

Медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» были награждены и все технические сотрудники Института. Однако биографических сведений о них в Архиве не сохранилось. Известно лишь, что они все в первое послевоенное десятилетие, вплоть до выхода на пенсию, продолжали работать в Институте: Е.А. Максимова — в должности коменданта, З.И. Каплан — в хозяйстве, А.Н. Макарова, О.П. Карманова и П.Н. Артамонова — вахтерами, остальные смотрителями залов музея (Н.В. Андросова) и дворниками.

Героическая работа группы сотрудников Ленинградской части Института этнографии АН СССР по охране и спасению коллекций Музея антропологии и этнографии навсегда останется одним из ярких примеров стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

¹ Архив Ленинградского отделения Института этнографии (ЛО ИЭ). Индекс 350, № 3, л.122.

² Там же, № 15, л.7.

³ Там же, л.28.

⁴ Там же, л.21, 23, 25, 28 и др.

⁵ *Кольцов А.В.* Ученые Ленинграда в дни блокады. М.; Л., 1962. С.131.

⁶ Архив ЛО ИЭ. Индекс 350, № 41, л.15.

⁷ Там же, № 15, л.83—85.

⁸ Там же, л.30.

⁹ Там же, л.159 и об.

¹⁰ Справочник «Наука в России». Пг., 1923. Т.II; справочник «Краеведные учреждения России». Л., 1925.

¹¹ Архив ЛО ИЭ. Индекс 350. № 35, л.197.

¹² Там же, л.246.

Луна
Скользит по небу одиноко,
Как по щеке
Холодная слеза.
И темные дома стоят без стекол,
Как люди,
Потерявшие глаза.

Но в то, что умер город наш, —
Не верьте!
Нас не согнут
Отчаянье и страх.
Мы знаем
От людей, сраженных смертью,
Что означает:
«Смертью

смерть
поправ».

Юрий Воронов. Блокада. Книга стихов.
[Лениздат, 1986]



Так выглядело здание Кунсткамеры в годы блокады.



*Ящики, подготовленные сотрудниками Института для эвакуации,
так и остались в осажденном городе...*



В залах Кунсткамеры: Дальний Восток (вверху), Китай (внизу).





*Надежда Петровна
Дыренкова. Старший научный
сотрудник Отдела Сибири,
кандидат филологических наук.
Умерла во время блокады.*



*Евгений Владимирович Жиров.
Научный сотрудник Отдела
антропологии. Умер во время
блокады.*



*Александр Николаевич
Кондауров. Научный сотрудник
Отдела Средней Азии, кандидат
исторических наук.
Умер во время блокады.*



*Елена Маврикиевна Кубиш.
Сотрудница библиотеки Инсти-
тута. Умерла во время
блокады.*



**Алексей Викторович
Мачинский.**
Научный сотрудник Отдела
Америки. Погиб в начале войны.



**Георгий Николаевич
Прокофьев.** Научный сотрудник
Отдела Сибири, кандидат
исторических наук, этнограф
и лингвист, специалист
по селькупскому языку.
Умер во время блокады.



**Андрей Никифорович
Юзефович.** Научный сотрудник
Отдела антропологии,
кандидат исторических наук.
Умер во время блокады.



**Сарра Аркадьевна Штерн-
берг.** Старший научный со-
трудник Отдела Америки.
Умерла во время блокады.



*Сотрудницы, работавшие на заготовке дров в 1943—1944 годах
от Института этнографии.
Слева направо: Х.А. Штейн, Т.Л. Юзепчук, М.М. Пасинковская.*



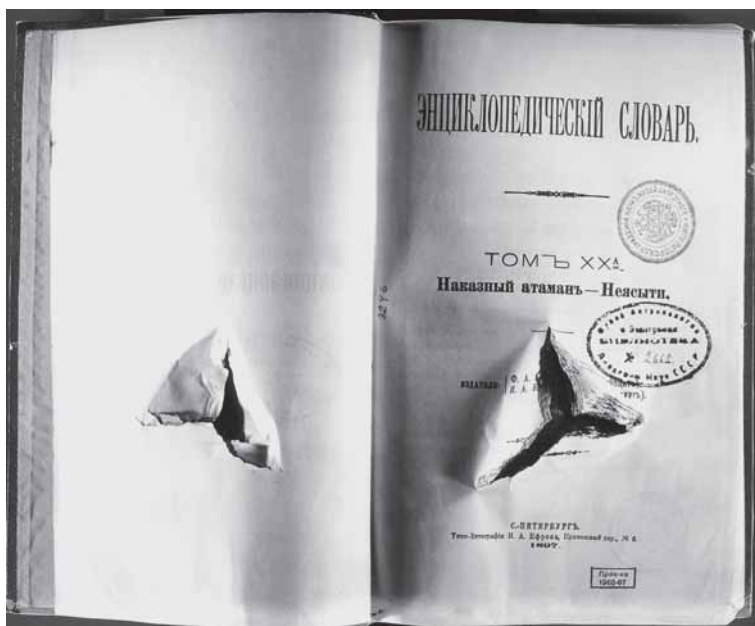
*Двор Кунсткамеры, где в сухие солнечные дни
проветривались экспонаты, чтобы в них
не завелась моль.*



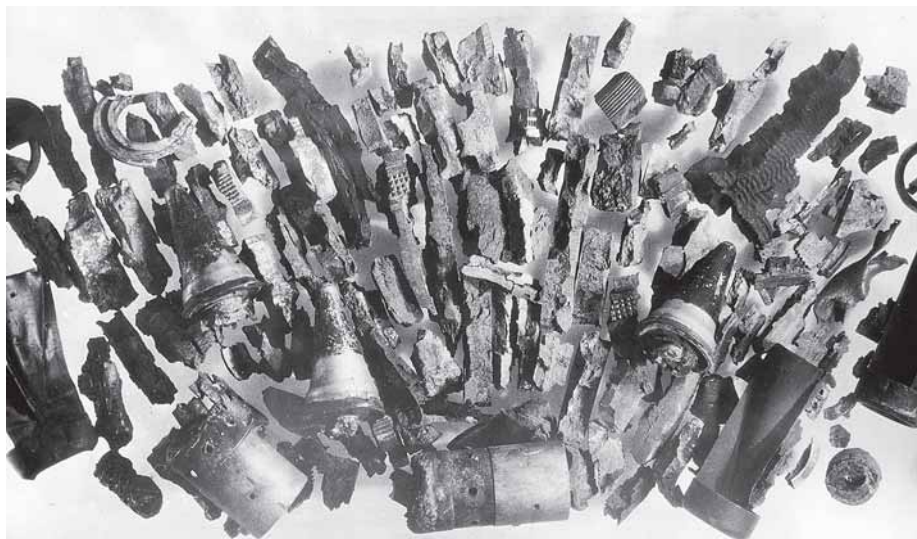
Заведующий Сектором Сибири А.А. Попов ремонтирует крышу.



*Размуровывание окон в подвалах Музея после снятия блокады.
Слева направо: Е.А. Максимова, З.И. Каплан, Д.А. Ольдерогге,
И.И. Ястребова, Г.М. Василевич.*



Том Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона,
«пострадавший» от осколка вражеского снаряда.



*Осколки зажигательных бомб и снарядов,
собранные на территории Кунсткамеры
после снятия блокады Ленинграда.*



Роберт Исаакович Каплан-Ингель. Архитектор, заведующий Отделом оформления, затем был директором Музея М.В. Ломоносова. Во время блокады — Уполномоченный от Президиума АН СССР по Институту этнографии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».



*Коллектив сотрудников, охранявших коллекции Музея.
Слева направо, нижний ряд: Е.А. Максимова, Р.И. Каплан-Ингель,
М.Д. Торэн, М.И. Евстратова;
верхний ряд: В.В. Антропова, З.И. Каплан, А.Н. Калдыкина, И.И. Ястребова.*

Капитолина Васильевна Вяткина.
 Старший научный сотрудник Отдела
 Дальнего Востока, кандидат истори-
 ческих наук. Всю блокаду работала
 в Институте. Награждена орденом
 «Знак Почета», медалями «За оборону
 Ленинграда», «За доблестный труд
 в Великой Отечественной войне
 1941—1945 гг.», «В память
 250-летия Ленинграда».



Распаковка коллекционных предметов.
 Слева направо: В.Г. Кузнецова, А.А. Попов, Г.М. Василевич.



*Евдокия Андреевна Максимова.
Комендант здания Кунсткамеры.
Всю блокаду проработала в Институте.
Награждена медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».*



*За распаковкой коллекцион-
ных предметов В.Б. Аста-
новская (слева) и М.В. Сте-
панова (справа).*

СЛОВО ТЕМ, КТО ВОЕВАЛ

1941–1945

М.К. Кудрявцев

СЕНТЯБРЬ 1942 ГОДА

Прежде чем говорить о сентябре 1942 года, надо сказать о некоторых предшествовавших событиях в моей военной биографии.

Я был мобилизован 1 июля 1941 года. Будучи топографом со званием старшего воентехника, т.е. с тремя кубиками в петлицах, я попал в 8-й топографический отряд. Расположенный в Ленинграде, он занимался картографированием. 31 июля я был отправлен на фронт в соединение, именовавшееся «Кингисеппский участок обороны», на должность старшего топографа корпуса. Но оказалось, что должность эту уже занимал мой однокурсник по техникуму. Начальник штаба прикомандировал меня к штабу артиллерии на несуществовавшую в его штате должность старшего топографа. Так я стал артиллеристом.

Мне довелось быть участником двух попыток прорвать оборону немцев под Ленинградом со стороны Волховского фронта. В марте—апреле 1942 года наши части вновь начали штурм немецких укреплений в районе Погостья, где была повторена январская попытка. Бои были трудные, немцев оттеснили за линию железнодорожной магистрали Ленинград—Москва, но развить успех не удалось.

В сентябре 1942 года было предпринято большое наступление в направлении Невской Дубровки, на соединение с защитниками этого плацдарма, обильно политого кровью наших солдат. О знаменитой Невской Дубровке надо писать книгу, где каждая страница — это



Михаил Константинович Кудрявцев, индолог, доктор исторических наук. Подполковник. Участник боев Ленинградского, Волховского, 1-го и 2-го Украинских фронтов. Многие сделал для увековечения памяти однопольчан и наших ветеранов. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и другими.

тысячи погибших во имя нашей Победы. Такую же трагическую, но полную героизма повесть можно писать о тех, кто шел на прорыв к защитникам плацдарма.

Немецкая оборона была прорвана, в прорыв вошло около корпуса, однако она была слишком глубока, а наступление наших частей не было поддержано на флангах и на других участках. Нас окружили. Кончались боеприпасы, продовольствие. В котелках варили мясо наших коней, убитых две недели назад. Из окружения прорывались с боем. Прорвались немногие. Из артиллерийского полка, в котором я служил, вышло около 30 человек. В моей батарее — я был тогда заместителем комбата — вышли 9 человек из 57, из них 5 — тяжело раненых.

После сентябрьских боев 1942 года пришлось быть в обороне на Волховском фронте у так называемого «Сокольего моха». Гиблые места. Много наших полегло там, но немец дальше не прошел. А потом отсюда его погнали на Запад и гнали от Синявинских и Мгинских болот до Берлина. В этих наступательных боях под Ленинградом мне не довелось участвовать: мою часть перебросили на Степной фронт, где началось наше крупное наступление.

...Немцы нажимали. Они взяли Кингисепп, затем Ивановское и все больше теснили нас к Ленинграду. 8 сентября 1941 года в печальный для ленинградцев день бомбардировки немецкой авиацией Бадаевских продовольственных складов рано утром, избежав пленения, мы прибыли в Ленинград. Вскоре наш штаб артиллерии в полном составе влился в Невскую оперативную группу, штаб которой стоял в Колтушах, а фронт проходил по правому берегу Невы вниз от Шлиссельбурга. Он включал и плацдарм на левом берегу Невы, ставший известным как Невский «пяточок».

В начале ноября основной состав нашего штаба был отозван в Штаб артиллерии внутренней обороны Ленинграда.

Не имея специального образования в крупных артиллерийских штабах, я получил некоторые навыки оперативной работы, часто выполняя функции оперативного дежурного. Но в начале февраля 1942 года меня вывели в резерв, а 16 февраля отправили на Волховский фронт, через Ладожское озеро. Здесь, в 294-й стрелковой дивизии, началась для меня не оперативная, а уже строевая артиллерийская служба. Начиная с командира взвода.

В марте наша дивизия получила пополнение. К нам пришли сибиряки, в полушубках и валенках, тогда как мы буквально околевали в

шинелях и сапогах (морозы-то были жестокие). В составе 54-й армии в марте же мы начали наступление, с целью овладения Любанью с северо-востока. Немцы оказали упорное сопротивление, тем не менее мы взяли разъезды Погостье и Шала на железнодорожной линии Москва—Бутырская и продвинулись вперед.

Не могу не рассказать об одном эпизоде. В ходе наступления на месте бывшего торфяного поселка Шала должен был расположиться штаб дивизии. Меня с несколькими солдатами послали выбрать лес для рубки на накат землянок. Выйдя на опушку, мы увидели просеку, в начале которой были две пирамиды стреляных гильз. Поняли, что здесь стояли два спаренных пулемета немцев. Тут же на просеке начиная от пулеметов и в глубь леса лежало множество наших солдат, окоченевших в самых причудливых позах. Впереди был командир с тремя кубиками в петлицах. Все были с лыжами.

Вернулись в штаб, доложили. Оказалось, накануне ночью в обход Шалы был выслан наш лыжный батальон. Как стало очевидным, немецкие пулеметчики подпустили его по просеке (а иначе лыжники и не могли идти по лесу) вплотную к пулеметам и открыли бешеный огонь. В таких условиях едва ли кто из батальона уцелел. Начальство вызвало трофейно-похоронную команду убирать убитых, а штаб дивизии не остановился здесь и за войсками двинулся вперед. Наши потери были такими, что за несколько дней наступления мало кто остался от сибирского пополнения и от дивизии вообще. В каждом полку остались несколько десятков активных штыков. Когда потребовалось провести разведку, возглавил ее сам командир дивизии, собрав в нее уже не разведчиков, которых не было, а солдат, обслуживающих штаб дивизии и тылы. Вся разведка во главе с командиром дивизии погибла. Наше наступление остановилось далеко от Любани, и мы стали в оборону на реке Смердынке. Не меньшие потери в это время понесла и еще меньших успехов добилась 2-я ударная армия под командованием печально известного генерала Власова, наступавшая на Любань с юга.

Летом 1942 года я был назначен заместителем командира первой батареи 849-го артиллерийского полка 294-й стрелковой дивизии. Командиром батареи был молодой тогда парень лет 23—24 Иван Пашков. В должности его заместителя со званием старшего воентехника я был и в сентябре 1942 года, о котором и пойдет речь.

Дивизия наша уже летом 1942 года была снята с обороны под Смердынкой, выведена на некоторое время на оборонительные позиции севернее, по реке Назия, здесь пополнена, а затем переведена

севернее железнодорожной линии Ленинград—Волховстрой и передана состоявшей в резерве 2-й ударной армии.

В августе Волховским фронтом совместно с Ленинградским была задумана операция по прорыву блокады Ленинграда. Войска Волховского фронта должны были прорвать оборону противника южнее Ладожского озера, взять Синявино и устремиться через торфяные поселки к Неве, откуда навстречу ему должны были двинуться с Невского плацдарма войска Ленинградского фронта. Встреча войск должна была произойти где-то севернее Синявина. Не знаю, как она именовалась официально, а в войсках получила название Синявинской операции.

27—28 августа 1942 года операцию начала стоявшая на правом фланге Волховского фронта 8-я армия. Противник стоял упорно на хорошо оборудованных позициях. Однако севернее деревни Гайтолово, вдоль высоковольтной линии, идущей от Волховстроя в Ленинград, войскам удалось прорвать эту оборону на узком участке и закрепиться в глубине вражеской обороны. Но немцы наседали, и потери прорвавшихся частей были велики. Командование фронта решило бросить в прорыв бывшую в резерве фронта 2-ю ударную армию (в том числе нашу 294-ю дивизию). Перед ней ставилась задача взять Синявино и, развивая наступление, выйти на соединение с войсками Ленинградского фронта.

Не знаю, когда выступили с места сосредоточения наши стрелковые полки, а артполк выступил в ночь на 4 сентября. Командование рассчитывало, что мощный удар свежих сил через прорыв на Синявино будет неотвратим и четвертого же числа мы соединимся с Ленинградским фронтом. Во всяком случае, такая задача ставилась перед дивизией и доводилась до сведения людей, до рот и батарей...

Наши пушечные батареи (76-миллиметровые пушки 1931 года на гаубичном лафете) были на конной тяге. Каждую везла шестерка крупных артиллерийских лошадей (3 пары), да еще повозки со снарядами и снаряжением. Орудийные расчеты шли пешком. Так что для артиллерии и авиации противника батарея на марше представляла заметную цель. Однако до нашего подхода к месту прорыва нас никто не беспокоил. И только в месте бывшего прорыва, севернее деревни Гайтолово, на дороге, идущей вдоль высоковольтной линии, неожиданно с флангов нас обстреляли пулеметы. Стрельба была беспорядочной, но столь интенсивной, что мне пришлось скоординировать батарею «рысью марш!». И мы помчались по совершенно разбитой воронками военной дороге.

А почему командовал именно я, следует объяснить. Командир ба-

тарей Пашков был в это время, как и положено, в боевых порядках передовых стрелковых частей, т.е. в одном из полков. Заместитель его должен в этом случае командовать батареей, занимать огневые позиции и вести огонь по командам командира батареи, находящегося где-то на передовом наблюдательном пункте (НП). В этом случае заместитель официально считался «старшим на батарее».

Я вел батарею в составе трех орудий, так как одно из них в это время было в ремонте.

Три орудия — это восемнадцать только артиллерийских коней да еще обоз. И я и солдаты шли, а где-то и бежали, пешком. На спуске к реке Черной мы оказались вне поля зрения немцев, и фланговый огонь по нам прекратился. Но сама речка, уже без моста, составляла изрядное препятствие для орудий. В этом случае командуются «расчет на колеса» и общими силами пушки преодолевают препятствие.

Только мы выбрались из речки, как услышали шум сильной бомбардировки. Сначала подумали, наконец-то начальство удостоило нас артподготовки. Но, увы, артиллерийским огнем, авиацией, не говоря уж о танках, наше наступление так и не было поддержано. Это была интенсивная бомбардировка немецкой авиацией наших передовых частей. В ней погиб почти полностью один из наших батальонов, и сильно пострадал полк.

Не доходя до Синявина на полтора-два километра, войска наши были остановлены противником. Синявино было расположено высоко, на неожиданно для этих мест крутой горе, а наши части заняли позиции на болоте под горой, и хорошо еще в лесу, а не на открытом месте.

Пройдя от Черной речки километра два вдоль высоковольтки, мы свернули по дороге направо, и я получил приказ от командира дивизиона стать на огневые позиции на опушке леса. Она оказалась единственно удобной позицией в этих местах, так как перед орудиями была чистая поляна и не пришлось вырубать сектор обстрела. Рядом с моей стали на огневые позиции еще две пушечные батареи нашего полка. Командиры этих батарей, как и мой, были на передовых наблюдательных пунктах, километрах в полутора от нас.

Мы поставили орудия (у меня их было три, а у соседей — тоже неполный состав) и одновременно выкопали ямы для укрытия лошадей. На это ушло утро. Себе землянки вырыть не успели, ограничились «щелями». Еще не сделав ни одного выстрела, подверглись бомбардировке с воздуха. Уже не помню, сколько погибло людей, но лошадей артиллерийских погибло 14 из 18. Их хомуты мы сложили пирамидкой на высоком пеньке, в непосредственном тылу батареи.

Тем временем взводы управления установили телефонную связь с наблюдательным пунктом командира батареи. Заработала и радиосвязь. Начали вести огонь. Вместе с тем надо было похоронить убитых, эвакуировать раненых, зарыть трупы лошадей, накормить людей. Всем этим мне пришлось заниматься с первого дня сентябрьских боев, и я почувствовал, что такое — командовать батареей. Ни мне, ни солдатам было не до сна, особенно если расчеты вели огонь и грохотали наши орудия, а еще хуже, когда нас громили вражеская артиллерия и авиация. А так было ежедневно и по многу раз в день. Все те же обязанности вести ответный огонь, хоронить убитых, эвакуировать раненых, а вскоре и добывать боеприпасы... Тем не менее как-то спали по часу-два, уже не ночью, а когда как придется.

Через несколько дней из личного состава батареи почти не осталось боеспособных солдат. Пополнение нам приходило из полка, из состава тех батарей, которые не стояли на огневых позициях. И так, мы — три неполные батареи — перевели на своих огневых к концу сентября весь солдатский состав полка, за исключением некоторых обозных и других тыловиков, так или иначе пробивавшихся к нам, снабжавших нас продовольствием и боеприпасами и увозивших раненых.

С боеприпасами становилось все хуже. Многие повозочные не только нашего полка и нашей дивизии не доезжали до нас, подвергались артиллерийским налетам и сваливали снаряды на обочине дороги.

Через неделю расчеты вырыли себе блиндажи и накрыли их в 2—3 наката. У радистов была крытая щель. Тем не менее большую часть дня люди были на поверхности. Крутился между ними и я, выполняя свои обязанности. И первое время людей удивляло, что вот они непрерывно убывают в числе и меняются в составе, а я все жив и даже не ранен. Случалось, что во время артналета, минометного обстрела или бомбежки застигнутые ими солдаты бежали на то место, где лежал я, и ложились рядом. Подобные перебежки были опасны. Но они думали, что я, командир, знаю, где лечь, и потому жив. А у меня было правило: где застал обстрел, там же и лечь, не поднимая головы и, как тогда говорили, «нюхал землю».

Но раз обстрел тяжелыми снарядами застал меня у щели радистов. Их было двое. Щель их была крытая. Не раздумывая, туда влетел один солдат и лег на живот на дне. На него свалился и я и лег таким же манером. На мне лежали еще два радиста. Вдруг над нами — страшный разрыв, и землянка стала осыпаться. Мы уже задыхались от пыли и от земли. Обстрел прекратился, и я слышу под собой стон. Радисты

встали и вытащили нас. Солдатик мой стонет, и гимнастерка на спине порвана. На спине, на которой я лежал грудью... Задрали гимнастерку, а там поперек спины неглубокая, но рваная рана. Я посмотрел себе на грудь. Гимнастерка грязная, но цела, и у меня — ни царапины. Оказывается, над нами на сосне разорвался тяжелый снаряд и так потряс землянку, что какая-то щепка (так мы решили) от обшивки прошла по солдатской спине. Однако его пришлось эвакуировать в медсанбат.

После многочисленных бомбежек и артобстрелов в течение первых дней немцы, по-видимому, считали нас уничтоженными. Но сильно пострадавшие наши батареи вели огонь и, вероятно, доставляли немцам немало неприятностей. Наше положение досадной цели для немцев усугубилось, когда практически перестала действовать проводная связь, и стреляли мы только по радию. Дело в том, что тянуть постоянно рвавшийся телефонный провод на наблюдательный пункт командира батареи стало слишком опасно. Пространство между ним и батареей интенсивно простреливалось ружейно-пулеметным огнем и минометами. Надо было беречь людей, и мы перешли на радию. Помню, как посылал на линию с катушкой молодого украинского парня, а он расплакался. Смотрит мне в глаза и ревет, как ребенок, у которого отняли куклу. Я ему объясняю, что за невыполнение приказа командира его могут расстрелять по законам войны, а он ревет, захлебываясь. Пришлось послать другого солдата на линию. А этот так и не дожил до лучших времен — стал жертвой одного из артналетов.

Так вот, вынуждены мы были стрелять по радио, т.е. в открытую для немцев. А они, как услышат: «Лето, Лето, я Овод, как слышите, прием», так и обрушиваются всеми средствами на давно «похороненную» ими батарею.

На вызов расчетов к орудиям и стрельбу у нас оставались минуты. Кроме того над нами часто висела «рама» — разведывательный самолет немцев, всегда готовый вызвать на нас огонь немецкой артиллерии. А у нас был приказ: во время бомбардировок, артналетов и когда немецкие самолеты над нами, не вызывать расчеты к орудиям и, следовательно, не стрелять. Мне случилось пойти в землянку комиссара батареи (ставшего к этому времени комиссаром дивизиона), расположенную метрах в 60—80 в тылах огневых позиций. Над нами висела «рама», и я приказал командирам взводов не стрелять, т.е. без меня не поднимать расчеты к орудиям ни по каким приказам. Пяти минут я не провел с комиссаром, как услышал, что мои орудия заговорили, и тут же начался немецкий обстрел. Очень густо ложились их снаряды. Я бросился к батарее, но даже не шел, а полз. Тем более, что снаряд

попал в штабель с нашими снарядами, они загорелись, образовался дым. Лежащее поперек дерево я преодолевал не сверху, а снизу, хотя, как мне казалось, там была всего десятисантиметровая щель. Обстрел прекратился, и на накате нашей землянки, в которую почти упиралось хоботом одно орудие, лежал солдат, застигнутый часовым у землянки в момент обстрела. Он был в шинели, изрешеченной разорвавшейся перед ним миной. Даже нести его было трудно, так он был изрублен осколками в упор. Расчеты же вовремя успели укрыться в щелях и блиндажах.

На огневых позициях наших батарей за все время не побывали даже их командиры, не говоря уж о полковом начальстве. С ними мы связывались по телефону, а позднее — только по радиии. Иногда команду на огонь мы получали из штаба полка, который слабо представлял себе обстановку на батареях. И телефон, и рация были из трех батарей только у меня. Поэтому фактически я был старшим на трех батареях, и забот у меня стало втрое больше. Так, к двадцатым числам сентября подвоз снарядов нам совсем прекратился. Приходилось брать 2—3 солдат и выходить на дорогу вдоль высоковольтки в поисках снарядов за километр-полтора. Больше двух снарядов одному трудно принести, а иногда их и вовсе не было. Приходилось с солдатами посылать либо командира взвода, либо идти самому. И вот случай солдатского счастья. Когда мы с бойцом искали снаряды, по той же дороге в тыл шел какой-то солдат. По нашей группе был произведен короткий артналет. Все мы легли в кюветы. Кончился налет, мы поднялись, а тот остался лежать. Подошли. Оказывается, раненный в плечо, он шел в тыл, в медсанбат, а тут его опять задело осколком в то же плечо. Мы перевязали его, вытерли кровь, и он снова зашагал в тыл. Случай интересен тем, что именно раненый был ранен, да еще в раненную уже руку.

Ближе к двадцатым числам со снарядами стало совсем плохо. Наши снаряды — это гранаты, шрапнель и бронебойные. Больше всего нужна была граната. Раз получаю приказ из штаба полка об открытии батарей беглого огня по такой-то цели или площади. А у меня остались бронебойные, да и то мало. Объясняю положение. А начальником штаба полка тогда стал новый для полка человек. Я ему говорю, что нечем стрелять, а он командует: «Пять снарядов беглый огонь» и грозит расстрелять, в случае невыполнения приказа. Я согласился быть расстрелянным, только просил его прибыть для этого к нам на батарею. Я знал, что командование полка приковано к своим землянкам в небольшой роще, что полоса между ними и нами так простреливается,

что мы даже отказались от проводной связи. И я представляю, как бы мои солдаты (вечная им слава!) отреагировали на расстреливателя.

В батарее было два огневых взвода по две пушки (во втором взводе была одна пушка, вторая — в ремонте) и, соответственно, по два расчета из семи человек в каждом и два командира огневых взводов. Кроме того был взвод управления со своим командиром и хозяйственная часть под надзором старшины батареи. Командиром одного огневого взвода был высокий и тощий лейтенант, бывший ленинградский инженер лет около сорока. Обмундирование ему было коротко, и выглядел он подростком, выросшим из формы. Другой командир взвода был младший лейтенант из хитрых смоленских мужичков. Я строго требовал от командиров взводов, чтобы когда они поднимают расчеты к орудиям, сами находились бы у орудий. Так вот, командир первого взвода во время ведения огня стоял у первого орудия, и, странное дело, длинные ноги его всегда тряслись. На мой вопрос: «Почему?», он отвечал, что ничего с собой не может поделать, но всегда сам командовал огнем. Другой комвзвода, если меня не было рядом, командовал расчетом установки из блиндажа, а точнее — из щели у блиндажа. С ним у меня были стычки, вплоть до угроз револьвером.

Всем на батарее в равной степени было и страшно и опасно. Так, одно время на огневых (в помощь убывающим расчетам) оказались батарейный писарь и парикмахер. Однажды после сильного артналета тяжелыми снарядами из земли вылез почти задохнувшийся писарь, а там под землей оставался еще парикмахер. Хотя и быстро его откопали, но он был уже мертв. В начале артобстрела они стояли рядом с какой-то щелью и, естественно, укрылись туда. Но разрыв у самой щели засыпал их землей.

Страдали и люди, и материальная часть. Одну пушку пришлось заменить, притащив на руках другую из стоявшей в резерве батареи примерно в километре от нас. К счастью, эта операция прошла без потерь.

Кстати, надо рассказать о необычайном случае на месте, где мы брали резервную пушку. Там были еще пушки батарей, не нашедших себе огневых позиций, и в глубокой двухъярусной землянке жили офицеры этих батарей, также составлявшие резерв полка. Однажды авиационная бомба угодила в эту землянку. Живыми оказались двое, лежавшие на верхних нарах и выброшенные взрывной волной далеко от образовавшейся воронки. Один из них, вероятно, был тяжело ранен (без сознания он был эвакуирован в медсанбат). О дальнейшей судьбе его я ничего не знаю. Второй, выброшенный взрывной волной, оказал-

ся только контужен и тоже отправлен в медсанбат. Это был молодой лейтенант, командир взвода Михаил Сергин. Он через 2—3 недели поправился и вернулся в полк. Сергин долго прослужил в полку и с ним многократно происходили случаи, когда из многих он один оказывался невредимым. Даже немцы откуда-то прослышали о нем и одно время через рупоры своей пропаганды на передовой приглашали его к себе. Последний раз я видел Сергина во время нашего наступления в Молдавии, когда он возвращался в часть после очередного ранения. Удачливый был Мишка Сергин.

Теперь надо сказать о нашем командире батареи (даже не помню, был ли он в это время старшим лейтенантом или капитаном), об Иване (позднее узнал, что он Федорович) Пашкове. Вскоре после моего назначения его заместителем нам вместе с комиссаром пришлось принимать новое пополнение. Я обратил внимание, как Иван дотошно расспрашивал прибывающих к нам солдат и внимательно выслушивал их рассказы о семье и их прошлой жизни. (В составе этого пополнения были и выпущенные из тюрем.) И солдаты, даже великовозрастные, всегда относились к нему как к родному отцу. В сентябрьских боях, как уже было сказано, он находился не на батарее, а на наблюдательном пункте в боевых порядках одного из стрелковых полков. По телефону и по радию я получал от него установки и команду на стрельбу, и батарея послушно вела огонь. А часто случалось стреляли мы тремя стоящими рядом батареями. Некоторые солдаты пришли и ушли, так и не увидев своего командира, но авторитет его и уважение к нему были высоки у наших батарейцев, как подтвердили и события нашего выхода из окружения.

Он был на наблюдательном пункте, и я должен был хоть раз в день доставлять ему питание. Каждый раз с котелком или двумя я отправлял на НП солдата. А пространство между батареей и НП, как уже говорилось, интенсивно простреливалось. Уверенности в том, что солдат доставит котелки и вернется, у нас не было. И вот как-то звоню Пашкову, что высылаю такого-то солдата. Он говорит: «Не высылай». Я ему говорю, что ведь и вчера не высылал ему еды, а он: «Береги людей». И это молодой парень говорит мне, уже умудренному жизнью. Этим он и привязывал к себе людей.

Убывали люди. Резерва для пополнения не было. Не было и боеприпасов. Экскурсии за ними на дорогу участились, а результаты их были все хуже. Боеприпасов не хватало даже не на батарею, а на одну пушку. Около 20 сентября получил я приказ из полка перевезти хоть одну пушку на новые огневые позиции, рядом, чтобы стрелять на пра-

вый фланг и даже в тыл дивизии. Перетащив одно орудие на ближайшую полянку, вытянутую по предстоящему сектору обстрела, я не мог произвести ни одного выстрела. Пока я находился в небольшом укрытии у хобота орудия, все было спокойно, а как только подходил к пушке, по мне откуда-то начинал строчить немецкий пулемет, и пули щелкали по орудию. Так я и не вызывал к нему расчет и не вел огонь.

А на следующий день выяснилось, что мы окружены, и немцы завязали мешок в том месте, где мы входили в прорыв, т.е. севернее деревни Гайтолово. Мы начали голодать. Ночью над нами кружил наш самолет У-2 и наудачу бросал продукты. Так, одним утром мы обнаружили у своих землянок мешок с сухарями, а на полянке перед стволами орудий разбитый ящик с консервами. Однако это было всего раз, а пищи не было. Солдаты стали раскапывать трупы убитых 4-го сентября лошадей и пытались варить их. Но варить — значит жечь костры и дымить, т.е. показывать себя немцам. Серьезного из этой затеи ничего не получилось. Но еще через пару дней появилась у нас группа солдат из тыла с вещмешками с продовольствием. Привел их через немецкое окружение начпрод полка капитан Шарапов. Среди этих солдат, добровольно согласившихся пробраться к нам сквозь немцев, был и мой солдат, тот самый, который был ранен в спину щепкой, когда мы лежали под обстрелом в щели радистов. Кстати, он был из числа освобожденных из тюрем, прибывших к нам с последним пополнением. Этот человек делом доказал, что хочет смыть с себя пятно вора-рецидивиста.

Числа 25—26-го сентября вышел приказ перенести (иначе говоря перекатить на руках) орудия на новые огневые, приблизительно на километр глубже в тыл и направить их для стрельбы по месту, где мы входили в прорыв, которое теперь было захвачено немцами.

28 сентября стало известно, что в ночь на 29-е будет выходить из окружения штаб дивизии, а наши пушки должны были поддержать этот выход, прокладывая огнем дорогу выходящим сквозь толщу немцев. Проходя мимо наших пушек, командир штабной батареи, в которой я некоторое время был командиром взвода, сказал мне: «Ну, может быть мы и выйдем, а вам завтра будет труднее». Так оно и было, но в ночь на 29-е не все вышли, хотя мы и пытались поддерживать их огнем наших орудий. В частности, мое орудие, из-за плохой расчистки сектора обстрела (на батарее остался один топор и одна лопата), стреляло так, что некоторые снаряды рвались на ветках стоящей впереди березы. Кстати, среди не вышедших в эту ночь был и тот Афанасьев, который предрекал мне трудности на следующий день. А день начался

с приказа выходить в ночь на 30-е и тащить с собой орудия (у меня их оставалось 2) на руках. Правда, начальство одумалось, и за два часа до выхода был получен приказ орудия зарыть и выходить с личным оружием. Приказ был выполнен с энтузиазмом, хотя у нас была всего одна лопата и один топор. Посменно, кажется, все солдаты приняли участие в захоронении орудий.

Это был вечер 29 сентября. Полк должен был выходить с остатками своих людей, да еще с разрозненными группами из состава многих других частей, оттесняемых немцами. Место сосредоточения для выхода было выбрано примерно в 500 метрах от последних наших огневых на той же дороге вдоль высоковольтной линии, в километре западнее Черной речки.

Мне с несколькими солдатами было приказано явиться в пункт сосредоточения. Тогда я этого не знал, но, оказывается, решено было выходить, по возможности, без боя, цепочкой или гуськом, по тем местам, где прошли к нам невредимыми солдаты во главе с капитаном Шараповым. Шарапов и должен был вести за собой людей, включая командование полка, уцелевших офицеров и солдат, а также группы из других частей даже не нашей дивизии, оттесненные немцами со своих позиций.

Начинало смеркаться, а часть моих солдат во главе со старшиной оставались на последних огневых позициях. И, что еще хуже, там оставались шестеро раненых солдат и раненый же наш новый комиссар батареи. Это был молодой белорус, только что кончивший курсы политруков, еще не имевший офицерского звания, но замечательный человек — Иван Михеев. В последнее время он был главным моим помощником на батарее. Мне обещали, что за солдатами и ранеными специально кого-то пошлют. Но вечерело, а о них никто не думал. Я заявил комиссару дивизиона, что иду лично за своими людьми. Комиссар сказал, что одного меня не пустит. Тогда раздался голос: «Я с вами, товарищ комбат». (А меня так звали для краткости, так как «товарищ старший воентехник» — звание, которое я формально носил, казалось и неудобным для произношения и неприличным строевому командиру.) Со мной вызвался идти опять тот же солдат, который ранен был лежа подо мной и входил в группу, прошедшую через немецкое окружение с продовольствием для нас. По документам из мест заключения его фамилия была Юнаков, а настоящая, как он уверял, — Слива. По национальности он был айсором. Темнело, когда мы отправились за своими людьми. При этом тот же комиссар дивизиона приказал боеспособных людей вывести, а раненых оставить под надзором санинст-

руктора с автоматом. У остальных раненых оружие изъять. За ними будто бы кого-то уже посылают.

Мы забрали здоровых людей, оставили с ранеными, находившимися в землянке, санинструктора и (читатель может себе представить наше настроение) отправились в пункт сосредоточения. Иван Михеев, несколько дней назад получивший касательное ранение в висок, совсем ослаб и не смог с нами идти. Расставаясь, он попросил меня не разоружать его, оставить ему пистолет. Стемнело, и мы, распрощавшись с ранеными и санинструктором, обреченными, как мы понимали, двинулись в пункт сосредоточения.

Здесь собрались группы солдат из разных частей и подразделений нашей и другой дивизий. Во главе оказалось командование нашего артполка с оставшимися в живых офицерами. В потемках на нас вышли несколько немецких автоматчиков, и, построив из автоматов, отступили, почувствовав, что нас много. Вероятно, нас было более трехсот человек.

Итак, выстроившись цепочкой один за другим, во главе с командованием полка и ведомые капитаном Шараповым, мы впотьмах двинулись к тому месту на Черной речке, где была повалена через нее береза, т.е. был переход. А Черная речка была шириной всего 8—12 метров, но глубокая с обрывистыми берегами. В шинелях не было резона форсировать ее вплавь. Но переход через нее знал только Шарапов.

Цепочка наша двигалась молча, часто ложась под освещением немецких ракет на парашютиках. Как они погаснут, мы снова движемся, иногда держась за плечи идущего впереди. Я шел часто даже не в середине, а в задней половине цепочки. И вот, залегши и встав два раза, я обнаружил, что впереди меня два солдата, которые залегли и отстали от ушедших вперед. Цепочка сзади меня начала волноваться — почему не идем. При свете ракет было обнаружено, что я — командир с тремя кубиками. Собравшись вокруг меня, солдаты решили, что это я их возглавляю, и потребовали, чтобы я их вел дальше. Пройдя по цепочке назад, я обнаружил, что под моим командованием более ста человек. Я потребовал от них безусловного подчинения. При опросе в цепочке не назвался ни один офицер (тогда просто командир). Задержка наша взяла полчаса, и теперь догнать ушедших вперед шансов не было.

Я встал впереди и повел людей за собой, зная только по карте конфигурацию Черной речки, которую предстоит преодолеть. В одном месте у реки нас обстреляли пулеметом, в другом один из нас, оказав-

шийся младшим лейтенантом, подорвался на противопехотной мине, и мы опять были обстреляны из пулеметов. В этом месте нас реже освещали ракеты-фонарики. Наконец я набрел на поваленную через реку березу. Приказал переходить и сосредоточиться на том берегу. Опять убедился, что нас более сотни. В этом месте оказались траншеи не полного профиля, и я решил немного отдохнуть перед броском на бывшую деревню Гайтолово. Направление я выбрал по звездам. Но нас здесь накрыли интенсивным минометным огнем, а после его прекращения стали обтекать немецкие автоматчики. Надо было немедленно подниматься и бросаться в атаку, но я оказался на дне пулеметного гнезда вместе со своим солдатом Юнаковым, а на нас сверху навалились застигнутые минометными разрывами еще два человека. С трудом удалось поднять их и поднять других людей из траншей для рывка в ночной атаке на прорыв окружения. Тут оказался еще один офицер — младший политрук — молодой парень в одной гимнастерке без пилотки, с которым мы и подняли людей в атаку.

В нас палили из всех видов оружия, а нашим главным оружием оказалось «Ура!», да бывшие кое у кого гранаты, так как во время минометного обстрела, когда мы находились в траншеях, землей забросало не только замки автоматов, но и затворы винтовок. Так, затвор бывшего в моих руках карабина так и не закрылся. Мы так истово рвались вперед и так надсаждались в «Ура!», что через пять минут политрук совершенно потерял голос. Главной нашей заботой было, чтобы люди под огнем не залегли. Впереди справа мы слышали жаркий бой. Это товарищи, от которых мы отстали, взяли правее чем надо было, и нарвались на организованную оборону немцев, преодолеть которую им стоило, как выяснилось, бо́льших потерь, чем нам. Там погибли командир полка, начальник штаба и несколько офицеров, не говоря уж о солдатах. Беда их состояла в том, что им не удалось залечь перед кинжальным и перекрестным пулеметным огнем. Вечная память товарищам!

Немцы непрерывно освещали нас ракетами и бешено обстреливали. Рядом со мной падали люди, тем не менее с воплями «Ура!» мы рвались по направлению к Гайтолово. Скоро я потерял из виду младшего политрука, но зато отличился тот самый солдат Юнаков, о котором здесь уже упоминалось. Когда я командовал впереди, он подгонял отстающих, когда я это делал, он командовал впереди за меня, а ночью в суматохе боя не разбирались, кто командует. Важно было не растянуться и не рассеяться в мелколесье поймы Черной речки, а действовать концентрированно.

Перед рассветом мы уже прорвались, перепрыгивали через окопы нашего боевого охранения. И спускались на обратный склон Гайтоловских высот. Вышло несколько десятков человек. Там нас уже встречали и направляли по своим частям. Здесь я должен сказать о своем командире батареи Иване Пашкове. Он выходил с первой группой, от которой мы отстали. Однако он с несколькими солдатами оторвался как-то от основной группы и пробивался в несколько ином направлении. Так вот, в ночном бою Пашков был тяжело ранен, но два солдата тащили его на себе сквозь бой и вытащили. Вот какие были у нас командиры! Рискую собственной жизнью, солдаты несли командира из боя. Но ведь в этом едва ли не божья честь солдатам. Вот какие были солдаты!

После выхода, где-то в нескольких километрах в тылу, выстроили полк. В нем осталось несколько офицеров и несколько десятков солдат, главным образом из тыловигов, не бывших в окружении. Не было возможности укомплектовать командным составом даже один дивизион. Тем не менее дивизион был создан, и я был назначен начальником его штаба. Полк и всю дивизию перевели глубже в тыл на формирование.

Не могу не упомянуть здесь один эпизод. На пути в тыл мы стали на ночевку. Шел дождь. Мне надо было разместить людей, накормить их, позаботиться о светомаскировке, расставить караулы. Поздно ночью я смог прилечь под елкой и поспать. Дождь продолжался. Еще не уснув, я почувствовал, как часовой, сняв с себя плащ-палатку, укрывает меня ею. Я не подал вида, что не сплю. Но этот жест солдата по отношению к командиру на всю жизнь остался для меня дороже всяких орденов.

Остановившись на формирование, километрах в 20—30 от передовой мы получили приказ дать характеристики уцелевшим солдатам на снятие судимости с пришедших к нам на пополнение из мест заключения. Мне предстояло писать характеристику на не раз уже упомянутого здесь Юнакова. Я написал коротко: «Если я получу боевое задание, связанное с опасностью для жизни, и спросят меня, кого бы я взял себе в товарищи, я отвечу — прежде всего Юнакова». В политотделе моя характеристика вызвала одобрение, и материалы на снятие судимости с Юнакова были отправлены в соответствующие инстанции. Но Юнаков у нас не дождался результатов. У него вдруг катастрофически стало падать зрение. Направили его в медсанбат, оттуда в госпиталь. И так я больше не знаю о судьбе одного из лучших моих солдат.

Кончилась война. Шли годы. Саперы долго продолжали разминировать районы боевых действий на Волховском фронте. Разминирование шло не без жертв. Долго подрывались на минах и жители окрестных селений, и сами саперы. На кладбищах таких поселков, как Назия, Апраксин, Славянка добавилось изрядное число солдатских могил.

Мне хотелось посетить места боев сентября 1942 года и мысленно поклониться лежащим там солдатам. Но мой приятель, служивший в штабе Ленинградского военного округа, предостерегал меня от такой экскурсии, так как там могли остаться неразминированные поля, и тем более отдельные мины. Наконец, весной 1961 года, спустя почти 19 лет, я с товарищем из Зоологического института — моим постоянным охотничьим напарником — приехали на станцию Апраксин и через бывшую деревню Тортолово отправились к бывшей деревне Гайтолово посмотреть на места наших прошлых боев и выхода из окружения.

На месте бывшего Эстонского поселка вырос уже большой дачный поселок Апраксино. Вокруг него, и в частности севернее, где мы воевали, люди давно косили сено, собирали ягоды и грибы, а места еще кишели оружием, неразорвавшимися снарядами и минами, другим военным снаряжением, а главное — человеческими костяками, особенно черепами, хорошо видными на чуть пробивавшейся травке. Особое впечатление на меня произвели многочисленные скелеты близ дороги, ведущей от Тортолово на Гайтолово, где и сложили головы мои товарищи, с которыми мы начали выход из окружения и от которых отстали. По моим представлениям, они выходили именно здесь.

Скелеты лежали группами, в одиночку, почти целые и разрозненные временем и непогодой. Особенно бросались в глаза, как более крупные объекты, черепа. У меня был фотоаппарат, и некоторые костяки я снял.

До бывшего Гайтолова дойти нам не удалось из-за заросших мелким лесом, опутанных колючей проволокой и содержавших много ржавого железа бывших траншей. Мы повернули к дому лесника (он и теперь там стоит) на высоковольтке, и по дороге, по которой я водил батарею в прорыв, пошли искать бывшие мои огневые позиции. Нашли мы там массу трофеев войны. Попадались и снарядные гильзы, и коробки из-под патронов, и термосы для пищи, и котелки, а главное — я нашел мою батарейную кухню, изрядно поломанную, но на том же месте, где мы ее оставили. Нашли мы и пирамидку хомутов,

которую сложили вокруг пенька, когда в первый же день у нас убило 14 лошадей. И нашел я высокий пенек сосны, на которой разорвался снаряд над щелью радистов, где мы лежали, и где подо мной был ранен Юнаков. Но скелетов на бывших огневых позициях не было. Нашли мы и знакомые мне воронки от тяжелых бомб. В частности, нашли и ту, которая образовалась на месте офицерской землянки, из которой выбросило живым только упоминавшегося мной лейтенанта Сергина.

В лесу по обеим сторонам дороги вдоль высоковольтки опять попадались костяки и черепа. Об одном не могу не сказать. Лежала каска, а в ней еще застегнутый ремешком череп. Я сразу вспомнил, что накануне нашего выхода, т.е. 28 сентября, когда выходил штаб дивизии, мимо меня проходил бывший мой командир батареи Афанасьев, и он был единственным человеком в каске, кого я видел тогда. Все мы, и солдаты, и офицеры, были в пилотках. Вот у этой каски, перетянувшей в себя отгнившую голову, мне стало особенно грустно. А вообще касок в тех местах было много, но их оставили воевавшие здесь в 1943 году.

Виденное мной я описал в письме в «Литературную газету» и приложил фотоснимки. Газета письмо не напечатала, а прикомандировала ко мне ленинградского писателя Петра Ойфу, чтобы я показал ему все на месте.

Приехали мы с Ойфой на место, но показать ему я мог только южную периферию описываемого мною района. Дело в том, что Ойфа был в ботинках, а требовались резиновые сапоги. Однако подержал он в руках и остатки мин шестиствольного миномета, и стволы наших винтовок, и пулеметные ленты и поглядел на черепа, на кости.

В «Литературной газете» появилось не мое письмо, а его статья. Как литератор, он кое-что преувеличил, в чем-то ошибся, сгустил краски, а главное — придал мне незаслуженные доблести.

После публикации я получил приглашение показать те же места представителям Тосненского военкомата. Мы с капитаном сели на телегу, которой правил апраксинский лесник. Пока ехали к бывшему Тортолову, я вводил капитана в курс дела. А лесник, местный житель и в довоенные времена, добавил: «Это что, а ведь в сорок пятом, когда я вернулся домой, эти ребята лежали еще в шинелях». А когда я их видел, даже ременные детали снаряжения уже сгнили, остались только металлические.

Капитан не все, но многое увидел.

По решению областного Совета и областного военкомата в 1962 году был организован сбор костяков. 250 человек военнообязанных

цепями ходили по указанным мною и другим соседним местам и собрали более 4 тысяч костяков. Так мне сказали в редакции «Литературной газеты», когда в следующий раз мне случилось там побывать. В газете был опубликован и официальный ответ мне. В нем указывалось, что собранные кости захоронены в Синявине в братской могиле.

С тех пор, пока позволяло здоровье, я каждый год ходил на эти печальной памяти места. По ним прошли и жестокие бои 1943 года по освобождению Ленинграда от блокады. Вероятно, и они добавили костячков к нашим. Спустя годы на этих местах появились могилы известных по именам и неизвестных солдат, памятные знаки и даже памятники павшим в боях в 1943 году, но нигде не сказано, что в сентябре 1942 года здесь насмерть стояла 294-я стрелковая дивизия и в ее составе наш 849-й артиллерийский полк.

СПАСИБО И ВЕЧНАЯ СЛАВА НАШИМ СОЛДАТАМ!

9 ноября 1987 г.

ИЗ ЗАПИСОК ОПОЛЧЕНЦА

В начале июля 1941 года вместе с другими сотрудниками Института этнографии Академии наук СССР я вступил в армию народного ополчения. Восемнадцатый отдельный пулеметно-артиллерийский батальон (позже ставший 277-м), куда меня зачислили командиром взвода, формировался в помещении Академии художеств. Взвод состоял из ученых, молодых рабочих табачной фабрики имени Урицкого и студентов Ленинградского университета.

18 июля мы покинули Ленинград и пешком направились к станции Дудергоф. На южных склонах Вороньей горы и у железной дороги из Лигово на Гатчину заняли оборону. Но вскоре нам пришлось перейти на другой рубеж, к северу от Ропши.

Сотни ленинградских женщин рыли глубокий противотанковый ров и эскарпировали склоны высоты. Спешно сооружались доты и дзоты для пушек и пулеметов, которых мы еще не имели. Нам не хватало самого необходимого, и ополченцы как могли восполняли недостаток снаряжения. Помнится, один из командиров привез откуда-то набор слесарных инструментов. Кому-то удалось раздобыть телефонные аппараты и кабель. В одном из ремесленных училищ нам изготовили машинки для набивки пулеметных лент...

Я обратился за помощью к академику И.И. Мещанинову, возглавлявшему тогда ленинградские учреждения Академии наук. Он разрешил выдать теодолит, несколько биноклей и карты. Помогли нам и сами сотрудники Института этнографии. Они принесли свои бинокли



Леонид Иванович Лавров, доктор исторических наук, крупнейший специалист по этнографии народов Кавказа, заведующий Отделом Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Капитан, воевал на Ленинградском фронте. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и другими.

и карты дачных пригородов. А вдова известного этнографа Л.Я. Штернберга принесла даже... подозрную трубу своего мужа.

Особенно много ученых находилось в составе Василеостровской дивизии народного ополчения. Василеостровская дивизия, в силу особенностей своих контингентов, стала дивизией рабочих, ученых, студентов...

Вместо официального армейского языка первое время здесь обращались друг к другу по имени и отчеству, а в приказах фигурировали «пожалуйста», «прошу вас», «не откажите»... В этом была какая-то своя непередаваемая прелесть, вытекавшая не из слабости дисциплины, а из простоты и задушевности отношений, установившихся в частях Армии народного ополчения.

В начале сентября мы получили долгожданные пушки и пулеметы. Орудия доставили прямо с Кировского завода. Это оказались танковые пушки, приспособленные для размещения в дотах и дзотах.

Две 76-миллиметровые пушки были установлены в бронированных дотах. В пяти дзотах поставили «сорокапятки». В четырех дзотах — станковые пулеметы. «Вне плана» батальон получил две полевые 76-миллиметровые пушки, очень пригодившиеся впоследствии. Наше тяжелое вооружение дополняли две вкопанные в землю танкетки с 45-миллиметровыми пушками и ручными пулеметами Дегтярева.

Особенно трудными были сентябрьские бои. В сентябре немцы замкнули кольцо вокруг Ленинграда, захватив Шлиссельбург. В то же время они обрушились на наши части, стоявшие в обороне под Стрельной и Петергофом. В течение нескольких дней начиная с 11 сентября оборонные и эсэсовские части непрерывно атаковали наши позиции, в атаках принимали участие танки, авиация. Ополченцам приходилось защищаться с «перевернутым фронтом»: амбразуры дотов и дзотов смотрели на юг и юго-запад, а немцы лезли с востока и северо-востока. Четверо суток ливень пуль и снарядов обрушивался на защитников города. А ведь это не были кадровые бойцы. Когда в один из напряженнейших моментов немцы подошли особенно близко, остался один выход — дать по телефону команду: «Огонь на нас!». Выдержали. Но силы таяли. Немцы прорвались к берегу Финского залива, отрезав Ораниенбаумскую группировку, отрезанным оказался и наш батальон. От батальона в 700 человек осталось около 70, потом нас стало еще меньше. Была дана команда отходить на новые рубежи. С этих рубежей — в районе Старого Петергофа — защитники уже не сделали ни шагу назад. В октябре мне пришлось участвовать в атаках на Новый

Петергоф в поддержку легендарного десанта кронштадтских матросов и в других боях. Первое ранение. В 1944 году с этих позиций защитники города пошли в наступление на немецкие войска, блокировавшие Ленинград.

В декабре часть отвели в Ленинград на несколько дней. Я был на Выборгской, семья — на улице Декабристов. Что с ней — я не знал, но так и не смог навестить, нельзя было оставить солдат.

Начиная с середины декабря и до середины января как командир минометной роты принимал участие в попытках прорвать немецкие позиции в районе Колпина. Затем Дорогой жизни часть перебросили на Большую землю. Здесь, во второй половине 1942 года участвовал в одной из первых попыток войск Волховского фронта прорвать блокаду Ленинграда. Наступление было начато у станции Погостье, недалеко от Любани. Длительные, кровопролитные бои тогда не принесли успеха. Но немцы поняли, что и они дальше не пройдут. И не прошли. Город на Неве как нерушимый бастион выстоял все 900 дней жестокой блокады. Под Погостьем осколок немецкой мины вывел меня из строя. Госпиталь. А затем новые военные пути-дороги, но уже не под Ленинградом.

И.Я. Треногов

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ



Илья Яковлевич Треногов, заведующий Отделом фондов. Подполковник, участвовал в боях на Ленинградском, Волховском, Карельском, 1-м Дальневосточном фронтах. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья» и другими.

Так уж сложилось, что значительная часть моей жизни была тесно связана с Красной Армией. Впервые я был призван еще в 1932 году. С апреля по октябрь прошел действительную службу в 1-м железнодорожном полку г. Ораниенбаума. За это время в составе команды одногодичников подготовился и сдал экзамены на среднего командира и был уволен в запас. Переподготовку проходил каждый год.

В 1939—1940 годах я принимал участие в освобождении Западной Белоруссии в составе 14-го отделения железнодорожного батальона Белорусского военного округа в должности командира роты (звание младшей лейтенант), воевал с белофиннами.

И, наконец, Великая Отечественная война... Известие о начале войны застало меня в здравнице Одессы, где я успел прожить около двух недель. С большим трудом достал билет на 23-е число на Ленинград. Три дня был в пути наш поезд, уступая дорогу военным эшелонам. Ехали мы в «сопровождении» немецкого самолета, однако нас не бомбили.

25-го утром я был уже в Ленинграде. Только 40 минут пришлось побыть дома с семьей. В Институт забежать не удалось. Переодевшись, взяв на скорую руку кое-какие вещи, я поехал в Ораниенбаум (сейчас г. Ломоносов) на место приписки 1-го железнодорожного полка. В штабе при распределении получил назначение в команду 40-го отдельного железнодорожного батальона командиром взвода подрывников.

С 26 июня по 12 июля прошел военную подготовку. Учился сам, учил бойцов, как бросать гранаты, бутылки, и другим подрывным премудростям, в том числе умению пользоваться путеразрушителем системы «Червяк». 12 июля я и мои 32 бойца получили первое боевое задание — после отступления наших войск взорвать участок железной дороги вместе с мостами и переездами.

И вот в составе минно-заградительного отряда выехали мы на станцию Батецкая. Нашу деятельность мы были вынуждены начать с разрушений. Но война есть война. Всякое бывает. Рвали, уничтожали, портили и одновременно платили слезы от обиды — уничтожали ведь свое, кровное. На станции Батецкая взорвали мост длиной около 60 метров, переезды и отдельные участки железнодорожного пути.

2 августа, получив новое задание, я с частью бойцов своего взвода выехал со станции Батецкой на станцию Мойка (железнодорожный участок Новгород—Батецкая). Здесь мы должны были, в случае необходимости, взорвать мост через реку Мойка, стрелочные переводы, связь и другие сооружения станции. Такая необходимость скоро возникла. 14 августа 1941 года немцы заняли соседнюю станцию Люболяды, 15-го рано утром два немецких танка в сопровождении мотоциклистов появились на переезде у нашей станции, а около 9 утра мы взорвали железнодорожный мост через реку Мойка. Задание было выполнено. Мы отошли к станции Оредеж, где и присоединились к своей роте.

А дальше, к сожалению, нашей роте, как и всему батальону, пришлось отступать. 28 августа мы прибыли в Павловск. Вскоре я получил задание от командира батальона майора Михайлова: подобрать из бойцов своего взвода команду и выехать на станцию Еглино железнодорожного участка Павловск—Новгород. Нашей задачей было — сменить команду подрывников 22-го отдельного железнодорожного батальона и, исходя из обстановки, подготовить и, в случае необходимости, взорвать железнодорожные мосты на перегоне Еглино—Лустовка. Всего 6 мостов — через речки Еглинка, Костенка, Сярды и другие.

В ночь на 29-е в составе команды подрывников из 30 человек (считая и меня) и команды «Червяка» во главе с лейтенантом Кирьятским выехали мы из Павловска. В 17.00 были уже на месте на станции Еглино. Старший команды подрывников 22-го отдельного железнодорожного батальона старший лейтенант А.И. Максимов передал мне подрывное имущество и инструмент. Путеразрушитель «Червяк» был сломан и бездействовал. Два дня закладывали мы заряды в мосты и верхние строения пути. Около каждого моста я оставил пост

из 4—6 бойцов в зависимости от величины моста. Бойцы лейтенанта Кирьятского были оставлены в резерве, так как не имели конкретного задания.

К концу дня 31 августа обстановка вполне определилась — наши войска отступили, враг занял Лустовку, и мы оказались отрезаны. Я дал команду взрывать мосты. Ближайшие к Лустовке мосты были взорваны утром 1 сентября, остальные — в ночь на 2-е. Тогда же на станции Еглино мы взорвали два исправных паровоза, вагоны, платформу. У меня случайно оказалась с собой подобранная из горевшего вагона на станции Батецкая топографическая карта этого района и компас. Надо было срочно выходить из окружения. Ориентируясь по карте, мы пошли в лес в сторону Любани, там мы думали пересечь шоссе и железную дорогу Ленинград—Москва и далее по лесной и малонаселенной местности выйти к своим. Такой путь мы вынуждены были избрать потому, что практически были почти без оружия: по 15—30 патронов на человека и всего несколько штук обыкновенных гранат.

В лесу нас остановил командир с одним ромбом в петлице и приказал задерживать отходящих красноармейцев. За короткое время было собрано около 250 человек, из которых сформировали подразделение. Однако боеприпасов и продовольствия не было.

Вначале мы шли все вместе, но на подходе к Любани разделились на группы по 8—10 человек: небольшими группами легче было пересечь шоссе и железную дорогу Ленинград—Москва, сплошь занятую потоком немецких машин с людьми и техникой, которые двигались в сторону Москвы. Мы условились выходить на Волховстрой и там встретиться. Среди наших красноармейцев были местные жители из Волховстроя, они знали эти места и тем облегчили наше положение. Договорились оружие сохранить в обязательном порядке.

Со мной осталась группа из 7 человек, я — восьмой. Здесь же был и лейтенант Кирьятский. Питались ягодами и грибами.

7 сентября наша группа подошла к поселку Любань. День был воскресный, многие жители, главным образом ребятишки, ходили по лесу, собирая грибы и ягоды, с некоторыми из них нам удалось поговорить. Но ничего нового и утешительного мы от них не узнали.

В ожидании темноты залегли на опушке леса за поселком и только около 10 вечера пересекли шоссе и железную дорогу Ленинград—Москва. Некоторое время шли вдоль железнодорожного полотна в сторону Ленинграда, железная дорога тогда бездействовала. К рассвету свернули в лес и пошли на север вдоль очень большого и топкого болота. Только через несколько дней мы наткнулись на тропинку, которая привела

нас к броду через болото. Брод представлял собой продольный настил из одной-двух жердин. Вооружившись палками для опоры и дождавшись темноты, мы переправились на противоположную сторону болота. Эта сторона болота возвышалась грядой, тянувшейся вдоль всей кромки болота. Неподалеку виднелся какой-то поселок и шоссе, по которой двигались немецкие машины в сторону Ленинграда. Той же ночью мы пересекли это шоссе и углубились в лес в направлении торфоразработок Назия.

К концу дня 11 сентября мы пришли в рабочий поселок торфоразработок. Весь следующий день приходили в себя после нашего изнурительного похода, а утром 13 сентября пешком по узкоколейной железной дороге добрались до станции Жихарево. Там нам сказали, что в Ленинград ходу уже нет. Попереживали, услышав это известие. Затем пришедшие с нами красноармейцы отправились на пересыльный пункт, а мы с лейтенантом Кирьятским в ночь на 14 сентября выехали в Волховстрой. Разыскав начальника ВОСО 54-й армии полковника А.Г. Чернякова, доложились ему, кто мы такие. Первое, что он сделал, — отправил нас в железнодорожную роту, находившуюся на станции Волховстрой, и приказал поставить на довольствие и «вообще подкормить». Последнее нам было очень кстати. Представьте себе, как мы выглядели, питаясь около двух недель грибами, иногда ягодами и картошкой.

16 сентября на пересыльном пункте узнали, что наши бойцы, с которыми мы разъединились, прибывают. Часть из них уже была направлена к новому месту службы. 10 наших бойцов были направлены в составе 2-й роты на Ладогу, другие еще ждали своего назначения.

После соответствующей проверки, как вышедших из окружения, полковник А.Г. Черняков направил нас к постоянному месту службы: лейтенанта Кирьятского — на станцию Волховстрой, меня — диспетчером в ЗКРС-58 на станцию Тихвин. Так кончилась моя богатая разными событиями служба в железнодорожных войсках, служба, совпавшая с первыми месяцами войны.

А дальше мой воинский путь складывался так: служил в органах ВОСО в ЗКРС-78, затем был взят в Управление ВОСО Волховского фронта, где служил вплоть до его расформирования в должности военного диспетчера, помощника начальника 1-го отдела и старпомом начальника 2-го отдела (перевозок), затем на Карельском фронте в должности начальника оперативной группы, по указанию фронта регулировал движение эшелонов и военных транспортов на станции Вологда. После расформирования Карельского фронта весь личный состав ВОСО,

в том числе и я, были зачислены в резерв (февраль 1945 года). Меня назначили начальником 3-го отделения Управления ВОСО Резервного фронта.

В июне 1945 года все Управление было переброшено на Дальний Восток в г. Уссурийск и вошло в состав 1-го Дальневосточного фронта. В этот период я был на партийной работе. Демобилизовался в августе 1946 года в звании подполковника и вернулся в Институт.

Г.Д. Вербов

ПИСЬМА С ФРОНТА СТУДЕНТКАМ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЛГУ¹

1 ноября 1941 г.

Дорогие товарищи!

Наконец-то я собрался вам написать! Вот уже четыре месяца, как я в армии. За это время порядком пришлось повидать, пережить и поработать (конечно, уже по новой специальности). Около месяца был на инвалидном положении (правда, не в госпитале), так как сильно расшиб ногу, когда выходил из-под обстрела и ухитрился упасть в глубокий полевой колодезь, в котором преслучайно не утонул (дело было ночью). Сейчас опять вполне здоров, если не считать, что плохо вижу в темноте (результат снежной слепоты, приобретенной на Севере).

Как ваши дела? Идут ли у вас занятия? От Георгия Николаевича (Прокофьева. — *Ред.*) я совсем не получаю писем, хотя сам ему писал. Занимается ли он с вами?

Независимо от того, идут ли у вас занятия по специальным предметам, сами не зевайте, пользуйтесь имеющейся литературой и обязательно при наличии хотя бы маленького досуга читайте указанную и не указанную мною северную литературу. Если вы будете это делать не в ущерб вашим новым нагрузкам



Григорий Давыдович Вербов,
кандидат филологических наук,
заведующий Отделом Сибири.
Убит в бою в 1942 году.

¹ Г.Д. Вербов (1909—1942) работал перед войной старшим научным сотрудником Института этнографии АН СССР. Одновременно в 1939—1941 годах он преподавал ненецкий язык и читал курс этнографии ненцев на этнографическом отделении филологического факультета ЛГУ. Студенты, поступившие в 1939 году на это отделение, специализировались по этнографии народов Средней Азии и Севера (палеоазиатских и самодийских). У Г.Д. Вербова занимались три студентки: Е.В. Рихтер (ныне сотрудник Института истории в г. Таллинне), Л.В. Хомич (Васильева) — сотрудник Института этнографии АН СССР и С.Б. Горфинкель (в период войны перешла в медицинский институт). — *Ред.*

(военным), то ничего плохого не будет. Следите также за новинками, если таковые появляются. Свою специальность можно, сообразно с обстоятельствами, отвести на самый задний план, но забывать о ней никогда нельзя, ни на один день. В этом и заключается «северное» упорство и т.д. (наверно вспоминаете мои «проповеди»).

Обязательно напишите мне обо всем подробно. Желаю вам бодрости, здоровья и успехов во всех ваших делах. В первом я, впрочем, и так уверен. Не сомневаюсь, что мы с вами еще увидимся и даже совершим рано или поздно все вместе первую для вас и, надеюсь, не последнюю для меня экспедицию.

Жму руки.

Ваш Г. Вербов.

Привет И.И. Маркон, Г.Н. Прокофьеву, С.Н. Стебницкому, «корякам» и всем, всем. Напишите обязательно.

12 ноября 1941 г.

Дорогие товарищи!

Очень был рад вашему письму. Теперь по крайней мере знаю, что вы все живы, здоровы, находитесь в Ленинграде и понемножку занимаетесь. Из вашего письма я извлек, правда, ответы далеко не на все мои вопросы. Вы мне все же напишите: 1) Если селькупский язык преподает Г.Н. Прокофьев, то как его здоровье и на какой адрес ему лучше написать. Я писал на Институт, но ответа не получил; 2) Занимаетесь ли вы ненецким языком самостоятельно или с Георгием Николаевичем? Второе, конечно, было бы для вас лучше. Бываете ли у нас в Институте? Цел ли район ЛГУ? Работает ли кафедра этнографии? Я писал И.Н. Винникову, но ответа не получил. Привет А.А. Попову. Где Стебницкий?

Мои дела без особых перемен. Единственное приключение за последнее время было такое: нес вечером котелок с супом. Шел изрядный арт. обстрел. Один снаряд пролетел так низко, что пришлось срочно «приземлиться». Сердце замерло при мысли, что суп выльется (вторую порцию не дадут). Однако я лег удачно — донес суп в сохранности. Снаряд же упал и не разорвался. Такого «брака» у немцев появилось в последнее время порядочно.

Обязательно напишите мне. Всем привет. Желаю успехов.

Ваш Г. Вербов.

22 ноября 1941 г.

Дорогие товарищи Васильева, Горфинкель, Рихтер!

Сегодня, к великой моей радости, получил от вас письмо от 18/11. Был прежде всего рад тому, что вы все живы и здоровы. Это главное.

Теперь начну, как говорится, с конца. Ваша подпись «неудавшиеся ученицы» может иметь только преходящее значение. Я не допускаю мысли, что после войны вы не продолжите начатое. Думаю, что и вы того же мнения. Очень надеюсь, что вы держите в голове,

в душе, или уж не знаю, как это называется, непоколебимое стремление, образцы которого в достаточной степени показали нам покойные Лев Яковлевич Штернберг, Владимир Германович Богораз, не говоря уж о «высокоширотных» полярниках, произведения которых вам отчасти знакомы. Выдержка и воля заключаются, мне думается, не только в твердом стремлении завершить дело, когда уже им занят, но и в готовности жить и ждать (и обязательно дожидаться) того времени, когда к делу можно приступить или продолжить его, если оно прервано. Вспомните Наташу Котовицкову, историю которой я изучал в архиве АН СССР. Она не смотрела назад, а только вперед и перестала заниматься своим делом только тогда, когда упала, не дойдя даже до палатки. Не сомневаюсь, что мои «неудавшиеся» учения удадутся вполне, но победа, как говорят, не приходит сама.

Что касается вашей занятости, то мне это понятно. Оборона — дело общее. Но если у вас есть время, то часть его нужно использовать. После войны на Севере нужна будет большая работа, и важно, что у вас будет уже известная подготовка.

Мне несколько труднее заниматься здесь штатскими делами, но все же ухитрился раздобыть популярную книжку Никольского («Детство человечества») и прочесть ее. Раздобыл даже оба тома Ратцеля и немного заглядываю туда. В полевой сумке вожу свой ненецкий словарик, в который иногда (просто для развлечения) заглядываю. Спать здесь приходится немного, но когда рассталаю шинель и укладываюсь, то попеременно с мыслями о боевых делах и перспективах войны, о доме, об Институте и о вас, перебираю в памяти нерешенные вопросы нашей северной этнографии, эпизоды своей тундровой жизни и иногда так размечаешься, что кажется, словно холод, забирающийся за ворот, ползет от основания шестов чума, из «ханзо»; кажется, что сейчас послышится привычный сухой стук, который производят олени, ударяясь рогами о рога, когда подерутся, ночью бродя возле чума в поисках деликатесов. Стук раздается, но он громче и суше, — разорвался очередной немецкий снаряд.

Работаю много, сколько могу. Сейчас это нужно как никогда. Уверен, что наша борьба закончится полной победой. Нас здесь очень воодушевляет спокойствие и выдержка находящихся за нами вас — ленинградцев. Ни в ваших письмах, ни в письмах из дома или из Института я не вижу и тени жалоб на тяготы войны и блокады. Все ведут себя (даже в письмах) спокойно и уверенно. Так и надо. Будем и впредь держаться так же. Жить мы любим, а смерти не боимся.

Желаю вам успехов и бодрости. Наша встреча не за горами.

Ваш Г. Вербов.

29 ноября 1941 г.

Вчера получил ваше письмо и, как всегда, был очень и очень рад. Соответствующим образом и улыбался, а не саркастически, как вы думаете. Насчет Севера вы пишете правильно, очень надеюсь, что и думаете так. Селькупским надо будет заниматься как следует, тем

более, что Георгий Николаевич частенько болеет и, в случае пропусков занятий, надо самим не сидеть сложа руки. Да, имейте в виду, что II том Миллера вышел перед самой войной, и его тоже можно достать. У Миллера пока стоит посмотреть те места, которые связаны с нашими народами и районами. Хорошо, если бы вам разрешили заниматься в библиотеке нашего Института. Надеюсь, что Георги там, например, есть. Неплохо бы вам прочесть Н.В. Латкина «Дневник путешествия на Печору». Напечатано это в Записках РГО. Было бы очень хорошо (рано или поздно это будет необходимо) заняться следующей работой — просмотреть журналы: 1) «Северная Азия» (выходил с 1925 по 1930 г.); 2) «Советский Север» (выходил с 1930 по 1935 г.); 3) «Северная Арктика» (выходит, кажется, с 1935 г.); 4) «Известия (?) Архангельского общества по изучению Русского Севера» (выходил приблизительно с 1908 по 1917 или 1918 г.). В этих журналах вы найдете много статей, посвященных немцам. Так как при просмотре вы будете иметь дело только с заголовками, то обращайтесь главным образом на район. Если район «подозрителен» — загляните в статью непременно и почти всегда найдете (хоть немножко) по интересующему вас вопросу. При просмотре, как бы медленно и урывками он ни производился, следует придерживаться следующих правил: 1) номера журнала (с указанием года), которые просмотрены, следует отмечать на особом листке, заведенном для данного журнала. Тогда не будете сбиваться и дважды проделывать одну и ту же работу; 2) нужно статью выписывать на библиографическую карточку. При чтении статей, как впрочем и книг, всегда обращайтесь внимание на ссылки в тексте внизу и берите их на заметку, чтобы просмотреть те книги и статьи, которые, судя по ссылке, того заслуживают. Если не будете этим пренебрегать, то у вас получится своего рода библиографический *perpetum mobile*.

Мои дела идут по-прежнему. Работы так много, что письма пишу, когда все спят. Иначе не выходит. Огорчены наступлением оттепели — нам мокро и немцам теплее. Думаю, что это не надолго.

Желаю вам успехов. Жду опять письмеца. Если есть или будут вопросы, в разрешении которых сумею помочь, — пишите. Когда получаю от вас письмо — сразу бодрости прибавляется.

Жму руки.

Ваш Г. Вербов

27 декабря 1941 г.

Дорогие товарищи!

Спасибо за ваше письмо от 23/12, которое я вчера получил, и за ваше поздравление с Новым годом. Отвечаю вам тем же. Вы пишете как настоящие ленинградцы, а это звание чего-нибудь да стоит. Вижу, что духом не падаете.

У меня все по-прежнему. Работаю порядочно. Немцев понемногу подталкиваем. Им прохладно. Особенно по ночам. Выйдешь — луна в круге — «һһһһһһ», блестит снег, белеет река, словно в тундре.

Только не хватает пасущихся оленей. Разница еще в том, что почти непрерывно тишину пререзают автоматные очереди, перемежаемые более солидными голосами тяжелых пулеметов. Вздвигается к темным облакам и сверкает, медленно падая, ракета: немцы боятся и по ночам стараются все время освещать подступы к своим берегам. Изредка гремит оружейный выстрел. Одному из таких выстрелов я обязан каллиграфическими прелестями моего сегодняшнего письма. Проклятые немцы перебили электрический кабель. Поэтому темно-вато, и я пишу почти наугад.

Передайте всем привет и поздравления с Новым годом.

Ваш Г. Вербов.

Жду писем.

14 февраля 1942 г.

Дорогие товарищи!

Очень и очень огорчен полным вашим молчанием. Оно настолько затянулось, что я теряюсь в догадках и беспокоюсь о вас всех. Что случилось? Обязательно сообщите мне немедленно. Если это что-нибудь неприятное и печальное, то пусть уж я узнаю наконец, в чем именно дело. Итак, я жду.

1 февраля был несколько часов в Ленинграде. Заходил в Институт и ЛГУ, но так как было воскресенье, ничего не добился, все было закрыто. Узнал весьма печальные новости. Первая из них явилась для меня очень большим ударом: скончался Георгий Николаевич. С тех пор, как я это узнал, прошло уже две недели, но мне стоит больших усилий собраться с мыслями и что-либо писать об этом. Не хочу уж писать о том, чем я обязан Г.Н., думаю лишь о нем, как о товарище, с которым меня связывала 12-летняя работа и дружба, и о том, как сейчас осиротела наша отрасль науки. Много нужно будет работать, чтобы восполнить образовавшуюся брешь. Принимаю меры к спасению и сохранению рукописных материалов Г.Н., которым цены нет. Написал об этом дирекции Института. Помните, товарищи, что тем из нас, кто останется в числе живых, выпадет на долю заменить Георгия Николаевича, и мы должны будем это сделать. Если у вас на руках остались какие-либо тексты, программы, ваши тетради, писанные или правленные рукой Г.Н., — тщательно сохраните их.

На нашем фронте успехи, хоть и не быстро, растут. Вы это чувствуете хотя бы по скромному улучшению на продовольственном фронте. Дальнейшее не за горами. В этом я твердо уверен.

Сейчас ночь. Немного кружится голова, так как курю, что в последнее время удается делать не часто. В окошко, которое я закопил бумагой, бьет ветер и доносит привычную трескотню пулеметов.

Работу кончил. Отложил в сторону метеорологические наставления. Ими сейчас занимаюсь, так как переведен в подразделение артиллерийской разведки, где такие вещи требуются. Думаю сэкономить час-другой на сне и, пользуясь наличием лампы, засесть за

ненецкие дела. В чем они в данном случае заключаются, пока вам нарочно сообщать не буду. Скажу только, что это полевая работа, рассчитанная не менее, чем на 8 лет, которые нужно будет провести в одном более чем интересном районе. Возможно, что даже не 8, а больше, быть может 10 лет. Как бы мне хотелось дожить до того времени, когда я смогу претендовать на участие в давно задуманном мною и проектируемом сейчас деле! Нет нужды говорить о том, что участие в этом кого-либо из вас явится почти необходимым, но, увы, необязательным, так как в вашем возрасте отправиться на такой срок едва ли будет желание.

В том случае, если мне не придется вернуться, очень прошу вас не упустить из вида то, о чем я здесь пишу. Тетради с заметками, из которых вы поймете сущность проекта и узнаете район работы, возможно, попадут в Академию или ко мне домой, а вы уж не зевайте и ищите их. *(К сожалению, в материалах архива, перевезенного в 1942 г. в Институт этнографии, а также в бумагах, полученных позднее от сестры Г.Д. Вербова Ольги Давыдовны Шелингер, не удалось обнаружить указаний на те планы, о которых писал Г.Д. Вербов. — Ред.)* Не забудьте тогда заодно позаботиться и о моих рукописях, большая часть которых у меня дома и часть в Отделе Сибири Института. Разумеется, я не собираюсь еще уходить со сцены, но осторожность требует позаботиться, чтобы то, что принадлежит не мне одному, не пропало бесследно.

Жду, товарищи, письма и объяснения причин вашего упорного молчания. Желаю вам всем здоровья и бодрости.

Г. Вербов.

Мой адрес прежний: ППС № 506, штаб армии, отдел артиллерии.

5 апреля 1942 г.

Дорогая тов. Васильева!

Сегодня ночью, к великой моей радости, получил Ваше письмо от 25.III. Мерз нещадно, сидя под крышей одного высокого сооружения, отсюда ведем наблюдение за передовой линией немцев и неожиданно — такая радость. Я от вас всех не получил ни одного письма, кажется с начала января, и был очень подавлен, теряясь в догадках. 7 марта я был в Ленинграде, но в ЛГУ узнал только об его эвакуации. Ездил я потому (и меня отпустили), что в феврале меня постигло большое горе: почти одновременно скончались мои родители, которых я не мог ни повидать перед смертью, ни похоронить сам. Это сделала моя сестра, единственный оставшийся теперь дома член моей семьи. К ней-то я и приезжал в начале марта.

Днем, когда начал письмо, начался длительный обстрел. Первый снаряд лег перед нашим зданием и меня, на моем чердаке, совсем засыпало сажей. Мою линию связи порвало. Это наши будни, причем почти ежедневные. Продолжаю писать вечером, при свете маленькой печки, так что не удивляйтесь на почерк.

Меня очень радует, что Вы, несмотря на обстоятельства, держитесь бодро и хоть в мыслях не забываете о нашей специальности.

Я тут начал пробу по части литературной (разумеется, из ненецкой жизни). Это дело меня очень интересует, так как должен же быть написан о ненцах «роман без вранья». Сейчас, впрочем, дела таковы, что трудно надеяться на продолжение этой работы в ближайшие месяцы, так или иначе я теперь о смерти не думаю, т.к. приходится ее не предусмотреть, а думать только о жизни, которая, быть может, продлится и будет полна нового содержания, которого, возможно, и не было бы без всех страданий, переносимых и перенесенных.

Думаю, что отчисление вас троих с филфака в связи с тем, что вы не смогли уехать, не сыграет в дальнейшем отрицательной роли в формальном отношении. Важно, что вы уже показали свои способности и отчасти свое желание специализироваться. Для меня лично этого достаточно, а если я буду жив, то уверен, что с моим мнением по этому, чисто «ненецкому» вопросу, посчитаются. Следовательно, наша четверка и ее дело не пропадут. Смерть Георгия Николаевича, как я уже писал, отняла у меня не только друга и отчасти учителя, но и поставила под угрозу его материалы, столь ценные для науки. Я, когда был в Ленинграде, говорил на эту тему в Институте. Обещали собрать все, когда это можно будет сделать. Не растерялось бы все... *(Дом в Озерках, где жили Прокофьевы, сгорел, поэтому большая часть архива Г.Н. Прокофьева погибла. — Ред.)*

Вчера получил от сестры письмо, в котором она сообщает, что ей предложили эвакуироваться, и просит у меня совета. После всего, что она перенесла, и учитывая, что она совсем одна, вполне вероятно, что она уедет. Это для нее будет лучше. Боюсь только, что в результате могут погибнуть мои рукописи и книги, в которых имеются работы Кастрена, Доннера, Лехтисало, Сирелиуса, Палласа, Лепехина, Вениамина и т.д., собранные ценой многолетнего труда и практически невозполнимые. Я написал сестре, чтобы, когда она решит уехать, она сообщила всем вам (я написал ей адреса, но не знаю все ли вы будете в Ленинграде). Тогда вы свяжитесь с Институтом, куда я тоже написал, и постарайтесь доставить туда рукописи. Всю (по возможности) библиотеку следует забрать к Вам или к вам троим по частям, или к тем из вас, кто намерен остаться в Ленинграде до конца. На книгах следует красным карандашом сделать пометку «В», достаточно крупную. Эти книги вы или Вы будете хранить, пользоваться или, если я не вернусь, считать их своими и использовать их для продолжения работы, которую вели мы с Георгием Николаевичем. В Институте сейчас директором С.М. Абрамзон, а Отделом Сибири заведует М.А. Сергеев.

То, что Вы работаете, и хорошо и полезно, как опыт для северной работы. О Пырерке и Тайборее ничего не знаю. Желаю вам всем бодрости, здоровья, успехов, всего наилучшего. Пишите мне почаще.

Ваш Г. Вербов.

16 апреля 1942 г.

Дорогая тов. Васильева!

Вскоре после отправки письма Вам, я совершенно неожиданно, вечером 12 апреля попал в город и уехал обратно 13-го. К крайнему сожалению, не успел, как намеревался, зайти к Вам и, узнав адрес вашей службы, повидать Вас. Забежал только на несколько минут в Институт. Дома меня ожидало большое огорчение: сестра уехала 10-го. Застал только соседку, которая смогла лишь объяснить, что сестра уехала в Свердловск. С трудом нашел у одного знакомого ключи от моей комнаты, которые сестра ему оставила. Внутри комнаты многое тоже заперто, все свалено в груды, и я сам не смог ничего найти. Думаю, что письмо сестры раскроет мне все секреты. Благодаря этому изменению ситуации я беру обратно свою к Вам просьбу насчет материалов и библиотеки, так как это сейчас невыполнимо...

Сам я пока жив. Мучает весенний приступ моего старого профессионального ревматизма. Ношу в сумке «Происхождение семьи» и карандаш. Иногда штудирую. Если будет время, то и повесть (или роман), начатый зимой, буду понемногу продолжать.

Жду писем, желаю успехов.

Ваш Г. Вербов.

6 мая 1942 г.

Дорогая тов. Васильева!

Что-то опять долго не получаю от вас вестей. Надеюсь, что мои письма в ответ на ваше последнее письмо Вы получили. Напишите о своих делах и планах и об остальных товарищах. В Ленинграде ли они? Обязательно сообщите адрес и № телефона вашей службы. Если буду в Ленинграде, то постараюсь повидать Вас. Получаете ли вести из Университета?

Желаю всего лучшего

Ваш Г. Вербов

Это было последнее письмо Григория Давыдовича Вербова. Еще одно письмо было уже не от него.

29 октября 1942 г.

Многоуважаемая Людмила Васильевна, не могу сообщить Вам новый адрес вашего учителя, а моего лучшего друга Вербова, так как его уже нет на свете. Он убит в начале июня вблизи станции Понтонная на Ленинградском фронте. Это где-то на Неве. Там же он и похоронен. Удивляться этому событию нельзя, так как он все время был в самых опасных местах. Последнее письмо от него я имел от 31 мая, а 12 июня датировано извещение о его смерти, полученное его сестрой Ольгой Давыдовной Шелингер. Значит, это случилось в первой декаде июня...

Г.Р.

В Редакционно-издательском отделе МАЭ РАН готовится к печати очередной сборник «Культурное наследие народов Сибири и Севера (Материалы Пятых Сибирских чтений, проходивших в Санкт-Петербурге в 2002 году)», в котором помещена статья Л. В. Хомич (Васильевой) «Григорий Давыдович Вербов — исследователь традиционной культуры и языка ненцев». — Ред.

ВОЙНУ Я НАЧАЛ И ЗАКОНЧИЛ МАТРОСОМ



Георгий Адамович Гловацкий, научный сотрудник Отдела Дальнего Востока, китаист. Позднее заведующий Отделом учета и хранения. Старший матрос. Участник боев на Ленинградском фронте в составе 55-й морской бригады 2-й ударной армии. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

На второй день войны я был направлен в 175-ю отдельную зенитную батарею Ладожской военной флотилии. В сентябре 1941 года получил первое ранение, но воевать продолжал. Когда Ладога замерзла, нас, моряков, списали в береговые части. Я был назначен командиром минометного расчета. Наша часть охраняла дальние подступы к Дороге жизни. Что такое дальние подступы? К северу от линии трассы прямо на льду Ладоги, в 18—20 км от берега, стояли наши передовые дозоры. В обороне обычно закапываются в землю, мы закапывались в лед. Долбили окопчики, пулеметные и минометные гнезда. Когда до воды оставалось несколько сантиметров — делали перерыв. Зима была лютая и лед быстро нарастал снизу. Долбили снова, пока не получался окоп нужных размеров. Как выдерживали стужу? Сейчас это трудно понять, трудно даже представить. А тогда стояли. Стояли и выстояли, несмотря на обстрелы, свирепый холод и пургу, голод.

В июле 1942 года в составе 55-й морской бригады участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. В январе 1943 года шел через невиский лед на штурм Шлиссельбурга. Об этом штурме хорошо известно, скажу лишь, что два батальона нашего полка остались лежать на искромсанном снарядами и пулями кровавом льду, я был в третьем. Отделался ранением — осколком мины в плечо. Но блокада была прорвана.

После выздоровления меня направили на Ленинградский фронт в

48-й стрелковый полк 36-й стрелковой дивизии. Наша дивизия воевала на Синявинских болотах. Здесь снова был ранен, мой минометный расчет накрыло немецкой миной. Попал в госпиталь, расположенный в здании истфака ЛГУ. Выздоровел — и на Ораниенбаумский «пятак». Потом узнал, что до меня здесь воевал наш сотрудник Л.И. Лавров, а в одно время со мной — А.В. Маторин.

Шел декабрь 1943 года. Наша часть была переброшена ночью по льду Финского залива из Лисьего Носа в Кронштадт, а оттуда на Ораниенбаумский «пятак», где мы были включены в 131-ю стрелковую дивизию 2-й ударной армии. 14 января 1944 г. после нашей мощной артподготовки, вслед за танками мы погнали фашистов от Ленинграда. За шесть суток непрерывных боев только наша дивизия освободила от немецких захватчиков более 15 населенных пунктов, и 19 января 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего нашей дивизии было присвоено наименование «Ропшинская», она была награждена орденом Красного Знамени.

За время наступления, при форсировании реки Нарвы я по пояс провалился под лед, но товарищи помогли выбраться из воды. На западном берегу Нарвы враг вскоре закрепился и держал мощную оборону. Нам пришлось залечь... Когда выяснилось, что противник пытается окружить мое подразделение, которое продвинулось несколько дальше, чем другие наши части, была дана команда отступить. Тут я обнаружил, что моя левая нога застыла и не сгибается в колене. С большим трудом я продолжал двигаться. Через некоторое время, к моей радости, нога разогрелась и стала сгибаться. Большую открытую поляну, которая простреливалась немцами, мне пришлось преодолеть по-пластунски, не поднимая головы. Немцы все же обнаружили меня и обстреляли. Однако все обошлось благополучно, хотя в части меня считали уже убитым и были удивлены моему возвращению.

Получив разрешение отдохнуть в теплой землянке, я моментально уснул. Проснулся от взрыва, засыпанный землей и жердями. Когда выбрался из-под горящих обломков и земли, на мне горел рукав ватника. Погасив его на скорую руку снегом, я долго чувствовал боль, но в бою было не до этого. И только когда мы отразили контратаку немцев, а позже и власовцев, я почувствовал острую боль в груди. В медсанбате врач выяснил, что боль была от небольшого, но острого осколка мины, который застрял в груди и при малейшем движении причинял боль. Зато с рукой было намного хуже: на ней образовался ожог второй степени от тлевшего внутри ватника. Вдобавок к этому

я почувствовал, что из-за обморожения пальцев не могу ступить на левую ногу.

Более двух месяцев находился я на излечении в 88-м эвакогоспитале в Ленинграде, расположенном в школе на 17-й линии, а после выздоровления был направлен в Кронштадт и зачислен в Военно-Морской Флот радистом...

Войну закончил в Военно-Морской базе в Свинемюнде (Померания). Считаю, что ничего особенного не совершил. Воевал? Все тогда воевали для нашей Победы. И трудно было тоже всем. Главное — выстояли.

Приведем несколько строк, написанных нашим сотрудником М. К. Кудрявцевым о Г.А. Гловацком:

«Не много людей, общение с которыми и воспоминания о которых будили бы в нас лучшее человеческое. К таким редким людям принадлежал Георгий Адамович Гловацкий.

Сразу после университета он поступил на службу в Институт этнографии и прослужил, в пример многим поколениям сотрудников, почти 50 лет. Труды его и заботы сосредоточены были на музейном Отделе Китая и Дальнего Востока. Никто, как он, не знал коллекции своего отдела, никто не потратил столько труда и времени для сбережения этих коллекций. Ни одна экспозиция в Музее не создавалась без его участия. А в период, когда он возглавлял Отдел учета и хранения, Георгий Адамович всего себя отдавал сбережению коллекций всего Музея. И до недавнего времени не было у нас музейного работника, кто бы не вспомнил с благодарностью консультации, советы и участие Георгия Адамовича в его делах. В секторе Зарубежной Азии в течение многих лет он вел библиографическую работу, и большинство карточек в секторе написано его рукой.

Георгий Адамович — участник Отечественной войны с начала ее. Будучи приписан к флоту, он в первый же год войны оказался в сухопутных войсках, и здесь судьба его не баловала. Служил он на Ладоге, в зенитных, а в дальнейшем в стрелковых частях, освобождавших Ленинград и преследовавших отступающие немецкие войска. Именно в этих боях под Нарвой он был ранен на переднем крае во время немецкой контратаки, и только случайно дополз до своих».

НАЧАЛО И КОНЕЦ МОЕЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война в памяти переживших ее остается периодом совершенно особым по плотности и обилию событий, трагических и радостных, невероятного эмоционального перенапряжения. Вспоминать и рассказывать о каждом дне невозможно — потребовалось бы исписать тысячи страниц, несмотря на то, что время постепенно заглушает воспоминания, оставляя для нынешних дней только самое яркое. Что же самое яркое?

Ответить на этот, казалось бы, простой вопрос очень трудно. Есть и другие, чисто психологические трудности, — не хочется признавать, что кроме воспоминаний нам будто бы ничего не осталось. Жизнь мчится с невиданной скоростью и времени предаваться воспоминаниям очень мало. Я много раз говорил себе: «Воспоминания буду писать, когда выйду на пенсию». Но... если не успею выйти на пенсию?

Попробую все-таки вспомнить: как для меня начиналась и кончилась война? Станный, казалось бы, вопрос! Началась она, как известно, 22 июня 1941 года, а окончилась 9 мая 1945 года... Это так, но все-таки у каждого она «начиналась» и «кончилась» по-своему, в свои сроки.

В день, когда прозвучало по радио сообщение Молотова о нападении Германии на Советский Союз, я готовился к экзамену по зарубежной литературе второй половины XIX—начала XX века, который должен был завершить мой четвертый курс филологического факультета Ленинградского университета. Выступление Молотова поразило всех,



Кирилл Васильевич Чистов — рядовой. Воевал в составе студенческого партизанского отряда, на Ленинградском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

хотя все мы как бы непрерывно ждали войны и одновременно как бы не верили тому, что она могла начаться так внезапно.

Трагически и угрожающе звучали сводки с фронтов в последующие недели — немцы стремительно продвигаются в глубь страны. Когда же удастся их хотя бы остановить?! Брест... Минск... Смоленск... Таллин... Псков... В эти горькие дни я работал в составе студенческого отряда на строительстве запасного аэродрома за Сиверской у д. Даймище. Мы уже видели немецкие самолеты, слышали гул далеких бомбежек. Все мы жили только войной, с нетерпением ждали очередную сводку, редкую газету, на лету ловили любой слух, чтобы верить и не верить. И все же, вспоминая те дни, я ясно вижу, что настоящее осознание войны в ее грандиозном масштабе и смертельной опасности постигло меня несколько позже.

На строительстве аэродрома я оказался потому, что числился «белобилетником», но это не помешало мне добровольно зачислиться в партизанскую школу, которая действовала на острове Голодае. Перед этим в Даймище приезжал мой однокурсник Сергей Максимов — участник «зимней войны» с Финляндией, Герой Советского Союза — и предложил некоторым из нас «пойти в партизаны» вместе с группой студентов-добровольцев. После недолгой учебы в партизанской школе пришел день, когда наш студенческий партизанский батальон должен был перейти фронт, чтобы действовать в фашистском тылу. Когда мы отправлялись из Областного Штаба Партизанского Движения на улицу Плеханова к фронту, никто из нас, кроме командира батальона, не представлял себе ясно, где в это время (середина августа 1941 года) проходила линия фронта. Неужели уже в Ленинградской области? Вскоре наши предположения подтвердились самым роковым образом. Рано утром на нескольких грузовиках мы двинулись в путь по Ленинграду, а потом по шоссе Ленинград—Киев. Почти сразу же после выезда на шоссе попали в непрерывную полосу воздушных тревог. Часто приходилось останавливаться и искать укрытия в придорожных кустах, в кювете, где попало. Все обходилось удачно, но уже возникло еще непривычное почти солдатское напряжение. Под вечер мы остановились в леске рядом с какой-то воинской частью, задержавшейся на марше. Нас накормили крутой кашей с разогретым консервированным мясом; еда, которая вспоминалась всю войну. Но потом построение, и командир батальона очень спокойно и тихо говорит нам: «Теперь поскорее спать! Рано утром будем переходить линию фронта. Все должны быть бодры и спокойны...». Это потрясло — не может быть, что фронт так близко! Утром по мере

приближения фронта удивление, тревога, растерянность возрастали. Фронта никакого не было!

Стало ясно, что немцы движутся по дорогам, — мы уже слышали рокот их моторов. Но где наши войска, где наш фронт? На занятиях военным делом (мы ведь были «без пяти минут лейтенанты») нас учили, что фронт должен быть правильно эшелонирован, должно быть определенное соотношение пехоты, артиллерии, танков, резерва, складского хозяйства, госпиталей и т.п. Ничего этого мы не видели. И более того: незадолго до того, как мы оказались по ту сторону фронта, мы вышли на небольшую лесную полянку, где увидели десятка полтора наших солдат. Они выкапывали индивидуальные окопчики.

— Что вы тут делаете, ребята? — спросили мы их.

— Лейтенант привел нас сюда, велел нам окапываться. Через час-полтора здесь должны быть немцы...

Мы покурили с ними и пошли дальше.

Возбуждение наше дошло до предела. Вместе с нами двигался батальон рабочих Балтийского завода. На первом привале в расположении «рабочего батальона», как мы его стали называть, послышался гулкий выстрел. Все вскочили. На фоне общего стремления не шуметь, чтобы не выдать себя противнику, звук выстрела казался чудовищным. Что это? Мы обнаружены? Выяснилось, что у одного из партизан (точнее — у несостоявшегося партизана) отказали нервы. В отчаянии он решил застрелиться. Теперь он корчился на земле и кричал. Перевязать раненого никто не решался. Командиры нашего и «балтзаводского» батальонов, посоветовавшись, решили, что его надо немедленно прикончить, чтобы он не выдал нас всех своим криком. Кажется, действительно, другого выхода не было. Стрелять снова было нельзя. Но он сам вдруг затих.

Трагическая и предельно тягостная картина смерти, хоть и совершенно незнакомого, но только что шагавшего рядом с нами товарища была почти непереносимой.

Тревожное напряжение нарастало. Почему же Ленинград не защищен? Где наши войска?

Только позже мы поняли, что немцы тоже оказались в нелегкой ситуации — им хотелось сходу ворваться в Ленинград. Они были достаточно опьянены своими успехами, завоевав уже почти всю Европу. Но их командование не могло не придержать движение войск. Коммуникации оказались безмерно растянутыми, движение по дорогам без овладения прилегающей территорией могло оказаться крайне опасным. Трудно было предполагать, что Ленинград совершенно оголен. (Между



Кирилл Васильевич Чистов — член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии, крупнейший специалист по истории и теории фольклора, доктор исторических наук. Президент Федеративной Республики Германия в 2000 году наградила К. В. Чистова немецким орденом Крест «За заслуги» на ленте за его многолетние усилия по духовному, а не просто дипломатическому примирению двух народов, вступивших некогда в смертельную борьбу. Своей деятельностью в сфере русско-немецкой культурной жизни он способствует как изживанию немецким народом метастазов нацизма, так и пониманию в России принципиальных изменений, происшедших в Германии.

ре», недалеко от Гдыньской косы, на которой все еще оставались окруженные немецкие части. Все говорило о том, что конец войны бли-

прочим, он и не был вполне оголен, но наши войска, терпя одно поражение за другим, не успевали перегруппироваться.) Но тогда мы видели только то, что видели. Положение было действительно крайне тревожным, но не безнадежным. Тогда нам всего этого было не понять. Мы были поражены реальностью, не исключавшей того, что Ленинград мог пасть. Наш Ленинград, без которого жизнь казалась бессмысленной. Кроме того — там были семьи, родные, друзья. Среди них и моя юная жена, с которой мы «записались», как тогда это называли, только 27 июня. Как все-таки хорошо, что мы были тогда так молоды и оказались способными выдержать первое в нашей жизни столь мощное потрясение!

Позже эта первая смерть товарища, если и не забылась, то заслонила многим, что пришлось пережить. Но теперь, вспоминая начало войны, я отчетливо вижу — моя война началась именно с этого. Этого пожилого уже мужчину, хотевшего стать партизаном и не успевшего им стать, сразу погибшего, не услышавшего ни одной вражеской пули, мы и жалели, и осуждали, и хотели понять, и не могли понять...

Теперь о том, как для меня кончилась война.

9 мая 1945 года для меня, как и для всех людей, живших тогда на Земле, — день совершенно незабываемый. Я встретил его в Прейсиш Нейштадт (Вейхерево) — городке, расположенном в так называемом «польском коридоре»,

зок, неизбежно близок. Уже ходили слухи о начавшихся переговорах (то ли с нашими представителями, то ли с англо-американскими) о капитуляции Германии, но когда и как это произойдет, никто в действительности не знал. Все ждали какого-то официального и торжественного акта. 8 мая с утра эти слухи усилились.

В эвакогоспитале, в штабе которого я служил в последние месяцы войны, вечером 8 мая никто не ложился спать. Наш радист не уходил от своей радиистанции, из штаба госпиталя, имевшего телефонную связь с какими-то вышестоящими инстанциями, время от времени позванивали туда, но это удавалось редко. Линия была «забита».

Разговоры, разговоры, разговоры... Все были предельно возбуждены. Откуда только брались силы для такого напряжения? Казалось бы, нервы давно истощены до предела, но тут, в этой ситуации, эмоции вспыхнули с новой силой. Вспоминались пережитые военные годы, мечтали о будущем. Оно рисовалось самым радужным — все это заслужили. Хотелось вернуться к семьям, к полузабытым мирным профессиям. Некоторым было некуда вернуться, другие все еще не знали, где родные, что с домом, городом, родным селом. Осталось ли что-нибудь? Лишь далеко за полночь госпиталь — и персонал, и так называемые «ранбольные» (почему-то это звучало в одном слове) — затих. Проснулись мы под утро, но очень еще рано, от общего шума, криков, пальбы. Трудно было сразу понять, что случилось. Кто-то по привычке бросился «в ружье», кто-то выбежал на улицу. И все сразу узнали — по радио прозвучало Правительственное сообщение: Германия капитулировала, объявляется мир. Мы сразу присоединились к ликующей толпе... Все что-то кричали, пели, обнимали друг друга — знакомых и незнакомых. Стреляли в воздух из всего, что стреляло.

Сестры бегали по палатам, обнимали и целовали раненых.

Улица ликовала и почти не замечала мрачного молчания домов, в которых гнездились немногочисленные местные жители — немцы. Кое-где приоткрывались окна и снова в страхе захлопывались. Позже выяснилось, что население было терроризировано геббельсовской фашистской пропагандой, ожидали чего-то вроде «ночи длинных ножей». Перед нашим приходом листовки и газеты, если они еще выходили, «объясняли» населению, что надо бояться не фронтовых солдат, а некоего второго эшелона — это будут «монголы» и «сибиряки», которые учинят всеобщий разгром. Запуганные обыватели приняли нашу праздничную ночь — за ночь входа в город монгольской орды карателей.

Я помню, что только где-то уже утром по крайней мере части населения мы сумели объяснить, что произошло, и они несколько опасливо, но стали радоваться вместе с нами.

Таким мне видятся и сейчас ночь и первый день, который обозначил самое значительное для нашего поколения (вернее: для поколений, переживших войну) событие — конец тяжелейшей войны, великую Победу, переход к мирной жизни, так беспощадно нарушенной в 1941-м. Это было для нас невиданное преображение мира и людей, окружавших нас, и переживалось это с таким подъемом, воодушевлением, порывом, единодушием, гордостью, которые не забываются.

А.М. Сабурова

В ГОСПИТАЛЕ Я ПРОРАБОТАЛА ВСЮ ВОЙНУ И ЕЩЕ ПОЛГОДА

До войны я была студенткой университета. В университете все мы осваивали военные профессии. Я выбрала курсы медсестер. Было много ночных учений, тревог и т.д., и, тем не менее, все мы жили спокойно, даже финская война не внесла больших изменений, хотя были за- темнения, работа в госпиталях и т.п.

22 июня 1941 года я занималась в Публичной библиотеке. Вдруг мы услышали — началась война с Германией. До вечера мы продолжали заниматься, затем разошлись по домам. Утром нас подняли на воскресник. До обеда на Васильевском острове копали окопы. Вернувшись с работы, я успела сдать последний экзамен за третий курс и ушла в свое общежитие. Только я вошла в пустое общежитие, как явился посыльный с повесткой в военкомат. Я тотчас же поспешила туда, не сдав вещей на хранение, оставила даже деньги в чемодане. Из документов взяла с собой только паспорт. Почему-то была уверена, что через десять дней придется возвращаться, в дороге все может потеряться, а в чемодане будет целее.

Итак, с одним портфелем я ушла в военкомат. Там было полно народа. Более суток мы терпеливо ожидали назначения. Несколько раз пересматривали новый тогда фильм «Крутится, вертится шар голубой». Много раз пробовали штурмовать стол усталого пожилого комиссара, требуя скорейшего оформления документов. Он смотрел на нас жалобными глазами и говорил: «Ну куда вы торопитесь, девушки? Идите домой и приходите завтра». Мы



Людмила Михайловна Сабурова, старший научный сотрудник Отдела Европы, кандидат исторических наук, многие годы была директором МАЭ. Младший лейтенант медицинской службы. Участвовала в боях на Белорусском и Украинском фронтах. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

не хотели уходить: надо было поскорее получить назначение. Наконец утром он решил отвязаться от нас и сказал: «Выбирайте — Киев или Смоленск». Мы выбрали Смоленск. На Витебском вокзале с трудом достали билеты по выписанному литеру. Ехали почти сутки до Витебска, вместе с возвращающимися домой отпускниками.

На вокзале в Смоленске попали под бомбежку. К счастью, она быстро прекратилась, мы пошли искать военкомат. Я получила назначение в военный госпиталь. (В нем и проработала всю войну и еще полгода. И только в январе 1946 года демобилизовалась и вернулась в университет.)

Два дня мы скребли и мыли бывшее общежитие Мединститута, устанавливали койки, готовя госпиталь к приему раненых. В первый же день нам еще пришлось помочь городской больнице. Несколько добровольцев, и я в их числе, целую ночь носили раненых и больных в бомбоубежище.

Развернуть госпиталь в Смоленске не удалось. 28 июня жесточайшая бомбежка практически уничтожила город, в основном деревянный. Помню, что, стоя на лестничной площадке, я посмотрела в окно — кругом бушевало пламя. К утру пожары стихли, бомбежка прекратилась. К середине дня мы получили приказ выехать в пригород Смоленска и развернуть там госпиталь. Наш госпиталь формировался в Смоленске. Персонал — в основном местные жители, смоляне. Они хорошо знали город, однако мы очень долго блуждали и не могли из него выбраться. Улицы были перегорожены завалами от сгоревших или еще горящих домов. Город был почти пуст, и только динамики, развешанные по улицам, гремели во всю мощь песню: «Идет война народная...».

В пригороде Смоленска мы пробыли две недели. Наш фронтовой эвакогоспиталь находился на самой передовой, и раненые поступали к нам очень тяжелые. Работы было много, персонала не хватало. Поспать ночью удавалось редко, а если появлялась такая возможность, то уж ни на какие бомбежки никто не обращал внимания.

Бои под Смоленском шли очень тяжелые, кровопролитные, немцы наступали и явным стало наше отступление. Уехали полевые госпитали, расположенные рядом с нами, а мы сидели на месте. Нельзя оставить раненых, а как их эвакуировать? Наконец, в последний момент нашелся транспорт, мы погрузили последних раненых, а сами после многих суток напряженной работы пешком отступали по Смоленской дороге. За ночь прошли 20 километров. Утром расположились в лесу. Подъехал госпитальный автобус, в который вместились большая часть персонала, но не все. Начальник госпиталя пообещал, что автобус вер-

нется за нами. Мы ждали в лесу до вечера. Автобус не вернулся. Бойцы из отступавших частей поинтересовались, что мы делаем в лесу, и, узнав, посоветовали скорее идти пешком, так как мы можем оказаться в тылу у немцев. Мы пошли. По дороге узнали, что конечный пункт нашего назначения — Вязьма. Вскоре мы уже ехали. Водители грузовых машин охотно брали нас на борт, так как при наличии медсестер транспорт считался санитарным и получал преимущества при передвижении. Почти без приключений мы проделали свой путь. Даже Соловьевскую переправу переехали спокойно: бомбежек не было. Но по всему пути видели много убитых. В Вязьме, вернее, около нее в лесу, мы встретили своих медиков, присоединились к ним и получили новое назначение в Котовск под Тамбовом. Это был глубокий тыл. Мы проезжали мимо многих городов, еще не разрушенных. Запомнился почему-то Курск, его гористый пейзаж, магазины, полные разных товаров. В Котовске был большой пороховой завод, который, конечно, бомбили. Мы получили под госпиталь Дом культуры — огромное трехэтажное здание; быстро его обустроили и стали работать. Раненые поступали, их надо было эвакуировать в глубь страны. Один раз после сильной бомбежки завода было много обожженных и их положили в наш госпиталь. Тогда еще не умели лечить тяжелые ожоги, и эта картина до сих пор так и стоит у меня перед глазами. Около двух лет мы пробыли в Котовске. У нас умирало мало людей: во-первых, мы были тыловым госпиталем и смертельно раненные к нам не попадали; во-вторых, мы постоянно эвакуировали наших тяжело раненных (транспортируемых) глубже в тыл. Умерших мы хоронили на кладбище с отдаванием соответствующих военных почестей.

Довольно скоро фронт приблизился и к нам, но не подходил ближе 70 километров. Во время бомбежек раненых полагалось нести с верхних этажей вниз, мы часто не успевали сделать это, да к тому же были такие раненые, которых нельзя было нести и нельзя было оставлять одних. Этого мы никогда и ни при каких обстоятельствах не делали, и чаще всего с ранеными оставалась я.

Когда началось наступление наших войск, госпитали, и мы в том числе, стали двигаться за фронтом, останавливаясь в пунктах назначения на несколько месяцев, пока не откатывался фронт. Обратный путь мы проделали по разрушенной территории. Надо было размещать раненых. В Курской области на станции Ржава сохранились стены бывших конюшен (саманные), которые и были приспособлены под госпиталь. Летом еще было ничего, а когда начались холода, стало худо — нельзя было натопить эти «палаты».

Затем Новгород-Волынский. Город не был разрушен. Была весна, мы даже бегали на рынок. Мы расположились на берегу реки, в замке, превращенном немцами в гестапо. К нам поступала молодежь по мобилизации, но работали они плохо, не хватало нянечек... Последние два года войны — непрерывное движение: свертывание госпиталя и развертывание его на новом месте. А это огромная работа. Надо было подготовить к эвакуации раненых, упаковать все имущество, погрузить его в эшелон и на новом месте повторить то же в обратном порядке.

Когда готовилась и проходила Висленская операция, пунктом нашего назначения стало польское местечко Макшешув. Здесь кроме монастыря и поселка не было ни одного подходящего здания. А госпиталь большой — на 900 человек. Но раненых бывало и значительно больше. И мы получили приказ — зарыться в землю, соорудить землянки для раненых, операционной и т.д. Хотя личный состав госпиталя был большой — 450 человек, но в основном женщины, мужчин было мало, помогали ходячие раненые. Материала для постройки никакого. «Рядом лес — рубите и возите бревна», — сказали нам. И вот на территории монастыря за короткий срок мы соорудили около десятка подземных помещений, в которых на двухъярусных нарах размещались раненые. Под штаб монастырь отдал свой главный корпус, где размещались и сами монахи. Они старались помогать нам, добывали у населения необходимую солому для матрацев и т.д.

На территории Польши госпиталь дислоцировался еще в г. Жешуве. Личный состав в обоих случаях размещался среди населения, и мы воочию увидели колоссальную разницу между деревенским и городским бытом, истинно капиталистическим. Бросались в глаза многие интересные бытовые подробности.

Город Жешув. Хорошо сохранились жилые дома и общественные здания. Здесь мы получили нормальный госпиталь. Жили в благоприятных условиях. Для нас все было в диво: нормальный город, полно мужчин, все хорошо одеты. Смотрели мы на это с удивлением. Наша жизнь была совсем другой. Работали не 8 часов, а гораздо больше и отдыхать было некогда.

Последний наш переход, уже в Германию, отличался от предыдущих. Нам не дали никакого транспорта, мы сдали свое имущество приехавшим на смену другим госпиталям. Отпустили всех вольнонаемных, кто не пожелал ехать с госпиталем, и двинулись дальше на попутных. Весь личный состав разбили на группы, по четыре человека, которые должны были самостоятельно добираться до пункта назначения. Путь предстоял не близкий. В нашей группе я была старшей. В группу

входили медсестра из моего отделения, кастелянша и для охраны нам придали пожилого бойца из выздоравливающих, который, как выяснилось, боялся всего больше нас. Кто кого охранял — оставалось неясным, во всяком случае от него происходили одни неприятности. Его явная трусость определенно не нравилась тем, кто брал нас на машину. У сопровождавшего нас бойца оружия не было, да и вряд ли он владел им. Оружие (пистолет) выдали перед отправкой мне (как оказалось впоследствии, неисправное). Вручая пистолет, комиссар объяснил чисто теоретически, как из него стрелять, подавать патрон из обоймы в ствол, и предупредил, что надо быть осторожной, чтобы не было отдачи. Пистолет поставили на предохранитель и вручили мне. Пользоваться им не пришлось.

Первая же машина с каким-то небольшим грузом охотно взяла нас. Видимо, действовал приказ подбирать бродячие госпитальные группы. Вместе мы проехали бо́льшую часть пути, а затем пришлось снова голосовать, так как нам надо было сворачивать на Бреслау. В каком-то местечке остановились ночевать. Хозяйки, явно немки, выдавали себя за полячек, говорили, что в доме никого нет. Мы заняли две комнаты, в одной были женщины, в другой разместились бойцы. Перед сном шофер попросил: «Дай, Михайловна, пистолет, я пройду проверю, нет ли кого в подвалах и в хозяйственных постройках». Пистолет я дала, он вышел во двор и, вернувшись, сказал: «Не работает». Но все-таки с пистолетом в руках пошли осматривать подвалы: огромные, бетонированные, с расстеленными на полу матрацами. Людей не было. В ночь бойцы по очереди дежурили, только нашему бойцу не очень доверяли, да и он держался отчужденно. Сменив еще несколько попутных машин, добрались до г. Лигница — в 4 километрах от фронта. Лигниц — крупный город и в прошлом крупный фашистский центр — к этому времени был совершенно цел и почти совершенно пуст. Вообще немецкие города, которые нам пришлось видеть, кроме Берлина, в отличие от наших, пострадали мало. Для госпиталя нам отвели школу и большой сад в здании бывшего гестапо, куда мы запросто ходили за смородиной для раненых, заодно проходя по всем когда-то страшным кабинетам гестапо, с разбросанными повсюду делами и документами, орденскими знаками и т.п. Никто не интересовался этим наследием, и бумаги и документы валялись. У нас были уже другие раненые, приближение победы чувствовалось, и раненые рвались обратно в бой. Почти все они были ходячими, так как более тяжелых отправляли сразу в тыл. Рядом с нами находился какой-то официальный центр, где происходили все торжественные городские собрания (поляков), на

которые неизменно приглашали и нас. Впервые мы увидели иной общественный ритуал. Вместо аплодисментов в подходящих местах зал вставал, и трижды громко звучало: «Нех жие, нех жие, нех жие!». В городе стали открываться рестораны. И спустя некоторое время расположился штаб командующего фронтом — К.К. Рокоссовского. Оживалась культурная жизнь, особенно после победы.

В Лигнице мы встретили и день Победы, долгожданный и такой желанный. Здесь находился штаб 2-го Белорусского фронта. Было много офицеров и всяческого начальства. В день Победы отовсюду неслись выстрелы, главным образом, из пистолетов. На улице сразу стало многолюдно. Появились немцы, которые находились где-то в укрытии. По улице ехали коляски с имуществом и вместе с ними немцы. Как смеялись наши офицеры: «Почувствовали победу». В общем появились местные жители. Вскоре военкоматы мобилизовали молодых женщин, и к нам была прислана помощь.

После победы была организована экскурсия в Берлин. Берлин находился всего в 180 км от Лигница, а ехали мы туда целый день. Отличная автострада шла мимо селений, которые оставались далеко в стороне, по обе стороны дороги — ухоженные поля, ровные, ни одного перекрестка, везде транспортные развязки, ни одной машины навстречу, они идут по другой дороге, разделенной с этой грунтовой полосой. К вечеру приехали в пригород Берлина, где и ночевали. Ночевать в Берлине было негде, да и небезопасно.

Пригород поразил нас своей нарядностью, все двухэтажные коттеджи были целы, утопали в цветах и садах, везде розовели и краснели спелые яблоки. Людей почти не видно. Мы ночевали в одном из пустых коттеджей, а утро и день провели в Берлине. Осмотрели рейхстаг, бункер Гитлера, Унтер ден Линден, знаменитый черный рынок. Зрелище было не из приятных. Развалины, на которых копаются немецкие мужчины и женщины, что-то ищут, в сохранившихся подвалах открыты какие-то лавчонки с эрзацами в серых обертках, лениво работают на улицах немцы, передавая по цепочке кирпичи, восстанавливая разрушенное.

В это же время появилось в нашей жизни и искусство, не только кино. Помню один раз в большом театральном зале был такой вечер. Давали оперетту «Жрица огня». На вечере присутствовал командующий фронтом маршал Рокоссовский. В какой-то части была своя самодеятельность, а в составе самодеятельности настоящие артисты оперетты, отец, мать и сын лет 15—16. Ждали Рокоссовского, и после его появления началась оперетта. Прошла она хорошо, мы столько време-

ни не соприкасались с искусством, поэтому хлопали очень сильно. Однажды мы ходили в гости в воинскую часть, которая пригласила нас к себе, дала концерт, сами принимали их у себя.

Полгода после войны мы еще работали с больными, а затем 26 декабря 1945 года меня демобилизовали как студентку, я вернулась в университет.

Мы жили в жестких регламентированных рамках и не день-два, а годы, без отдыха, без отпуска, без выходных дней, все время на казарменном положении, все время, кроме сна, — на работе, а часто и работа вместо сна. Постоянный прием и эвакуация раненых требовали усилий всего коллектива, а происходили они, по вполне понятным причинам, как правило, ночью. Значит, мобилизовывали всех на эвакуацию. То же при тревогах. Нас было все-таки даже по нормам военного времени мало. В моем отделении (300—350 раненых) было всего 25 человек сестер и санитарок. И так в любом месте. И этим малым количеством был обеспечен не только уход и медицинское обслуживание, но и чистота. Здесь закон и требования были железными. В любых условиях, где бы мы ни находились, все в госпитале сияло, начиная с перевязочной и кончая лестницами, курилками и т.п. За чистоту взыскивали больше, чем за что бы то ни было другое. И это понятно — угроза эпидемий была страшнее всего, и основная профилактика — септик и антисептик.

У нас всего было мало: мало места, мало медикаментов, бинтов, а часто не было даже бумаги и чернил. А эти последние были очень нужны, так как о раненых надо было все записать, чтобы с этими документами они пошли дальше. И из всего находили выход. Стирали бинты, это было постоянным занятием дежурных, разводили марганцовку для чернил, писали на газетах между строк. И при всем при том создавали атмосферу, удобную для жизни раненых: своевременная медицинская помощь, хороший уход компенсировали недостатки питания, которые испытывали все в войну, и раненые в том числе. Кроме того, мы все-таки были люди — болели. Те два года, которые мы провели в тылу, мы находились в малярийной местности и почти все переболели тропической малярией, в Курской области — напала какая-то сначала неопознанная хворь, оказавшаяся впоследствии тулярией — особой формой тифа, ну и т.д. А кроме того, надо было всем всему учиться в ходе работы, когда особенно учиться и некогда и когда освоение определенных знаний происходит особенно быстро. Так, в госпитале лишь единицы из врачей были хирургами, остальные — врачи далеких специальностей (педиатры, терапевты, окулисты и т.д.) и

только что получившие дипломы студенты-медики. Все они и довольно быстро освоили хирургию. Первоначально — простейшую обработку ран, а затем и более сложную. И после войны лишь немногие вернулись к довоенной профессии, остальные остались верными своей военной специальности.

Сестер с опытом хирургической работы тоже было мало. Однако в основном сестры имели опыт работы. Что касается меня — опыта хирургической работы никакого, в финскую кампанию я работала в нервном отделении, среди контуженных, и раненых практически не видела. На курсах не было никаких практических занятий, только смотрели, как делать уколы и т.п. Всему этому пришлось учиться на ходу. Месяца через три мне вменили в обязанность выписку лекарства для отделения. Я присутствовала на обходах врачей и должна была выписывать лекарства. Вот уже когда помучилась. Выписывать рецепты надо по латыни, а я по-русски едва могла записать названия лекарства. Первое время эти лекарства мне снились в лицах. Потом освоила и эту грамоту, не говоря уже об уколах, вливаниях, переливаниях крови и т.п. Очень скоро, через 4 месяца, при расширении госпиталя меня назначили старшей сестрой отделения, в штат почти на две трети приняли новых — молоденьких 17-летних девочек, только что окончивших медучилище, которые смотрели на нас уже как на асов и перенимали приемы у нас.

В госпитале создавался удивительно дружный, работоспособный, здоровый коллектив, в котором несмотря на все трудности работалось легко. Атмосфера постоянного поиска, постоянного творчества, освоение новых приемов лечения, стремление к лучшему, к возможно лучшим результатам работы — эта атмосфера была основной, определяющей, воспитывала, подтягивала людей.

Всю войну мы работали, как автоматы, не зная ни сна, ни отдыха. Четыре с половиной года без выходных и праздничных дней, по 16 часов в день. Не говоря уж об отпусках. На отпуск мы только подавали заявление, все деньги, займы мы дарили в фонд обороны. Правда, мы не знали голода, как другие, и впереди нас «волки, как галки» не прыгали...

Из выступления Людмилы Михайловны Сабуровой 6 мая 1974 года:

«День Победы я встретила в Германии, в Силезии. День 9 мая был удивительно яркий, солнечный — в Германии весна наступает намного раньше, чем у нас, — и таким же ярким и ликующим было наше настроение. Весь персонал госпиталя и ходячие раненые высыпали во

двор, все обнимались, стреляли в воздух. Стихийно возник митинг — всем хотелось выразить свои чувства, поделиться радостью.

Вскоре после наступления мира у нас была организована экскурсия в Берлин. Ехали мы целый день на автобусе по пустынной дороге. Это не так далеко, но по тем временам скорее было не доехать. Под вечер мы прибыли в пригород Берлина. Весь следующий день мы посвятили осмотру Берлина. Конечно, первым делом поехали на Unter den Linden, в Рейхстаг. Около него ходили мужчины, главным образом пожилые, инвалиды, и предлагали себя в качестве гидов. Один из таких экскурсоводов-добровольцев показывал нам руины (очертания здания все же сохранились), — объясняя где была приемная Гитлера, где сидели его секретари; бункер, где скрывался Гитлер. Бункер сохранился, все маленькие комнатухи с низкими потолками были целы, но без интерьера, — только телефонная станция уцелела. Воздух был сырой, пахло плесенью, как и полагается в подземелье. Видели мы место во дворе, где был найден обожженный труп Гитлера и его жены.

После победы я еще работала полгода в этом госпитале, и в конце декабря 1945 года меня, как студентку, отпустили учиться».

Май 1974 года

К.Д. Лаушкин

ЗА ВСЮ ВОЙНУ МНЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ УДАЛОСЬ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ



*Константин Дамианович
Лаушкин, старший научный
сотрудник Отдела Европы,
кандидат исторических наук.
Майор. Служил в частях
Краснознаменного Балтийского
флота. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги»
и другими.*

Было это в Петергофе, в августе сорок первого, за несколько дней до вступления немцев в город. В Петергофе было пустынно. Гражданские люди исчезли, а военные были как часть ландшафта или, скорее даже, ландшафты. Дома стояли осиротелыми: окна выбиты, но двери зачем-то заколочены досками крест-накрест. Черные пожарища, развалы кирпичей и бревен. Под ногами крутились какие-то матрасные пружины и визжали стекла.

К городку подступала «чума», это чувствовалось. В ту сторону, где немцы, было страшно смотреть. Страшно не только потому, что они тебя могут убить, еще страшнее потому, что гадостно на душе и тошнотворно, и ужасное противное чувство бесильной злобы. В той стороне немцы делали какую-то серьезную работу: огромные гвозди куда-то вколачивали.

Я был помощником начальника штаба батальона морской пехоты. Сокращение: «ПНШ-2». Это значит — по разведке. Мы шли по городу с моим приятелем, летчиком морской авиации лейтенантом Нестеровым (я был младший лейтенант). Он летал на СБ (скоростных бомбардировщиках) и рядом со мной выглядел как принц: брюки отутюжены, от ботинок разбегаются солнечные зайчики. Мои же морские ботинки были растоптаны, как поршни: от Пяру до Ленинграда путь не близок.

Вдруг нечто совершенно необычное (бомба на голову — это будни). На стене разрушенного дома распялено полотно и в нескольких шагах на солидной треноге лакированный ящик. На лице фотографа был написан ужас от всего происходящего, но он мужественно стоял на своем посту и фотографировал. Офицеры, солдаты, матросы, впрочем, довольно щедро его вознаграждали, однако, еще раз взглянув на мастера, я подумал, что он многим рискует, если у него произойдет непосредственный контакт с «высшей расой».

Фотограф сделал прекрасный для того беспокойного времени снимок, я послал его домой и поэтому он сохранился.



*Та самая единственная
военная фотография.*

Н.В. Новиков

В БОЯХ ЗА БУДАПЕШТ



Николай Владимирович Новиков, старший научный сотрудник Отдела Европы, доктор филологических наук. Капитан. Участвовал в боях на Северо-Западном, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

На последнем этапе Великой Отечественной войны, за три месяца до капитуляции фашистской Германии, 297-я стрелковая дивизия (командир дивизии генерал-майор А.И. Ковтун) в составе войск, действующих в Юго-Западной Европе, вела упорные бои по ликвидации окруженной группировки противника в Буде — части Будапешта, расположенной на высоком правом берегу Дуная. В то время в звании капитана я исполнял должность помощника начальника штаба артиллерии дивизии по оперативной работе. Наш штаб (начальник штаба майор Попов) вместе со штабом и политотделом дивизии (начальник политотдела полковник М. Гальперин (М. Гальперин — ленинградец; до войны работал в Ленинградском горкоме комсомола. Об этом я узнал уже в послевоенное время.)) находился на западной окраине Буды. Здесь же размещались и некоторые другие штабы советских воинских частей и подразделений, а также различного рода тыловые службы.

Выбитый из Пешта и прижатый нашими войсками к Дунаю в Буде противник продолжал оказывать упорное сопротивление. Кровавопролитные, ни на час не затухающие бои шли буквально за каждую улицу, за каждый перекресток, дом, этаж, лестничную площадку. Однако день ото дня вражеский плацдарм неумолимо сужался. Обороняющиеся его несли невосполнимые потери в живой силе и технике. Предчувствуя неизбежность поражения, немцы в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года предприняли отчаянную попытку во что бы то ни стало и любыми средствами вырвать-

ся из окружения. При этом большую надежду они возлагали на скрытность и внезапность выхода к нам в ближайший тыл, чтобы, опрокинув его, открыть себе свободный путь на запад. С этой целью противник воспользовался как подземным туннелем, проложенным от дворца правителя Венгрии Хорти, так и разветвленной сетью подземных коммуникаций города, по которым под покровом ночи [12 февраля] стал поодиночке и небольшими вооруженными группами просачиваться в район нашей дислокации. Но все его попытки выйти из окружения потерпели провал. Вначале гитлеровцы были встречены ружейно-пулеметным огнем наших штабов и служб тыла, а затем на рассвете окончательно разгромлены подошедшими другими воинскими частями.

Утром 12 февраля, кроме участия под руководством Гальперина в работе по массовой приемке пленных, их сортировке, временном размещении и отправке в армейский тыл, мне пришлось в разведотделе дивизии присутствовать на предварительном допросе командующего Будапештской группировкой немцев генерал-полковника фон Пфеффера-Вильденбруха.

Поскольку обстоятельство пленения генерала и его многочисленной свиты, состоящей главным образом из офицеров и унтер-офицеров, получило освещение в мемуарной литературе — генерал-майора А.И. Ковтуна и майора запаса Ф. Копылова [*Ковтун А.И.* 1) Венгерская рапсодия. Симферополь, 1968; 2) Освобождение Будапешта // *Новый мир.* 1971. № 5. С. 183—196; *Копылов Ф.* Белый флаг над вражеским штабом // *Правда.* 1970. 17 марта; переп.: Великая Отечественная война в письмах. Сост. В.Г. Гришин. Изд. 2-е. М., 1982. С. 282—283], я позволил себе коснуться лишь некоторых последующих событий этого дня, участником которых я был и которые не нашли отражения в нашей печати.

...Переступив порог довольно просторной комнаты, занимаемой разведотделом дивизии, я увидел такую картину. Сразу же влево от входной двери на расставленных в несколько рядов стульях, в большой тесноте располагалась основная часть пленных офицеров и унтер-офицеров штаба Пфеффера, другая часть — скученно толпилась у входной двери за последним рядом стульев. Сколько их было, точно сказать затрудняюсь, но не менее ста человек. В переднем углу за столом полукругом сидели советские офицеры; среди них полковник Гальперин (командиру дивизии А.И. Ковтуну, как он пишет в упомянутых воспоминаниях, «увидеть и допросить Пфеффера» самому не пришлось), на противоположной же стороне стола, наискосок от Гальперина и в полуоборот к пленным офицерам, — генерал Пфеффер, а сбоку — на-

чальник его штаба подполковник Линденау, которого вначале мы приняли за гитлеровского политического советника, — угрюмо-молчаливый субъект, не проронивший во время допроса ни одного слова.

Генерал Пфеффер — в годах. Лицо обрюзгое, щетинистое. Внешне — подчеркнуто спокоен. На нем — изрядно помятая и выпачканная в чем-то белом, небрежно распахнутая солдатская шинель, на ногах — обмотки и, не первой носки, ботинки; перед ним на краешке стола — его пилотка.

Чтобы начать разговор, Гальперин раскрыл пачку папирос и протянул ее Пфефферу, затем — его коллеге. Первый, немного помедлив, все же воспользовался предложением и закурил, второй отказался. Отвечая на вопрос Гальперина, каково было положение немецкого гарнизона в Буде в последние дни (допрос велся с помощью переводчика), Пфеффер назвал его безвыходно-катастрофическим: продукты питания иссякли, боеприпасы тоже, а то, что сбрасывалось с транспортных самолетов, было мизерным и к тому же часто попадало в распоряжение Советских войск. Ждать какой-либо иной помощи было неоткуда. И тогда командование пошло на риск, отдав приказ по гарнизону: пробиваться из окружения кто как может. Сам Пфеффер, переодетый в солдатское обмундирование, и офицеры его штаба пробирались от дворца Хорти туннелем, по выходе из которого были обнаружены и пленены...

Далее речь зашла о необходимости беспромедлительного погашения значительного очага сопротивления противника в районе городского госпиталя, откуда доносилась частая ружейно-пулеметная перестрелка, прерываемая временами раскатистым гулом артиллерийских орудий. Обращаясь к Пфефферу, Гальперин сказал: «Вы, я думаю, генерал, согласитесь, что оказываемое сопротивление остатков ваших войск в районе госпиталя — безнадежно. Во избежание дальнейшего напрасного кровопролития с обеих сторон Советское командование предлагает лично Вам обратиться к своим войскам с призывом прекратить бесполезное сопротивление и безоговорочно сложить оружие».

Генерал молчал, опустив голову. Тогда после довольно продолжительной паузы со скамьи пленных поднялся офицер-летчик и заявил, что он готов пойти в госпиталь к «своим» и уговорить их сдаться, но при условии, если на то будет дано согласие командующего. В ответ на это кто-то из советских офицеров бросил реплику: «Плен освобождает вас от подчинения своему командующему!» Однако летчик упорно продолжал настаивать на своем. В конце концов такое согласие было дано,

и Пфедфер тут же на листе бумаги написал требуемое обращение-приказ. Вслед за этим была образована парламентерская группа в составе четырех человек. В нее вошли: от пленных немцев, кроме упомянутого офицера-летчика, обер-лейтенант, от нас — старший лейтенант (фамилию не помню) и автор этих строк.

Включенных в нашу группу немцев мы прежде всего накормили и, повязав нарукавные белые повязки, отправились к госпиталю. Шли по середине широкой, длинной и прямой улицы, обсаженной деревьями и носящей свежие следы отгремевшего ночного боя: тут и там на дороге и на ее обочинах попадались рассыпанные стреляные гильзы, немецкие каски, противогазы и другое военное имущество, трупы убитых немцев. Со стороны наша маленькая процессия, вероятно, выглядела не совсем обычно, пестро. Во всяком случае встречные армейцы, поравнявшись с нами, каждый раз останавливались и смотрели на нас с явным любопытством и недоумением: возможно ли, чтобы в такое-то время советские и немецкие офицеры шли бы вот так рядом и мирно. И куда? — на передовую! Особенно их внимание привлекал черноволосый небольшого роста и до вертлявости подвижный офицер-летчик, черный китель которого был густо обвешан гитлеровскими орденами и медалями.

Наша группа находилась примерно на полпути к госпиталю, когда шум боя начал там заметно спадать. Сначала умолкла артиллерия, потом реже и реже стала ружейно-пулеметная перестрелка. Наконец прозвучал далекий одиночный выстрел. Последний крупный очаг сопротивления немцев в городе пал, о чем нам сообщили бойцы, возвращавшиеся из района госпиталя, и потому, естественно, необходимость в нашей посреднической миссии сама собой отпала.

* * *

Н.В. Новиков, находясь на фронте, сделал много интересных записей. Это десятки тетрадей, содержащих около пятисот писем, рассказов, стихов, пословиц, поговорок, крылатых выражений.

...На наблюдательном пункте, на огневых позициях артиллерии и минометов, во время боя и в часы затишья в штабе, в окопе, в блиндаже, в землянке, в пути — всюду я прислушивался к голосу фронтовика и заносил в блокнот то, что казалось мне сколько-нибудь значительным, интересным, что выражало мысли, чувства, настроения воинов Красной Армии, было связано с исторической традицией нашего народа. Вот некоторые из них:

Пословицы и поговорки

«Кто не несет урон врагу, тот у Родины в долгу».
«На то и артрразведка, чтоб бить метко».
«От бомбежки протягивают ножки».
«Чем ближе на Запад, тем ближе к дому».
«На второй фронт надейся, а сам не плошай!».
«С миру по нитке — Гитлеру петля».
«Закурим табачку тертого, помянем живого и мертвого».
«Карауль Бог, караульный спать лег».
«За столом парит орлом, а на “огневой” — мокрой курицей».

Из фронтовой терминологии

«Мария Ивановна», «Катерина Ивановна», «Катюша» — минометная установка реактивного действия.

«Андрюша», «Жених Катюши» — установка тяжелых минометов реактивного действия.

«Уточка», «ХНБ» (хитрый ночной бомбардировщик).

«Керосинка», «Огородник», «Кукурузник» — самолет У-2.

«Старшина дорог» — автомашина «Студебеккер».

«Дурило» — немецкая минометная установка реактивного действия.

«Стервятник» — самолет противника.

«Костыль», «Горбыль» — немецкий самолет-разведчик.

«Музыкант» — немецкий пикирующий самолет.

«Макаронник», «Штанина» — немецкий самолет Фокке-Вульф 189-02.

«Хлопалка», «Фур-дур» — немецкий ночной бомбардировщик.

«Собака Гитлера» — немецкий шестиствольный миномет.

«Хозяйство» — батарея, полк, соединение.

«Бал», «Свадьба», «Концерт», «Представление» — наступление.

«Глаза» — артиллерийский наблюдательный пункт.

«Самовары» — минометы.

«Нитка» — телефонный кабель.

«Огурцы» — снаряды, мины.

«Роман—Ольга» — расход, остаток.

«Борис» — бронебойный снаряд.

«Ольга» — осколочно-фугасный снаряд.

«Играть», «Петь» — вести огонь из Катюши.

«Утюжить» — бомбить, обстреливать.

«Прижимать чертика» — поспать, отдохнуть.

«Танкетки», «Автоматчики» — вши.

«Блондинка», «Бледнолицая красавица» — пшенная каша.

«Шрапнель» — перловая каша.

ДВА ОЧЕРКА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ¹

Поезд Верховного

Я с детства помню вагоны царского поезда, где Николай II вынужден был подписать отречение от престола. Их можно было видеть на вокзале в Детском Селе. Я знал тогда, что это была часть поезда для Верховного, созданного в дни войны 14-го года. Эти классные вагоны неизменно интересовали меня и будили воображение.

Но если бы мне кто-нибудь сказал, что я сам, будучи взрослым, буду принимать участие в чем-то подобном... Однако именно так и было в первый месяц Отечественной войны.

Я служил в отдельном батальоне при Научно-исследовательском Институте связи и секретной техники с октября 1940-го. До печально знаменитых дней октября 1941 года я был под Москвой в этой весьма привилегированной части.

В один из дней начала июля на грузовой машине небольшая группа солдат (в их числе был и я) поехала в Москву. Никто из нас не знал, куда и зачем мы едем. Мы приехали на станцию метро «Сокол». Тогда она была, как мне кажется, единственной наземной станцией метро. В бо-



Эмиль Евсеевич Фрадкин, научный сотрудник Отдела археологии, кандидат исторических наук. Участвовал в боях на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

¹ Эмиль Евсеевич Фрадкин при жизни начал писать воспоминания о днях Великой Отечественной войны. К сожалению, закончить их он не успел. Сказались последствия тяжелого ранения. В его архивах сохранились отдельные наброски, в том числе данные очерки, любезно предоставленные женой и братом Э.Е. Фрадкина. — Ред.

ковом туннеле я увидел несколько товарных вагонов, блестевших ярко краской. Внешне, если бы не краска, они ничем не отличались от самых обычных «телятников». Когда мы вошли в один из них, то оказалось, что мы попали в великолепно оборудованный салон. Именно в нем и предстояло нам монтировать узел связи для Верховного. Все было сделано за два дня. И в эти два дня мы узнали, что каждый из нескольких вагонов имел свое назначение, а весь поезд мог быть совершенно автономным от всего окружающего. У него была своя электростанция, спальный вагон, вагон для охраны, склад продовольствия, вагон для заседаний, вагон для сопровождающих Верховного — аппарата Генштаба.

Никогда ни в какой мемуарной литературе я ничего не слышал и не читал об этом поезде... Но в 1944 году, когда в последний раз был ранен и лечился в Москве, я обратил внимание на то, что на станции метро Кировская, поезд проскакивал без остановок. Тогда я узнал, что в это время поезд, нами смонтированный, стоял там и использовался Верховным особенно в дни бомбежек Москвы летом 41-го.

Первый бой — Последний бой

Это было осенью 1943 года. Был я тогда командиром взвода автоматчиков пехотного полка. Шли бои на правом берегу Днепра, южнее Киева в районе города Переяславля-Хмельницкого. Только через 32 года, в апреле 1975 года, я впервые узнал, когда приехал на отчетную полевою археологическую сессию, что в истории Великой Отечественной войны этот район получил название Букринского плацдарма.

Роты автоматчиков в пехотных полках использовались самым различным образом — на охране штаба, для закрытия брешей на переднем крае, для прорыва переднего края, в так называемых «боях местного значения». Нередко такие роты просто были резервом командира пехотного полка стрелковой дивизии. Я часто вспоминаю один эпизод этого времени, свой первый бой...

...В это утро от роты практически осталась полурота — человек сорок, может быть с небольшим. Командир роты был вызван в штаб, а из офицеров я был один и таким образом остался за старшего. Еще ночью нас сняли с переднего края, где мы затыкали брешь в боевых порядках полка, и мы были переведены в резерв. Посланный из штаба полка передал мне распоряжение перевести полуроту в район штаба для охраны. Он сам послужил нам проводником и указал место, где

мы должны были залечь. Я использовал воронки и расположил солдат. Прошло какое-то время, и над нашими головами один за другим начали разрываться какие-то снаряды. Через две-три минуты я понял, что это шрапнель.

Особенности шрапнели заключаются в том, что ее осколки не имеют никакой траектории и падают отвесно. Укрыться от шрапнели можно только под навесом или в глубоких ходах сообщения с подбоями.

С первых же минут начала таять моя полурота, начался ропот... «Что же нам тут помирать всем, младшой. Младшой, уходить надо, пока всех не положили...» — со всех сторон слышал я. Но уходить было некуда. Мы были обязаны охранять штаб. Бои на Букринском плацдарме носили очень острый характер, с частыми контратаками, с взаимными прорывами переднего края.

Прошли первые пять или шесть минут, а у меня уже более десятка раненых. «Что делать? Ведь побегут!». Надо иметь в виду, что среди автоматчиков в 1943 году обычно больше чем где-либо были значительные потери, и в этот день в составе полуроты было много вновь прибывших солдат. Именно поэтому у меня возникла идея. Я вылез из воронки и стал прохаживаться вдоль по расположению полуроты. Шли одна за другой минуты... Шрапнель рвалась по-прежнему над головами солдат, но ропот стал затихать. Солдаты видели своего командира целым и невредимым. Теперь с разных сторон я слышал новые возгласы: «Младшой, младшой, залазь в воронку не так бьет». Не знаю, сколько минут я ходил среди своих солдат в полный рост. Вспоминая все сейчас, думаю, что это продолжалось несколько минут, не более пяти, пока кто-то не схватил меня за полы шинели. Я упал и скатился в воронку. Кто-то страшно выругался: «Ты что, младшой, а ведь убить могли»... Я понимаю, что такое бывает только в романах, но ТАК БЫЛО. Артналет кончился также внезапно, как начался... но полурота почти растаяла. У меня осталось не более 25 здоровых бойцов.

Через час нас бросили в очередную брешь, а осталось нас только пятеро. Утром я отправился в тыловые порядки дивизии, которые были километрах в трех у деревни Трактористы набирать новый взвод. (Лишь много лет спустя я узнал, что на самом деле деревня называлась Трахтомировка, а солдаты исказили это название. Когда я побывал на этих местах в апреле 1975 года, мне очень хотелось посетить эту деревню, но, к сожалению, не получилось.)

А вот другой эпизод. Отправляя меня в бой, начштаба полка сказал: «Поведешь людей встык первым и вторым батальоном. Там нем-

цы контратакуют наших. Людей нет, командир роты остается в штабе. Ты должен идти на деревню Ромашки. Как выйдешь на передний край, увидишь разрушенную мельницу. Вот дуй до нее. Понял?».

В стереотрубу на командном пункте полка виднелась мельница, но сейчас, когда я вел людей балками и оврагами к переднему краю, ничего не было видно.

Вот, наконец, и передний край, ни справа, ни слева ничего не видно. Бойцы по команде начинают вылезать на гребень. Ползем дальше. По-осеннему светит солнце, мало грея, но нам не холодно. Нервное напряжение дает о себе знать. Тишина. Ни одного выстрела. Мелкие, наспех кем-то вырытые окопы, заполняют ползком солдаты полуроты, прочно распластавшись на земле. Я начинаю оглядываться. Вот они, полуразрушенные крылья мельницы. До них далеко, километра полтора. А где немцы? Вот они. Их окопы совсем близко, метров двести, наверно. Медлить нельзя. Враги еще не успели нас заметить. Нужно поднять людей, но как трудно это сделать! Невыносимо трудно подняться с земли, она, как магнит, притягивает все тело, сковывает волю...

Я с трудом вскакиваю на ноги. «За мной, — кричу. — Вперед!». Проходит какая-то доля секунды, а может и несколько секунд. Я стою один, бойцы полуроты еще не поднялись. И в тот момент, когда они уже на ногах, и увлекаемые неведомой силой, которую только способно внушить могучее «Ура!», бегут навстречу врагу, тут раздается одиночный выстрел. Я медленно сажусь на землю, ничего еще не понимая. Проходит какая-то доля секунды. Я пытаюсь встать и с удивлением обнаруживаю, что сделать этого не могу. Под шинелью и гимнастеркой течет что-то горячее, обжигая грудь.

«Младший лейтенант, вы живы?» — это кричит мой связной, молодой двадцатилетний парень, тоже невысокого роста, крепкий, широкий в кости Ванюша Брагин. «Жив», — еле слышным голосом отвечаю я. «Почему я встать не могу, куда девался голос?». Видя, что силы начинают оставлять меня, Ванюша быстрым движением расстегивает ремень, снимает гимнастерку, вот откуда течет кровь, чуть пониже ключицы, с правой стороны.

«Младший лейтенант, вы ранены в грудь. Моим пакетом ничего не могу сделать, где ваш пакет?» — я слышу, но ответить уже ничего не могу. Сознание покидает меня...

Когда я очнулся, понял, что наши войска отступили, а я оказался на ничейной земле между позициями наших и немецких войск. Немцы приближались... Одна мысль сверлила мозг: «Только бы не достаться им живым...» Мне, советскому офицеру, еврею, нельзя попасть в

плен. Из последних сил я вытащил револьвер, чтобы разрядить его по врагу, а последнюю пулю пустить себе в лоб. Но в этот момент кто-то сильно схватил меня за руку: «Что ты делаешь, младшой?!». Это был мой вестовой. Оказывается, наши войска пошли в контратаку. А меня санитары вынесли с поля боя... перевязочный пункт размещался в старой церкви, но до нее было не дойти своим ходом... Не все дошли. Церковь была совсем не приспособлена для медицинских целей, не хватало даже воды. Оттуда меня отправили в госпиталь в город Мичуринск. Смутно донеслись слова врача о вероятном летальном исходе... Это было мое первое тяжелое ранение в правое легкое, пулевое, навыворот...

Лишь много позднее я узнал, что плацдарм, на котором полегло столько людей, был ложным, отвлекающим внимание немцев от настоящей переправы основных наших сил через Днепр. А тогда... Тогда, выжив вопреки всему и подлечившись, я снова отправился в действующую Армию. Меня послали на 3-й Белорусский фронт и назначили командиром взвода автоматчиков танкового десанта. Танки подавляли огневые точки врага, а десантники, соскочив с танков, добивали солдат противника. Наши передовые части, стремительно наступавшие, несли при этом большие потери: 75 процентов солдат выходило из строя за две недели.

Я снова был ранен. Пуля задела плечо и руку. Меня эвакуировали с поля боя, и я оказался в госпитале в Москве. И здесь, как бывает только в романах, — неожиданная радость — встреча с отцом и младшим братом. Отец воевал на Ленинградском фронте, освободившись по приказу о демобилизации научных работников, приехал в Москву за братом.

Я был признан инвалидом и вскоре тоже был демобилизован.

Осенью 1944 года я поступил на первый курс исторического факультета Ленинградского государственного университета.

Н.М. Федоров

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО — МЫ ОБЛЕГЧИЛИ ДЕЙСТВИЯ НАШЕЙ ПЕХОТЕ



Николай Матвеевич Федоров, заместитель директора по административно-хозяйственной части. Полковник авиации. Воевал на Западном, 4-м Украинском и 2-м Прибалтийском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Осень 1943 года. Войска 4-го Украинского фронта ведут ожесточенные бои за Мелитополь. Враг упорно сопротивляется. Спешным порядком он подбрасывает по железной дороге боевую технику: танки, самоходки и артиллерию.

Перед нами поставлена задача — сорвать железнодорожные перевозки противника. Эта задача возложена на нашу 289-ю штурманскую авиационную дивизию, где я был заместителем командира.

Как сейчас вспоминаю день, мало чем отличающийся от других. Яркое утреннее солнце весело и мягко разлилось по аэродрому. Свежий ветерок шелестит ветками густых акаций, сплошной стеной окружавших КП полка, где я уже с утра находился, чтобы руководить боевой работой штурмовиков. Совсем мирная, домашняя тишина, даже не верилось, что совсем рядом идет война, тяжелая, кровопролитная.

Летный состав тоже давно уже на аэродроме, ждут, как всегда, боевой задачи. Вдруг какой-то тревожный телефонный звонок. Беру трубку. На меня как-то озабоченно смотрит командир полка Герой Советского Союза подполковник Рябчевский. Я, слушая, узнаю голос командира корпуса генерала Филина:

— Федоров! Нужно срочно подготовить восьмерку штурмовиков. Очень важная вражеская цель. Нужно ее разгромить!

Я внимательно слушаю генерала, а у самого сверлит мысль: «Вот случай самому сводить эту восьмерку и “долбануть” фрицев».

— Товарищ генерал! Разрешите я сам поведу восьмерку!

— Сам, сам! Ты слушай лучше задачу, где и что. Бери лучше карту. Я взял карту.

— Южнее Мелитополя, — продолжал Филин, — наша воздушная разведка сегодня на рассвете обнаружила и сфотографировала два железнодорожных эшелона под парами. Они готовятся под разгрузку. Необходимо их настигнуть на станции и уничтожить, не допуская до Мелитополя. Пойдете восьмеркой. Все ясно?

— Ясно, — ответил я. — Так разрешите я свожу восьмерку!

Генерал молчал почти полминуты.

— Ну, ладно. Не сидится тебе. Ну, веди, да будь осторожен. Учтите, что цель сильно прикрыта зенитными средствами.

— Все понятно. Думаю скрытно, на бреющем полете подойти с Азовского моря и произвести штурмовку с хвоста.

— С «хвоста», говоришь? Это идея. Одобряю. Сейчас 7 часов 20 минут, продолжал генерал. Эшелоны обнаружены в 6 часов 15 минут. 20 минут хватит на подготовку?

— Хватит!

— Ну, давай, давай. Жду хороших результатов.

Рябчевский слушал мой разговор, прикидывал в голове: кого назначить на взлет.

— Товарищ полковник! Возьмите группу старшего лейтенантка Кравцова, отличная восьмерка!

— Добре.

Я надел шлемофон, взял планшет и вышел к сидевшим летчикам у большого дощатого стола.

— Кравцов! Посмотрите свою группу. Я сейчас объясню боевую задачу. Построенной группе я детально объяснил боевую задачу: маршрут полета и тактику его выполнения.

Взлет в 7 часов 40 минут. Влетаем парами. Сбор группы на летном круге.

Запиш обернулся к своему воздушному стрелку — сержанту Ветеркову.

— Тщательно проверь пулемет, работа предстоит большая.

Вскоре моя группа была в сборе и бреющим полетом я повел ее строго на юг.

Под нами стремительно мелькают небольшие хутора сел. Я снижаю самолет все ниже и ниже. Удар должен быть нанесен внезапно, скрытно, с большой точностью.

Идем над водой Азовского моря. Утреннее море — красотища-то какая!

— Курс триста сорок, — передаю я по радио.

Вот и железная дорога, строгой линией бегущая на север, сливаясь с горизонтом степи.

— Я «Сосна»! Скоро цель. Будьте все внимательны.

Но летчикам об этом можно было и не напоминать. Они и так до предела внимательны.

Вижу впереди длинные ряды красных вагонов, платформы и приземистые станционные пристройки.

— Милые! Идем в атаку! — подаю я команду.

В следующее мгновение мои «ильюшинцы» обрушили всю мощь своего огня на вражеские эшелоны. На станции паника. Противовоздушная оборона молчит: враг захвачен врасплох.

С высоты 400 метров выбираем наиболее важные цели. Мои штурмовики теперь сбрасывают свой смертоносный бомбовый груз: по 400 кг каждый «Ильюшин». Производили атаку за атакой. Враги не противодействуют. Внизу хаос. Все кругом в огне. Воздух потрясают взрывы. Это рвутся боеприпасы. Горят танки, самоходки на платформах. Мы делаем шестую атаку. Смотрю в форточку. Слева мои летчики уже охотятся за целями. Выходим из шестой атаки. Замечаю, что с северо-запада приближаются к пожарищу несколько черных точек: «Успели вызвать “мессеров”», — мелькнуло у меня в голове. Но теперь уже поздно.

Строго в эфир даю команду: «Я “Сосна”! Ко мне! Идем домой!».

Группа собралась и мы развернулись к своему аэродрому. На сердце было радостно от такой удачной штурмовки ненавистного врага. Ему нанесен решающий удар, уничтожено много боевой техники и боеприпасов. Теперь им «не доехать» до Мелитополя. Мы облегчили действия нашей пехоте.

А скоро мы приземлились на своем аэродроме. Вечером из штаба корпуса полк Рябчевского получил благодарность, а я моральное и радостное удовлетворение.

А.А. Викторова

МНЕ ДОВЕЛОСЬ СЛУЖИТЬ ВОЕННЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ

Для человека моего поколения, всю жизнь связанного с Ленинградом, его жизнь, как правило, делится на «до войны» и «потом», когда началась война, блокада, эвакуация, служба в армии — фронт, а затем нелегкие послевоенные годы.

В 1940 году я окончила школу и поступила на кафедру монгольской филологии Ленинградского государственного университета. Все восточные языки и литературы в то время изучались на соответствующих кафедрах филологического факультета. Традиционно 1 сентября весь первый курс приобщался к взрослой жизни, к студенчеству, присутствуя на лекции декана филологического факультета профессора А.П. Рифтина, читавшего курс «Введение в языкознание». Навсегда запомнились первые слова его обращения к первокурсникам: «Дети мои...». Впоследствии Александр Павлович Рифтин, читавший курс языко-

знания по Марру, с яркими примерами «классовости языка», такими, как «юная дева трепещет» (дворянский язык) и «молодая девка дрожит» (язык угнетенных масс народа), народной этимологии заимствований («полуклиника» — поликлиника, «спинжак» — пиджак и т.п.), увлекавший нас этими новыми тогда мыслями, всем отношением к нам, студентам, в тяжелые времена блокады и эвакуации показал, что его слова «дети мои» не были только словами, а выражали суть его отношения к нам: многие остались живы благодаря ненавязчивой, но действенной заботе нашего декана во время блокады и эвакуации.



*Лидия Леонидовна Викторова,
студентка филологического
факультета ЛГУ. Младший
лейтенант административной
службы. Переводчик
на 2-м Украинском фронте.*

На монгольскую кафедру я поступила под влиянием А.В. Бурдукова. Незадолго до выпускных экзаменов к нам в школу приехал Алексей Васильевич и рассказал о монголоведении. В школе меня привлекали гуманитарные или естественные науки. Беседа А.В. Бурдукова определила выбор. Родители, желавшие, чтобы я стала по семейной традиции врачом, не препятствовали выбору гуманитарной профессии: о том, что я сдам экзамены на филфак, знали, но выбор востоковедной специальности был для них сюрпризом.

Кафедру монгольской филологии возглавлял тогда Н.Н. Поппе, высокий сухощавый человек, который вел преподавание монгольского языка лишь начиная со второго курса, а первокурсников пока не замечал. По его грамматике старописьменного монгольского языка мы учились. Профессор Сергей Андреевич Козин начинал нашу специальную подготовку первой лекцией — курсом «Введение в монголоведение». Он же вел и занятия по старописьменному монгольскому языку. На языковых занятиях мы за два часа прочитывали шесть строчек текста, но каждое слово и каждая его часть были всегда проанализированы нашим учителем: где, когда впервые, в каком письменном памятнике этот элемент слова и само слово встречаются, в каких значениях, как изменяются во времени. Так Сергей Андреевич соединял фундаментальное изучение языка с его историей и источниковедением. Во «Введении в монголоведение» мы узнавали о замечательных исследователях не только Монголии, но и Центральной Азии, многих из которых С.А. Козин лично хорошо знал. В начале века он работал сначала среди калмыков, организуя обучение детей и изучая нужды народа, в период автономии (1913—1919 годов) трудился над упорядочиванием финансовой системы Монголии, где вводил определенный налог (его так и называли «хошин») вместо произвольных поборов. К началу 40-х годов С.А. Козин, сотрудник Института востоковедения АН СССР и профессор университета, опубликовал переводы и исследования основных, крупнейших памятников литературы и фольклора монгольских народов: «Гесериаду», «Джангариаду» и выпшедшую в начале 1941 г. первую монгольскую летопись 1240 года «Сокровенное сказание». Невысокого роста, полный, круглолицый, с коротко подстриженными волосами, тогда еще темными, и аккуратной щеточкой усов, он создавал в аудитории атмосферу спокойной доброты, в которой ученье шло в охотку, и самые сложные разделы курса с интересом и легко усваивались.

Алексей Васильевич Бурдуков — высокий, чуть сутуловатый, с остатками отросших седых волос на голове и длинными пышными «ка-

зацкими» усами — вел практические занятия по разговорному монгольскому языку по составленному им разговорнику, а также много времени уделял нашему студенческому научному обществу, в котором мы делали рефераты: каждому поручали прочесть какой-либо из трудов исследователей Монголии или шире — Центральной Азии и прочесть по нему доклад или просто рассказать на собрании студенческого нашего кружка. Очень многое при этом нам пояснял сам Алексей Васильевич, который с юных лет сначала служил в Монголии, а затем образовал русско-монгольское товарищество (типа артели или кооператива) в Западной Монголии. Он с семьей много лет жил в Монголии, оказывал местным жителям большую помощь, прекрасно знал жизнь населения, его обычаи, нравы, а также фольклор и литературу. Будучи в Монголии, он переписывался со многими крупными учеными-монголооведами, собрал большую библиотеку монгольских сочинений и трудов о монголах. Он и сам публиковал небольшие заметки и статьи этнографического характера, а ученым-моноголооведам, приезжавшим в страну, оказывал гостеприимство и помогал в сборе материалов (об этом с благодарностью вспоминали академик И.М. Майский, Б.Я. Владимирцов и др.). С нами он щедро делился своими знаниями, и от него мы узнавали в изустной передаче массу интереснейших сведений, которых ни в какой книге не найдешь. Обладая богатым жизненным опытом, Алексей Васильевич часто передавал нам как бы между прочим, советы, мудрость которых мы смогли оценить только со временем. Но авторитет внимательного к нам учителя располагал к тому, чтобы следовать его советам, продиктованным заботой о нашем благополучии. Таисья Алексеевна Бурдукова — дочь Алексея Васильевича — молодая, тоненькая, изящная женщина с темными глазами и чуть монгольского типа прелестным лицом преподавала нам язык современной прессы (хотя еще и на старой графике, новый алфавит на основе кириллицы ввели позже). Выросшая в Монголии Т.А. Бурдукова и по-русски говорила с западномонгольским акцентом, сокращая гласные звуки. Очень живая, на немного старше нас, она часто с увлечением описывала нам различные сценки из монгольской жизни, делилась своими воспоминаниями о стране. Кроме университета Т.А. Бурдукова работала в Институте востоковедения. Там же был сотрудником и наш преподаватель Василий Дмитриевич Якимов, читавший нам курс географии. Мы часто приходили к нему в Институт, где на пятом этаже Библиотеки АН были две или три маленькие аудитории, куда Василий Дмитриевич приносил нам книги по страноведению, которые мы там читали, засиживаясь по вечерам. Сравнительно молодой, всегда бод-

рый, с подкупающей товарищеской манерой обращения, носивший зимой неизменные унты Василий Дмитриевич приучал нас к работе с книгами, со специальной литературой, характеризующей природу страны.

На кафедре было принято звать студентов по именам, держать по отношению ко всем равно уважительно-доброжелательный тон. Это создавало нам, только что пришедшим первокурсникам, атмосферу полусемейную. Надо ли говорить, что мы платили нашим наставникам самой искренней благодарностью и старались, что называется, не ударить лицом в грязь на зачетах, экзаменах и просто занятиях.

Кроме специальных дисциплин в общем потоке с филфаком мы слушали лекции по античной истории, литературе, русскому языку, марксизму, изучали немецкий язык и занимались физкультурой. Причем, занятия языками и физкультурой были обязательны (отмечалось присутствие), а для лекций было свободное расписание, т.е. зачет или экзамен сдавать было надо, а лекции можно было не посещать, а готовиться по книгам. Нужно ли говорить, что мы широко этим пользовались, посещая только лекции таких прекрасных лекторов, как академик И.И. Толстой, бегая на истфак слушать блестящего Е.В. Тарле, иногда посещали занятия И.Ю. Крачковского, словом, было кого слушать и у кого учиться. На филфаке в то время было много ярких и талантливых ученых, обладавших широкой эрудицией, владевших в полной мере ораторским искусством, ценивших шутку и острое слово. По части остроумия не отставали и студенты: «Окунь на экзамене превращается в щуку» (о профессоре русской истории Окуне) или «сдал “хвост” и сажу на языке» были обиходными.

Непринужденная обстановка филфака проявлялась и на студенческих вечерах, где, собравшись в бывшей 26-й аудитории, под гитару пели любимую «Бригантину», особенно нажимая на куплет: «Мы пьем за ласковых, за непохожих, за презревших грошовой уют», шутившую «Одессу-маму» и филфачного сочинения куплеты-частушки: «В деканате моль летает, Жигули вы Жигули, сам декан ее гоняет, эх до чего ж вы довели...». Повседневная жизнь в перерывах между лекциями, естественно, была связана со студенческим буфетом, в котором всегда были чай и свежие теплые сдобные булочки. Буфетчик Женя — молодой еще приветливый брюнет — хорошо знал нужды студентов и за несколько дней до стипендии отпускал булочки и чай на слово, в долг. Не было случая, чтобы после стипендии долг кто-нибудь не вернул.

Все эти приятные стороны жизни не мешали требовательности и, где полагалось, строгости: отчисление за три пропуска без уважительных причин занятий физкультурой, за «хвосты» — несданные вовремя

зачеты и т.д. Нравственный климат, его здоровье определяла наша сильная комсомольская организация, секретарем которой был Сережа Максимов. Он уже воевал, был в армии в недавней финской войне. Его крепкую фигуру, открытое светлоглазое лицо, шапку русских волос, аккуратно и без затей подстриженных, всегда было видно в разных точках факультета. Членом бюро была и живая, ироничная и сердечная вместе с тем, китаистка Ляля Фишман, которая была поверенной многих девичьих тайн и тактично урегулировала иногда возникавшие интимные конфликты. Большую роль в моральном климате факультета играли уже самим своим присутствием вернувшиеся из Испании интербригадовцы — студенты старших курсов — Готя Степанов, Додик Франкфурт и др. Они, как и все, учились, но в наших глазах были окружены ореолом недавней борьбы с фашизмом. Они были примером. В ведении комсомольцев в основном была и «стенная пресса» — стенгазета, каждый свежий номер которой облепляла толпа. Иногда наиболее интересные абзацы прочитывали вслух, тут же обменивались мнениями, спорили. Помню, как в стенгазете жестко критиковали за декадентские настроения опус какой-то из филфачных поэтесс, в котором были такие строки: «Я прижалась к окну, словно греза Вертинского, кокаином распятая на туманном стекле»...

Наша группа первокурсников-монголистов «поэтической» не была. Стихи писал, кажется, только Толя Толокунский. Мы же все были поглощены освоением новых для нас дисциплин. Сейчас, по прошествии столько лет, уже забылись большинство фамилий и даже лиц. Помню лишь Валю Решетникову из Улан-Удэ, Толю и Сашу Кочеткова (ленинградцев). Вообще большинство группы были иногородними. Учились мы все старательно, с интересом, сессии сдавали без троек, а весеннюю сессию 1941 года наша группа сдала досрочно, почти на одни «пятерки».

В конце июня 1941 года я должна была поехать в гости к тете на Кавказ. Но в воскресенье 22 июня планы на будущее кончились. Началась война.

Помню, как я прибежала в университет, где был митинг. Для нас, девушек, хотевших что-то делать, не стоять в стороне, организовали трехмесячные курсы медсестер запаса, и начались занятия. Вскоре занятия были прерваны, и мы отправились рыть окопы и траншеи. Нашим отрядом руководил доцент Александр Григорьевич Дементьев, преподававший литературу советского периода. Комиссаром отряда был доцент географ Владимир Максимович Вольпе. Трудно представить двух столь внешне различных людей: А.Г. Дементьев — крупный здоровяк-

волжанин, с уже тогда заметным брюшком, с окающим говором, добродушный оптимист, со всегда готовой шуткой для ободрения приунывших, но энергичный и умевший трезво оценить обстановку. В.М. Вольпе обращал на себя внимание тонкими чертами лица и огромными темными лучистыми глазами, которые загорались лишь когда предмет разговора становился ему интересен или собеседник вызывал симпатию. Хрупкий, рядом с А.Г. Дементьевым, он отличался чуткостью и деликатностью в обращении с нами. Оба они пользовались уважением и опекали вверенных им ребят, прекрасно дополняя друг друга.

Рытье окопов было тяжелым занятием, да и для большинства — непривычным. От черенков лопат вздувались мозоли, руки болели, к вечеру было не разогнуться. Но постепенно втягивались, и все работали ровно и не жаловались. Спали на сене в каком-то казенном помещении на полу. Кормили нас кашевары, но чем — не запомнилось: не этим тогда жили. Был июль, и мы больше следили за новостями с фронтов. Через какое-то время по окончании работ мы вернулись в город, и снова начались курсы. Преподавали нам врачи из соседней клиники Отта и из каких-то других больниц.

Вскоре мы вторично отправились на оборонные работы. Долго ехали на паровичке, затем выгрузились и по лесной дороге пришли в деревушку, где и разместили нас в клубе: парней (студенты старших курсов, аспиранты, имевшие бронь) — в зрительном зале, а девушек — на сцене за занавесом. Предварительно мы натаскали соломы. Нашим начальником снова был А.Г. Дементьев. Место, где мы должны были сооружать противотанковые рвы, было в шести километрах от деревушки, в дивном сосновом бору, где одна красивее другой стояли мачтовые сосны, вблизи было торфяное озеро с черно-коричневой водой, пить которую было нельзя: неосторожные поплатились расстройством желудка. Была жара, воду носили из деревни из колодца (за шесть километров). В виде отдыха посылали двух человек с бачком, надетым на жердь. Путь до деревни, до колодца, шел по лесу с встречавшимися местами красными коврами земляничных полей. С пустым бачком это был отдых. Но обратный путь казался намного длиннее, хотя и старались скорее выполнить поручение, зная как страдают от жары товарищи.

Прежде чем начать землекопные работы, пришлось на этом пространстве вырубить лес. Действовали мы топорами и просто обрубали корни сосны с трех сторон близко к стволу, а с четвертой последний корень оставляли длинным, рубили его последним и нажимали на ствол дерева с этой стороны. Сосна валилась. Потом копали лопатами и

долбили кирками твердую, высохшую землю, выносили ее наверх носилками и насыпали по одну сторону валом. Однажды (дней через пятнадцать, кажется) нам дали выходной, чтобы помыться и постирать. Довольные отдыхом, в солнечный день шли мы по проулку, как вдруг на бреющем полете над улицей пролетел самолет и раздалось жужжание пуль, тархтенье пулеметной очереди. Это развлекался немецкий летчик. К счастью, никто из нас не пострадал. К вечеру через деревню потянулись беженцы и отходившие к новым рубежам части. Нас срочно собрали и под предводительством военного из части повели цепочкой через минное поле: ни шагу в сторону сделать было нельзя, шли след в след. Путь этот тянулся, казалось, бесконечно, долгие часы. Погода была ясная, и все время в небе высоко висели немецкие самолеты. В дорогу нам дали по кулечку сахара, хлеб есть не велели, воды не было. Шли мы по открытому болотистому лугу. Наконец, через много часов пришли к железнодорожному полотну, где и застали один из последних или последний поезд, на котором вернулись в Ленинград. Работали мы на Лужском рубеже.

Снова начались занятия на курсах, теперь мы уже учились в больнице имени 25-го Октября, — делали перевязки, давали наркоз при операциях, дежурили ночами, помогая медперсоналу. К этому времени в Ленинграде начались бомбежки, и самыми тяжелыми были ранения осколками стекол. Они трудно вынимались из ран, раны были глубокими, плохо заживали, гноились.

1 сентября занятия в университете почти не возобновились на нашей кафедре. Из всего преподавательского состава остался один профессор С.А. Козин, обеспечивавший и лекционные курсы и практические занятия со студентами старших курсов, имевших бронь от призыва в армию. От нашей же младшей группы в 10 человек к началу занятий осталась я одна. Заведующий кафедрой член-корреспондент АН СССР Н.Н. Поппе еще в начале лета уехал со своей аспиранткой по Институту востоковедения Митрясовой в Калмыкию, откуда они не вернулись к началу занятий. Как мы позднее узнали, они попали в плен к немцам. Немецкое происхождение помогло Н.Н. Поппе получить должность в немецких войсках. Его назначили специалистом по вывозу в Германию музейных ценностей. Позднее он жил в Германии, преподавал, а потом перебрался в США, где снова занялся монголоведением. Митрясова же после долгих мытарств, измученная перенесенными в оккупации страданиями, в том числе и предательством своего учителя, вернулась после войны в Ленинград психически больной и уже неспособной к занятиям наукой. Это еще одна из много-

численных судеб, искалеченных войной. Судьба остальных моих товарищей по группе такова: В.Д. Якимов был призван в армию, воевал, потом погиб. Погиб на фронте и Саша Кочетков. А.В. Бурдуков был выслан в Барнаул и там скончался в 1943 г. С ним была и его семья. Об их судьбе мы узнали только после войны (А.В. Бурдуков был реабилитирован, Т.А. Бурдукова после войны много лет преподавала на нашей кафедре). Валя Решетникова стала сандружинницей и погибла под Ленинградом. Толя Толокунский, и до войны бывший слабого здоровья, погиб во время блокады. С. Максимов вступил в студенческий партизанский отряд, где и погиб.

Большинство девушек нашего курса ушли работать в госпиталь. Медсестрами в госпитали брали преимущественно студенток старших курсов. Нас, окончивших только первый курс, оставили в запасе, но мы помогали на добровольных началах. В сентябре числа 7-го или 8-го у нашей группы было ночное дежурство в больнице, перед ним мы собрались на факультете обсудить наши дела. Предстояло после практики сдавать экзамены за курсы медсестер. Был ясный тихий вечер. Вдруг завывала сирена: начиналась тревога. Мы просидели ее в подвале-бомбоубежище филфака (где теперь буфет), прислушиваясь к гулу самолетов, тывканью зениток и разрывам бомб, падавших где-то вдалеке, наконец, тревога кончилась, дали отбой. Выйдя на набережную, мы увидели незабываемую картину: тонкий серп молодого месяца на правой стороне неба, на нем ни облачка, река как зеркало, а громада Исаакиевского собора на фоне черных клубов дыма, подсвеченных снизу кроваво-красным, малиновым и оранжевым заревом, занимала всю центральную часть панорамы и отражалась в зеркале Невы. Картина потрясла воображение своей противоестественной красотой. В этот день замкнулось кольцо блокады и горели Бадаевские склады, где в значительной мере были централизованы продовольственные запасы города. В эту ночь в больницу поступило много раненых. Через некоторое время у нас там же в больнице (в сентябре или октябре) приняли экзамены, дали справки об окончании курсов медсестер запаса. В больнице стали проходить практику следующие группы.

В университете, как и дома, основным делом стали не занятия (я плохо помню какие-то отдельные лекции, почему-то иногда посещала занятия группы египтологов, которые вел Перепелкин), а различные работы, дежурства во время тревог и т.п. Хорошо запомнилось, как осенней сырой ночью мы, по две девушки из университетской группы ПВО, во время тревоги ходили по ночному Большому проспекту Васи-

левского острова. Нам было поручено наблюдать за светомаскировкой и, если появятся таковые, ловить ракетчиков. Но все прошло спокойно, ни одного ракетчика мы не увидели, кое-где помогли поправить светомаскировку. Тогда нам, двум безоружным девчонкам, казалось, что мы выполняем важную миссию, хотя что бы мы стали делать с вооруженным ракетчиком? Но порядок был в районе (и в городе) образцовый, в подъездах каждого дома дежурили и дворники, и жильцы дома, с повязками и противогазами, как и у нас. Бомбили не наш район. По окончании дежурства мы вернулись и сдали его следующей смене. На опустевшем факультете часть сотрудников была на казарменном положении, в ожидании штурма города еще в конце лета были оборудованы оборонительные точки, стояли бочки с водой, с песком. Мешками с песком были перекрыты окна, подвальные помещения переоборудованы в бомбоубежища.

Помню, как мы, часть отряда, сдружившегося на оборонных работах, проводжали на фронт наших ополченцев: доцента А.Г. Деметьева, профессора Огородникова и других. К вечеру поехали с ними на трамвае по Международному проспекту (ныне Московский проспект) до Обводного канала, где нас застала тревога, после которой наши ополченцы отправились дальше, на фронт, к Кировскому заводу, а мы вернулись на дежурство. К этому времени тревоги, бомбежки, артиллерийские обстрелы стали повседневным бытом, как и постоянное сосущее чувство голода. По введенным по карточкам нормам выдачи продуктов студентам, как и служащим, полагалось сначала по 400 грамм хлеба на день, потом нормы снижались: 250 грамм, наконец, 125 грамм в самое тяжелое зимнее с суровыми в тот год морозами время. Нормы круп, сахара, масла также постепенно в магазинах, к которым мы были прикреплены, перестали отovarивать: нечем. Стало тяжело ходить с Новодеревенской набережной (ныне Приморский проспект) по засыпанным сугробами улицам, где были протоптаны узкие тропы, на



*Лидия Леонидовна Викторова —
специалист по Монголии,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Отдела Южной и Юго-Западной
Азии МАЭ РАН.*

Васильевский: ноги опухали и не несли отощавшее тело. В феврале было принято решение об эвакуации университета в Саратов. В конце февраля (28 числа) 1942 года, простояв несколько часов в очереди, около 11 часов вечера было получено эвакуодостоверение. Помню, как светила луна, когда шла я, с трудом передвигая ноги, по Большому проспекту Петроградской стороны, потом по Кировскому, через Каменноостровский мост, через Каменный остров, не встретив ни одного живого человека. Лишь кое-где лежали засыпанные снегом трупы замерзших людей. На Каменном острове, на съезде к реке с левой стороны, где была тропа через лед на другой берег реки, стояли дровни, груженные в несколько рядов трупами. Видимо, до Серафимовского кладбища, где были братские могилы, их не довезли. По тропе и я добралась к двум часам ночи до дома. Наутро мы с мамой стали собираться в эвакуацию. Мой отец, Леонид Александрович, был с первых дней мобилизован в армию. Что с ним, мы не знали, он также считал нас погибшими, не получив сведения на свои запросы. Он служил начмедом санитарного поезда. Но об этом мы узнали уже после войны.

Собрав в один чемодан самое необходимое и уложив в портплед постель, мы погрузили их на детские саночки — обычный транспорт той поры — и пошли на Финляндский вокзал, где провели в ожидании поезда около трех суток. Погода была морозная, мест в помещениях вокзала не хватало, мы ютились на платформе, лишь время от времени заходя погреться в помещение, тепло в котором надышали люди. Наконец, поздно вечером подали промерзшие, с наледью на стенках возле окон «дачные» вагоны, в которых нас и привезли на берег Ладоги — к Дороге жизни. Был серенький день, выюжило. Нас посадили в кузова грузовиков и через накатанную по льду дорогу перевезли в Кобону. Там, впервые за многие месяцы накормили густым наваристым борщом с ломтем хлеба и посадили в поезд, который повез нас в Саратов.

По обстоятельствам жизни время блокады — самый трудный ее первый год — никому из ленинградцев, среди которых я жила, и в голову не приходило о возможности сдачи города немцам. Не выстоять было просто нельзя, невозможно, противоестественно — таким было внутреннее ощущение. Против внешних тягостных впечатлений выработалось какое-то оцепенение души, в котором в самые трудные зимние месяцы делалось ежедневно то, что в данный момент было необходимо (дежурства во время тревог, повседневное возможное жизнеобеспечение и т.п.). В свободное время тогда я читала при свете коптилки, отвлекаясь от томительного ожидания конца, снятия блока-

ды. Это ожидание не покинуло нас и в эвакуации: каждый из ленинградцев известие о прорыве блокады ощутил как долгожданное событие, как счастье.

Тут мне хочется помянуть добром нашего ректора университета Александра Алексеевича Вознесенского. Без преувеличения можно сказать: университет выжил благодаря ему. Он умел заботиться о вверенных ему людях — преподавателях, студентах, служащих. Помню, я тяжело заболела, для лечения нужен был сахар, а его не было. А.А. Вознесенский отдал мне свой месячный паек сахара, полученного по карточкам. С большой благодарностью вспоминаю я и наших преподавателей — академика С.А. Козина, Г.В. Ефимова, А.П. Рифтина и других. За время нашего пребывания в Саратове мы буквально сроднились с ними. Они относились к нам, студентам, как к своим детям, помогали в чем могли. Жили мы тогда в помещении Хореографического училища, в репетиционном зале — большом, темном и нетопленном. Занятия проходили в общежитии. Из-за холода многие студенты болели, преподаватели все время навещали больных и даже, по необходимости, принимали у них экзамены.

Лето 1943 года принесло изменения в моей судьбе. Я последовала на фронт вслед за мужем. Из военной части, где служил муж, прислали в университет запрос на переводчика. Я воспользовалась этим и уехала на военной машине на Украинский фронт под Харьков. Дорога заняла у нас ровно две недели.

Через полгода после прибытия на фронт я была зачислена на должность военного переводчика следственной части штаба 5-й ГвТА. На войне люди познаются лучше и быстрее, чем в мирное время. Вспоминаю добрым словом нашего начальника разведотдела полковника Гречанинова. Кстати, от него мы впервые узнали о подвиге молодогвардейцев. Сам полковник был родом из Краснодона. После его освобождения полковник, получив недельный отпуск, поехал навестить семью. Но оказалось, что его семья погибла.

Такую же добрую память о себе оставил подполковник Третьяков — начальник оперативного отдела. Во время налета авиации он был ранен осколком бомбы в живот. Девушке-санитарке, хотевшей перевязать рану, он сказал: «Спасибо, голубка, позаботься о других, мне уже не поможешь». Спасти его, действительно, не удалось.

В составе танковой армии я прошла путь от Харькова до Кировограда через Полтаву. В конце февраля 1944 года я была демобилизована по состоянию здоровья.

М.М. Крюкова

КАЖЕТСЯ ТОГДА Я ВЫПЛАКАЛА ВПЕРЕД ВСЕ СЛЕЗЫ, СЕЙЧАС ИХ УЖЕ НЕТ



Мария Матвеевна Крюкова, сотрудник Отдела фондов, инженер, комендант МАЭ. Старшина, разведчик. Участвовала в боях на Западном и Центральном фронтах. Награждена орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1941 году мне шел девятнадцатый год. Жила я и работала в городе Смоленске в кондитерской «Смолпищепрома».

22 июня 1941 года, как только услышала взволнованное выступление В.М. Молотова по радио, где сообщалось о нападении на Советский Союз гитлеровской Германии, сразу же побежала к себе на работу, да так и осталась там. Только один раз удалось побывать дома. Мы не выходили с производства, работали, дежурили. Всех мужчин, кто подлежал мобилизации, срочно призвали в армию. В цеху остались три девушки: Лена Егорова, она была постарше всех, я и ученица из детдома — Рая Урицкая.

24 июня немцы совершили первый налет на Смоленск, второй был, кажется 28-го. Город почти весь лежал в руинах или горел; более 120 самолетов бомбили Смоленск, — так передавали по радио. Дом, где я жила, тоже сгорел.

Но наш цех уцелел, и мы продолжали работать. Было страшно и тревожно — немцы приближались к городу.

И вот однажды — было это 7—8 июля — к нам в цех заглянули красноармейцы и страшно удивились: «Что вы тут делаете, девочки, немцы уже в городе, идут уличные бои!». Тогда мы решили раздать все съестное солдатам, а самим уйти из города. Так мы и сделали, прихватив с собой немного хлеба и конфет.

На окраине города к нам подбежал офицер и спросил, кто из нас может перевязать раненого. Вызвалась я. Офицер дал мне санитарную

сумку, подвел к тяжелораненому. Это был молоденький лейтенант, он лежал вниз лицом и стонал. Я очень испугалась, увидев большую рану, но взялась перевязывать. Перепачкалась вся в крови, холодный пот с лица капал, но перевязала. Раненого унесли, а нам предложили остаться в воинской части. Я тут же решила: буду служить в армии. О своих родных я ничего не знала. В воинской части со мной осталась Рая Урицкая. Выдали нам обмундирование, оружие. Мы приняли воинскую присягу. Начались занятия по овладению стрельбой из винтовки, старшина научил бросать гранаты.

Почти до конца июля наши войска, сдерживая бешеный напор немцев, держали оборону за городом Гедеоновка. Не помогли немцам даже предпринимаемые ими психические атаки.

Однажды я решила сходить на нейтральную полосу за табаком, который должен был быть в бывшем магазине. Наши солдаты сильно страдали из-за отсутствия курева, и я решила раздобыть его. Переодевшись в гражданское платье, с чемоданом в руках стала пробираться к цели. Магазин находился рядом с бывшим спиртозаводом. Во дворе спиртозавода, у ворот, стояла подбитая немецкая машина. Я забралась в нее, и стала ждать подходящего момента. Кругом стояла зловещая тишина, которая наводила на меня страх. Дождавшись темноты, я вошла в магазин через разбитое окно, сильно порезавшись о стекло. Но боли не чувствовала, радостно прижимая к себе добычу. Дорога обратно была тяжелее, немцы заметили меня и открыли огонь. Где ползком, где перебежками удалось вырваться из обстреливаемой полосы. Как же солдаты были рады, когда я открыла чемодан и выложила перед ними пачки гродненского табака!

В конце июля пришлось отходить на восток — немцы прорвали нашу оборону.

Помню, в первых числах августа добрались до Соловьевской переправы на Днепре. Наши войска отходили с западных рубежей в этом направлении. Трудно описать, что там творилось.

Фашисты бомбили переправу почти непрерывно. Слева и справа наши войска шквальным огнем удерживали переправу. Этот тесный коридор олицетворял собой настоящий ад. Трудно было понять что-то. Однако раненых и технику переправляли в первую очередь. В ночь на 4 августа оставшиеся в живых впласть переправились через Днепр. Потом целый день отходили по лесу на восток, где из отдельных групп формировались новые части.

Я попала в какой-то медсанбат. Отошли к Вязьме, затем к Москве. При отступлении я была ранена небольшим осколком под глаз.

Поздней осенью меня направили служить в полевой госпиталь, который перебросили на Калининский фронт. Мы принимали раненых из-под Ржева.

Осенью 1942 года я ушла на фронт в действующую часть, в 1106-й стрелковый полк. В ноябре в разведке боем была ранена пулей в кисть левой руки. Это было на реке Вазузе у деревни Степановка. Деревня была захвачена нашими, но мне пришлось покинуть поле боя, так как я потеряла много крови.

После лечения в госпитале в Загорске меня направили в 215-й стрелковый батальон. В декабре 1942 года политотдел части направил меня в формировавшуюся лыжную бригаду. Бригаду готовили для засылки в тыл противника. Это было в деревне Малиновка Калининской области. Нас было около 300 человек в бригаде, в основном девушки и парни из Калининской области. Занимались каждый день по многу часов. Ходили на лыжах с грузом за плечами, учились стрелять из противотанкового ружья, подрывать рельсы, пользоваться термитными шарами и многому другому, что могло потребоваться в тылу противника.

В конце марта 1943 года приехал генерал из совета 30-й армии и дал «добро» на переход линии фронта. Это было в районе города Ржева. Шли по заваленному лесу, болотам и были уже близки к цели, когда узнали, что советскими войсками взят Ржев. Мы присоединились к нашим частям и стали преследовать немцев. Примерно в ста километрах от Смоленска немцы остановили свое бегство, перешли к обороне. Мы также вынуждены были остановиться из-за весеннего бездорожья. Стояли в лесу недалеко от реки Вопь и ждали дальнейших распоряжений.

Наконец пришло распоряжение. Нас расформировали по близстоящим частям. Я опять попала в 215-й стрелковый батальон, откуда меня направляли в лыжбат, в 284-ю отдельную разведроту. Вспоминается такой эпизод. Случилось это в мае 1943 года. Неделю мы наблюдали за боевым охранением немцев, выдвинутым к нашей обороне в районе совхоза «Зайцево» Смоленской области. Нам необходимо было захватить «языка». Как это осуществить: противник занимал оборону на возвышенности, мы тоже. Нас разделяла река, кажется, Лучеса. Места вокруг были равнинные, от деревни совхоза «Зайцево» осталось несколько обгорелых деревьев да русская печь, кругом бурьян. Решили действовать ночью.

Ночь выдалась пасмурная. Нас построили, и майор Александр Богатырь, уточнив задание каждого, спросил: «Если кто-то себя плохо чув-

ствуем, выйти из строя». Никто из строя не вышел. В 12 часов ночи мы двинулись. Перешли вброд реку и мокрые поползли дальше. Тишина стояла полная, только изредка с немецкой стороны загоралась ракета, да иногда постреливал пулемет. Мы залегли и стали выжидать. В четвертом часу разведчик Борис Воробьев бросил противотанковую гранату в сторону ближайшей огневой точки немцев. Завязалась схватка. Оставшиеся в живых немцы под огнем наших автоматов бросились бежать к своим основным траншеям. Там возник переполох. Опомнившись, немцы перешли в атаку, стремясь отрезать нас от реки. Однако мы успели захватить раненого немца, но его пришлось оставить недалеко от реки в трясине, а самим залечь в кустах и занять круговую оборону. Так распорядился наш ответственный за оборону младший лейтенант Гаврилов. Уже рассвело, немцы стали бить из всех видов орудий, даже минометов. У нас был тяжело ранен разведчик Савенков, погиб Анатолий Цимбалов — самый молодой наш разведчик.

До следующей ночи нам пришлось просидеть в прибрежных зарослях из-за сильного обстрела. Пока отсиживались, мы с Борисом Воробьевым договорились вдвоем пробраться к раненому немцу. Добрались ползком по трясине до того места, где он лежал. Я попробовала его потянуть, но мои ноги вязли в трясине, а он — ни с места. Тогда я решила обрезать бритвой его карманы в надежде найти там какие-либо документы. Борис прикрывал меня. Все же немецкий снайпер обнаружил меня, хорошо что промахнулся, разрывная пуля зацепила кустик, росший в нескольких сантиметрах от того места, где я находилась. За эту операцию нас троих наградили орденами.

В этом районе мы много раз ходили на различные задания. Были удачи, были и неудачи. Теряли и своих товарищей, которых я постоянно оплакивала, если удавалось их похоронить — сшивала из бинтов покрывало, чтобы не класть их прямо в землю. Похороны боевых друзей мне дорого обходились. Кажется, тогда я выплакала вперед все слезы, сейчас их уже нет.

Лето 1943 года прошло в подготовке наших войск к большому наступлению. И вот в конце августа наши войска перешли в наступление. Началось все с артподготовки, земля гудела от орудийных залпов. Немцы не выдержали и побежали, да так, что мы едва успевали за ними.

В 25 километрах от Смоленска на реке Березине у поселка Гусино мы оказались впереди своей дивизии и нарвались на немецкое прикрытие отхода. С нами была на задании пулеметчица Мария Малькова

из 18-го стрелкового полка нашей 215-й стрелковой дивизии. Ее убило в голову разрывной пулей. Мария была моей единственной подругой на фронте. Как мне было больно, когда я увидела ее мертвой на асфальте Минского шоссе!

Под Оршей немцы окопались и залегли в оборону. Однажды мы взяли в плен фашиста, ростом около двух метров. Я присутствовала на допросе, охраняла нашего переводчика. У фашиста обнаружили коллекцию снимков с виселицами наших солдат. Какое ужасное впечатление произвело на нас увиденное! Ребята воздали ему должное...

Наша часть ушла правее от Минской магистрали в сторону Витебска. Была взята станция Крынки под Витебском, вели бои местного значения. Сплошного наступления не было. Но наши солдаты отбивали многочисленные атаки немцев. Однажды мы — разведчики — оказались в одной из деревень на самом переднем крае фронта, но уже освобожденной нашими солдатами. К нам подошел старший командир, не помню уж его фамилии, и говорит: «Мы отбили уже восемь атак, не исключено, что фашисты опять полезут, а у наших бойцов — они окопались вон за той сопочкой — кончились патроны. Кто сможет отнести им патроны?». Вызвалась я. Поколебавшись, командир сказал: «Неси!».

Набрала я коробок, сколько могла, и понесла. Идти было совсем недалеко, за картофельное поле. Дошла до цели спокойно, хоть и тяжело было идти по снегу с тяжелой ношей. Раздала патроны. Как же они, бойцы, были рады, увидев меня с патронами! Шутили со мной, просили оставаться и помочь отбивать предстоящие атаки, но мне было приказано вернуться обратно сразу же.

Едва я успела спуститься под горку, как мне закричали вслед. Я обернулась и увидела выползающий слева танк. Отбежав немного в сторону, плюхнулась за маленький бугорок снега. Приготовила на боевой взвод автомат и гранату ЭФ-1, которая всегда была при мне. А танк ползет прямо на деревню, за ним автоматчики строчат в воздух. На какое-то мгновение мне стало страшно, потом успокоилась. Наши артиллеристы вторым снарядом подбили танк, он задымился и вдруг начал разворачиваться в мою сторону. Я решила: теперь все, «капут»! Но третий снаряд так крепко подбил танк, что он уже больше не сдвинулся с места и задымился. Немцы стали вылезать из люка, но наши ребята не растерялись. Я встала во весь рост, пустила очередь по танку и спокойным шагом пошла обратно в деревню.

На следующий день нас, разведчиков, послали в 711-й полк нашей дивизии, что находился левее от расположения нашего батальона. Мы

получили задание разведать, как проходит линия немецкой обороны после дневных боев. В первом часу ночи мы отправились на задание. Отошли метров 700 и наткнулись на засаду: завязался бой. Я успела расстрелять один диск, стала перезаряжать второй, как вдруг почувствовала удар по левой ноге, поняла — ранение. Мы отбивались еще какое-то время, потом получили приказ отходить.

Сначала я побежала вместе со всеми, потом отстала из-за боли в ноге и упала. Лежу на снегу, глаза закрыла и вдруг слышу, сзади кто-то подбегает. Я подумала, что враг. В голове промелькнула мысль — если его не удастся пристрелить, застрелюсь сама. Приготовила пистолет, а подбежавший кричит: «Свои!».

Меня с трудом тащили на палатке, в ноге была такая сильная боль, что до меня нельзя было дотронуться. С трудом добрались мы к своим. Пулю удалили только через три месяца в госпитале в городе Калуге. Долечивалась в Иркутске и в июле 1944 года получила отпуск на две недели на свою родину — Смоленщину.

В августе 1944 года началось наступление на Минск. Я, не дождав-шись конца отпуска, ушла опять на фронт по направлению Смоленского военкомата в свою часть.

Последнее место службы — 489-я отдельная разведрота, конный взвод. Дошла со взводом до реки Неман. Тут я опять повредила раненую ногу, так как подо мной была убита лошадь. Снова попала в госпиталь, откуда меня выписали в январе 1945 года, со II группой инвалидности. Вскоре я демобилизовалась.

А.С. Задорожный

МНЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРИШЛОСЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ ИЗ РУК АВТОМАТ



*Алексей Степанович
Задорожный, комендант.
Капитан. Участвовал в боях
на Северо-Западном и Прибал-
тийском фронтах. Награжден
орденом Красной Звезды, двумя
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» и другими.*

Боевое крещение я получил у города Кашира, осенью 1941 года. В составе стрелковой пехоты я прошел по Ленинградской, Псковской, Новгородской областям: участвовал в освобождении Пскова, Новгорода, Старой Руссы, Вильнюса, Шауляя и других городов.

В городе Паневежисе я встретил день Победы. Очень хотелось поскорее снять солдатскую шинель. И вышло так, что день 9 мая 1945 года не стал для меня последним военным днем. Еще целых три тяжелых года пришлось воевать, ликвидируя остаточные вооруженные группы на территории Советской Литвы.

Самое страшное воспоминание о войне, сохранившееся в моей памяти: сожженная до тла Новгородская земля.

Отогнав немцев, наши солдаты километр за километром шли по совершенно голой, выгоревшей земле, на которой не осталось тогда ни единого дома и ничего живого. Это было самое страшное зрелище.

М.П. Горбовский

ДВА ЭПИЗОДА ИЗ МОЕЙ ВОЕННОЙ БИОГРАФИИ

Незадолго до начала войны в 1940 году я окончил 1-е Ленинградское авиационно-техническое училище им. К. Ворошилова и был направлен в Чугуевское училище летного состава под Харьковом, где получил специальность механика самолета.

Наш истребительный авиационный полк, куда меня назначили, был сформирован в сентябре 1941 года и сразу отправился на Калининский фронт. Мы, механики самолетов, должны были обеспечивать боевые вылеты независимо от времени суток, тяжелых метеорологических условий, непрерывных вражеских обстрелов и бомбежек. Мне поручили обслуживание самолета сержанта Андрея Егоровича Боровых (впоследствии Героя Советского Союза). Боровых прибыл к нам на Калининский фронт в разгар крупной зимней наступательной операции 1941/42 годов. Немало схваток с врагами в его военной биографии — около 600 боевых вылетов, более 150 воздушных боев, лично сбито 32 фашистских самолета и 14 — в групповых боях. В этих победах есть доля и моего участия — ведь я обслуживал его самолет, т.е. делал все, что положено, вплоть до сложного ремонта.

Особенно запомнился мне февраль 1942 года. Наш аэродром, расположенный тогда под городом Тороповцом Калининской области, подвергался частой бомбардировке. Морозы в ту зиму стояли жестокие. Лежать на земле под самолетом для его починки было нелегкой работой. Меховая одежда согревала мало, сильно обмороженные руки плохо слушались. Выручала нас, механиков, высокая по тем временам норма питания, да иногда «боевые сто грамм», достававшиеся нам в случае, если летчики не возвращались с боевого задания. Механикам по уставу эти «боевые сто» не полагались.

В тот памятный день, когда начался особенно яростный обстрел аэродрома, я лежал под самолетом, снимая бензобак. Девушки-зенитчицы «пропустили» немецкий самолет. Фашисты обстреливали нас «лимонками» — снарядами, которые разбивались на множество осколков. Сильно пострадал не только наш аэродром, но и землянки, где мы жили. Чудом удалось уцелеть.

А еще запомнился мне 1944 год. Было это в городе Сарны (Западная Украина). Наши военные расположения, в том числе и аэродром,

вдруг стали подвергаться сильной бомбардировке. Как выяснилось, здесь поработали наводчики из числа бендеровцев, или бульбовцев, как их прозвали. Они прятались в лесу, подавали фашистам условные сигналы, вели постоянную охоту на наших бойцов. Так вот, нас, нескольких бойцов, в том числе и меня, направили в сопровождении трех партизан на поимку «языков» из среды бендеровцев, чтобы выяснить, где расположена их основная база. Трудно далось это задание. При приближении к лесу бендеровцы открыли шквальный огонь из станковых пулеметов, длившийся несколько часов. Многих товарищей из нашей группы мы тогда потеряли, но задание выполнили, привели трех «языков».

Воевать мне довелось на многих фронтах: Центральном, Прибалтийском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских, Белорусском. Повидать и пережить пришлось немало.

Но вернулся с фронта, провоевав всю войну, живой. Войну закончил на Прибалтийском фронте. В 1946 году из Риги вернулся домой. А вот мои три брата домой с войны не вернулись.

Э.П. Карнеев

Я БЫЛ УЧАСТНИКОМ ПАРАДА ПОБЕДЫ

В августе 1940 года после окончания 7-го класса средней школы в Москве, где я родился и жил, поступил в 1-ю Военно-морскую специальную среднюю школу. Тремя годами ранее были созданы специальные артиллерийские средние школы, позже — авиационные, а в 1940 году — военно-морские. Они создавались как военные гимназии для обучения детей 8—10-х классов с целью подготовки их к учебе в высших военных училищах. В мае 1941 года наша Спецшкола (и я в том числе) участвовала в последнем первомайском параде на Красной площади в Москве.

С началом Великой Отечественной войны нас перевели на казарменное положение, а в дни, когда немецко-фашистские войска подошли к Москве на расстояние выстрела дальнбойной артиллерии (10—20 октября 1941 года), наша школа была эвакуирована в Сибирь, в город Ачинск. Несмотря на все неудобства временного размещения, занятия в школе были налажены, поскольку весь преподавательский состав был эвакуирован вместе с учащимися.

Осенью 1942 года наш курс (10 класс) был направлен в качестве подготовительного курса при среднем военно-морском училище, которое находилось в Москве. 14 октября 1942 года мы приняли военную присягу. Летом 1943 года нас отправили из Москвы в Баку, где к этому времени оказалось Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского, и там я был зачислен на первый курс паросилового факультета, на котором готовили флотских инженеров, способных эксплуатировать энергетические установки крупных военных надводных кораблей. В июле 1944 года наше училище возвратилось в Ленинград и наш курс был направлен на практику на боевые корабли



*Энгель Петрович Карнеев,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
многие годы работал директо-
ром Музея М.В. Ломоносова.
Преподавал в военном училище.*

Балтийского флота. За пребывание в составе действующего флота я впоследствии получил права ветерана Великой Отечественной войны.

1 мая 1945 года наше училище приняло участие в первом, практически уже послевоенном параде в Москве, а 24 июня — в составе курсантского батальона парада Победы. Самым большим впечатлением этого парада была процедура бросания знамен немецкой армии к Мавзолею солдатами роты, которая шла за нашим полком.

В октябре 1948 года, закончив Училище, я попал по назначению на гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий» и после службы на нем был назначен в Училище Дзержинского сначала командиром курсантской роты, а после сдачи вступительных экзаменов — адъютантом. В 1962 году защитил диссертацию на степень кандидата технических наук и после этого в течение 17 лет преподавал в высшем военноморском училище дисциплины, которые необходимы для подготовки инженеров газотурбинных установок. Одновременно в кооперации с Академией наук вел исследовательскую работу по применению магнитных газодинамических генераторов на ВМФ.

После увольнения в запас в 1975 году прошел по конкурсу на замещение должности заведующего музеем М.В. Ломоносова и с 1977 года исполнял эту должность. В течение 1978—1988 годов заведовал Ленинградским отделением Института истории естествознания и техники РАН.

ОТРЯД ИМЕНИ АКАДЕМИИ НАУК

Мало кому известно о русском сопротивлении в Маньчжурии. Успехи Советского Союза в Великой Отечественной войне активизировали борьбу, которую на чужой земле вело русское население против японских империалистов, захвативших Маньчжурию.

В 1945 году я был сотрудником краеведческого музея города Харбина. К этому времени мною был сформирован молодежный отряд, который носил имя Академии наук СССР. Ядро его составляло человек десять проверенных молодых людей, знакомых мне еще со школьной скамьи; всего же отряд насчитывал до 30 человек. Это были люди разных специальностей, инженеры, студенты, старшеклассники и другие. Весной 1945 года наша подпольная деятельность состояла в первую очередь в распространении сводок Совинформбюро (в то время слушание советских передач жестоко преследовалось) и в пропаганде советских песен. Главной же была подготовка к партизанской борьбе в случае начала войны Японии с СССР. Было специальное указание руководства движением сопротивления о сбережении кадров и соблюдении максимальной конспирации до наступления решающего момента. И действительно, работа была настолько законспирирована, что члены отряда узнали друг друга только, когда началась война (т.е. в августе 1945 года). Директором музея был японец, но отряд с первых дней войны взял музей под негласную охрану. Были установлены круглосуточные дежурства. В музее было оружие, которое использовалось во время экспедиций, и главное — были важные секретные материалы (топографические карты, данные о пограничных районах и т.д.), которые могли быть полезны Советской Армии. Эти данные передавались по назначению. Кроме музея, отряд охранял еще два объекта (военные склады).

Самый важный момент наступил перед высадкой символического воздушного советского десанта в Харбине. В городе наступило безвластие. Японцы выпустили уголовников, начались грабежи и пожары. Отряд немало сделал для поддержания порядка в городе, в охране городских ценностей. Музей был спасен от разграбления. О событиях этих дней вспоминает в своей книге маршал К.А. Мерецков: «Харбинская молодежь активно помогала советским войскам. Вооружившись, она взяла под охрану к нашему прибытию средства связи и другие

государственные учреждения... Русская молодежь разоружила воинские части Маньчжоу-Го и поставила перед собой задачу сохранить в неприкосновенности все городские жизненные коммуникации и сооружения, пока их не займет наша армия. Благодарность они восприняли с энтузиазмом и пообещали и впредь помогать всем, чем только сумеют» [Мерецков К.А. На службе народа. Страницы воспоминаний. М., 1968. С. 439].

Большинство членов «Отряда имени Академии наук СССР» сейчас работают в нашей стране. А.Г.Малявкин, кандидат исторических наук, является сотрудником Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР, в Новосибирской филармонии работает Шипов, который в Харбине записывал сводки Информбюро, участником движения сопротивления был и сотрудник ЛО ИВАН Л.А. Чугуевский, многие наши товарищи работают ведущими инженерами в различных городах СССР.

Василий Дмитриевич Карпихин.
 Заместитель директора по административно-хозяйственной части.
 Майор, воевал на Волховском фронте. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».



Игорь Михайлович Лекомцев.
 Научный сотрудник отдела Европы. Убит в бою.



Анатолий Михайлович Кукулевич. Сотрудник Института этнографии по издательской деятельности. Погиб на фронте.



Юрий Валентинович Кнорозов. Доктор исторических наук, лауреат Государственной премии, старший научный сотрудник Отдела Америки. Рядовой, служил в Резерве Главного Командования. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».



Вульф Вениаминович Гинзбург. Заведующий Отделом антропологии, профессор, доктор медицинских наук. Воевал на Волховском фронте. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и многими другими.



Владимир Рафаилович Кабо. Научный сотрудник Отдела Австралии и Океании, доктор исторических наук. Участвовал в боях на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За взятие Праги» и другими.



Александр Петрович Смирнов. Заведующий производственными мастерскими. Старший сержант. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, под Нарвой. Награжден орденом Красной Звезды.



Анатолий Иванович Собченко. Кандидат исторических наук, африканист. Рядовой. Воевал на Ленинградском фронте.

Иван Павлович Труфанов. Заведующий Научно-просветительным отделом, доктор исторических наук. Капитан. Участвовал на Западном и 1-м Украинском фронтах. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «10 лет безупречной службы», «40 лет Вооруженных Сил СССР».





*Олег Людвигович Вильчевский. Доктор филологических наук, иранист.
Подполковник. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах.
С 1942 года служил в Политуправлении Закавказского военного округа.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» и другими.*



*Николай Семенович Кармазин.
Фотограф Института. Техник-
лейтенант аэрофотосъемки.
Служил в 309-м авиаполку
12-й скоростной бомбардировоч-
ной дивизии.*



*Алексей Васильевич
Маторин. Старший
лаборант-фотограф.
Младший лейтенант.
Прошел с боями Эстонию,
Польшу, Восточную
Пруссию. Награжден
медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.».*



Иван Васильевич Скресанов. Сотрудник Научно-просветительного отдела. Капитан. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 1941—1945 гг., «За трудовую доблесть», «В память 250-летия Ленинграда».



Мухамеднур Гайсович Слесарев. Слесарь-механик. Старшина 1-й статьи эскадры Балтийского флота. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».



*Сотрудники Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
АН СССР — участники Великой Отечественной войны
на фронте и в осажденном Ленинграде.*
*Слева направо: 1-й ряд: Г.Н. Гоцко, Т.А. Юзепчук, Р.А. Ксенофонтова,
М.К. Кудрявцев, Т.И. Ганюшкина, А.Н. Калдыкина;
2-й ряд: Л.И. Лавров, И.П. Кононец, А.И. Мухлинов, А.П. Смирнов,
Г.А. Гловацкий, И.К. Пржевальский, К.В. Чистов, С.М. Абрамзон.*
Снимок 9 мая 1972 года



*Сотрудники Института этнографии —
участники Великой Отечественной войны (слева направо):
1-й ряд: М.К. Кудрявцев, И.Я. Треногов, В.Д. Карпихин, В.П. Якимов, П.С. Земсков;
2-й ряд: А.М. Никитичев, П.И. Кудрявцев, Г.А. Гловацкий, А.В. Маторин,
А.И. Новиков, Б.С. Шахматев.
Снимок 23 февраля 1947 г.*

СЛОВО ТЕМ, КТО РАБОТАЛ

1941–1945

СТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКАДНОГО ДНЕВНИКА

22 июня 1941 г. Кончилось мирное время! Это кажется страшным сном! Мы находимся в состоянии войны с Германией...

Сейчас 5 часов дня — уже тринадцать часов идут бои. Сегодня утром над Ленинградом летали самолеты — это показалось странным, но все же — как можно было подумать! Речь В.М. Молотова прямо ошеломила. Немцы бомбили Киев, Севастополь, Житомир, Каунас... Свыше 200 убитых и раненых... Позавчера мы сдали последний экзамен за второй курс, смотрели фильм-концерт с участием Лемешева, Михайлова, вчера говорили о поездке в колхоз на работу, а сегодня!

4 июля. С первого июля учусь на курсах медсестер, которые организованы на базе университета. До этого разносили повестки военкомата. Их ждали с нетерпением, хотя были и слезы. Через два месяца нас выпустят средним начсоставом. Часть будет работать в Ленинграде, часть — в 70 километрах от фронта. Вспомнила, как мы, студентки первого курса, ходили дежурить в госпиталь в финскую войну. Тогда у нас не было особой подготовки, и мы делали все, что было нужно, — от мытья полов до помощи при перевязках. А сейчас мы сможем оказать большую пользу.

Немцы продвигаются. Как больно за наши города, села... Зато вся страна встает на защиту: на фронт уходят пожилые профессора, старые производственники. Хочется надеяться, что эта война будет последней, что все народы поднимутся и сметут с лица земли фашистов!

В этом году какая-то особенно яркая зелень. Повсюду цветет сирень. А все окна заклеены полосками бумаги, памятники обложены



*Людмила Васильевна Хомич,
научный сотрудник Отдела
Сибири, кандидат исторических
наук. В годы блокады работала
воспитателем детского дома.*

мешками с песком, сады изрыты траншеями. Город как будто нахмурил брови...

7 июля. Завтра кончается лекарствоведение — предмет, который нам всем показался очень интересным. Впереди еще много интересного и трудного.

22 июля. Сегодня месяц войны. Немцы заняли большой кусок территории по линии Псков—Невель—Смоленск—Новгород—Волыньск. Вчера бомбили Москву! В Ленинграде пока еще спокойно. Жить тяжело: невозможно допустить, что будет занята Москва! 17-го я вернулась из-под Луги, где мы рыли противотанковые рвы. Нас не бомбили, хотя ходят слухи о бомбежках на оборонных работах. Не знаю, как будем догонять тех, кто остался заниматься на курсах.

9 августа. Как война все изменила, исковеркала! Сколько семей разбито! То, что раньше казалось обычным и будничным, кажется теперь волшебным сном — театр, музыка, спокойные занятия в университете... Я снова с группой студентов была на строительстве оборонительных сооружений в районе Пудости. Мы вставали в пять часов утра, по густой росе шли к месту работ. Работали, пока не раздавался крик: «Воздух!». Тогда все бежали к леску, ложились там. Кто-то на всякий случай прикрывал голову лопатой... Я приехала в Ленинград на два дня в связи с болезнью мамы и отъездом отца в Астрахань. Как все тяжело.

20 августа. 18-го я вернулась совсем из Пудости. В один из дней над местом наших работ приземлился подбитый самолет. Мы сначала не знали — чей, но оказалось — наш. Полоса дыма шла за ним. Пока мы думали — бежать к нему или нет, — из кабины с трудом вылез летчик... Самолет на следующий день увезли. А мы уехали последним эшелоном. Утром нас подняли и приказали быстро идти к станции, где мы узнали, что последний поезд ушел. Кто-то пошел пешком к Ленинграду. Но, к счастью, подошел еще товарный поезд. Нас набило в вагон, как сельдей в бочке. Было страшно: слышались звуки орудий или бомбежки. Но мы доехали. Гатчина была уже взята, как говорили. Дома меня ждали неприятности: папа уехал, а мама заболела дизентерией в тяжелой форме. От Ники (брат Л.В. Хомич. — *Ред.*) писем уже не было месяц. Хожу по врачам и аптекам. Вести все тревожнее — взяты Кингисепп и Новгород! Из Ленинграда — массовая эвакуация. Мы даже пожалели, что не решились уехать с папой (хотя бы мама уехала!), так как Нике мы все равно помочь не можем... Маме дают бактериофаг, но пока ей не лучше. Возможно, ее придется положить в больницу. О, хоть бы какие-нибудь радостные вести с фронтов — увы...

22 августа. Сегодня маму взяли в больницу. Может быть, не следовало этого делать, но мама думает, что так лучше, хотя ей и страшно оставлять меня одну. От папы и Ники писем нет. Если они живы (...), то каково им читать: «Ленинградцы, вся страна с вами!».

5 сентября. 1-го мама вышла из больницы — похудела, ослабла. Но мы снова вдвоем. Пришло письмо от Ники (от 24 августа). В университете сейчас занятия: занимаются первый и третий курсы (в том числе мы), второй и четвертый — на оборонных работах. Потом будет смена. Иногда кажется — ну, какие теперь занятия, зачем они? Но, видимо, так нужно. И мы занимаемся, ухватившись за учебу как за кусочек прошлой жизни. Ходит Г.Н. Прокофьев, который совсем болен. Г.Д. Вербов еще в июле ушел в ополчение. Кроме занятий мы дежурируем через день целые сутки у ворот главного здания университета. Тогда мы ночуем в пустых помещениях первого этажа, где установлены койки.

12 сентября. С 8-го числа с наступлением ночи немцы каждый день бомбардируют Ленинград (увы, сочетания слов «бомбардировка Ленинграда», «налет на Ленинград» звучат уже не дико для нашего уха!). 8-го я шла к дому по улице Герцена, в вышине летели самолеты. И вдруг вокруг них появились белые дымки, и завывали сирены... С тех пор в Ленинграде, по слухам, есть разрушенные дома. Я пока не видела ни одного, и для меня Ленинград остается прежним бесконечно красивым городом, а все эти налеты — чем-то нереальным. Впрочем, они вполне реальны: днем тревоги бывают каждые 15—20 минут, пока добираться с Васильевского острова домой, не меньше двух раз приходится спускаться в убежища... Паяк хлеба уменьшен до 200 грамм для иждивенцев. Из продуктов достать почти ничего нельзя. Но только бы был цел Ленинград! Увы, во время бомбежек пострадали продовольственные склады, это очень ухудшило положение.

Сегодня опять иду дежурить. Признаюсь, прошлый раз было страшно стоять у ворот во время бомбардировки — в Неву попала бомба, и столб воды поднялся, казалось, к небу. Тяжело и оставлять маму: не знаешь, что застанешь, вернувшись...

18 сентября. Сегодня получили телеграмму от Ники — он в Ленинграде. Мама пошла по указанному им адресу, а я осталась дома ждать, так как он написал, что, может быть, зайдет домой. Телеграмма отправлена 16-го.

5 часов вечера. Мама пришла, не повидавшись с Никой, — его часть куда-то уже ушла...

Сегодня опять обстреливали город из дальнобойных орудий, особенно наш район. Это еще страшней, чем бомбежки, которые пока

прекратились. Во время налетов объявляется тревога, спускаешься в бомбоубежище, а обстрелы начинаются внезапно, не знаешь откуда стреляют...

21 сентября. До 19-го числа я все жила в старом Ленинграде — я не видела ни одного разрушения и боялась увидеть. А в ночь с 19-го на 20-е сбросили две фугасные бомбы на Дом учителя и рядом у нас в садике. Всю ночь почти мы тушили пожар, так как вместе с фугасными были сброшены зажигательные бомбы. Жители нашего дома (набережная р. Мойки, д.92, соседний с Домом учителя) вышли с ведрами и встали цепочкой от Мойки через двор и по лестнице. Так передавали воду. Пожар удалось потушить.

24 сентября. Кое-где на улицах строят баррикады. Что же это такое? 22-го наши войска оставили Киев. Что там творится сейчас... Не может быть, что нас ждет такая же участь! Погиб друг Ники Андрей Марченко во время эвакуации из Таллина. Что об этом написать?

Уже наступила осень, и листья пожелтели. Когда-то, в той далекой жизни, мы любили осенью ездить на Кировские острова. Деревья были такие же, как сейчас, — желто-красно-зеленые, всевозможных оттенков, бесконечно красивые... А сейчас — зачем эта красота?..

30 сентября. На днях домой с фронта приходил (!) Ника. Это было бы величайшей радостью, если бы... неизвестно, сколько еще продлится война, уцелеем ли мы... Но как бы то ни было, счастливый момент был, а их так мало сейчас... В армии уверены, что Ленинграда не отдадут.

2 октября. Все, как заклинание, повторяют: «Как хорошо мы жили». Только теперь мы по-настоящему оценили нашу довоенную жизнь с ее мирными заботами и радостями. Сейчас даже странно, что учеба в университете идет своим чередом, хотя по сокращенной программе (многие преподаватели в армии, в ополчении). Странно, что работает кино. Я сегодня еще раз посмотрела «Парень из тайги» и подумала о том, что в этом году мы с Григорием Давыдовичем Вербовым должны были впервые поехать на практику на Север. Где-то сейчас он?

Как давит несмолкаемый гул орудий. Видела первое серьезное разрушение — дом на улице Гоголя развалился, как карточный домик!

10 октября. «Мороз и солнце»... Когда-то мы бы радовались такому дню, а теперь... В ясную погоду город сверху виден как на ладони. И еще: вот уже несколько дней, как по радио передают концерты, которые, естественно, транслируются на улицы. Увы, музыка сейчас как-то по-другому волнует, чем раньше, скорее тревожит.

15 октября. Вчера выпал первый снег. Он и сегодня лежит белым

покровом на земле. Ненадолго заходил Ника, и мы, как в доброе старое время, сидели у натопленной плиты в тишине и уюте. Да, снег сыграл свою роль: этот, быть может, последний счастливый вечер не нарушила тревога...

А сегодня радио принесло очередную горькую весть: сдан Мариуполь, появилось Калининское направление. А вчера сдали Вязьму, позавчера — Брянск, третьего дня — Орел. Что говорить сейчас о хлебе, когда речь идет о судьбе Родины... Что же такое случилось? Где революции в западных странах, которых мы ожидали в начале войны? Почему не разваливается немецкая армия, неужели жажда захвата так сильна? И почему мы оказались так слабы? Почему?

19 октября. В Ленинграде до странности спокойно. Мы вот даже сегодня идем на «Машеньку» Афиногенова, и это не кажется чем-то невероятным. Но общее положение очень плохое — прорыв на западном фронте, Москва в опасности, Одесса сдана. Одесса... Я когда-то была в этом прекрасном городе, была и в театре — во втором в мире по красоте, как нам тогда сказали. Была на знаменитой лестнице, ходила по Дерибасовской улице. Теперь по ней ходят немцы. Когда же будет перелом? Ведь не может же так продолжаться...

Занятия в университете понемножку идут, но заниматься все труднее.

26 октября. Вчера у Симы был день рождения. Сначала у нее дома пили чай с конфетами для аппетита (!!!), как-то сохранившимися у ее отца, долгое время работавшего в аптеке. А потом она «угостила» нас походом в театр на «Сирано де Бержерак». Как это было чудесно, хотя в самом театре неудобно, холодно. Уже в темноте я шла домой, а из репродукторов доносились мелодии Бизе и Верди...

30 октября. Вчера наш район подвергся ужасному обстрелу. Было очень страшно на нашем четвертом этаже. Мы даже подумали, не переехать ли нам в нашем же доме куда-то пониже, хотя это ничего не будет гарантировать. И все же...

1 ноября. Я дежурю то у ворот, то возле университетского бомбоубежища. Вчера я дежурила у ворот, а был опять сильный обстрел. Снаряды ложились в воду против университета и в Александровском саду... Дом наш еще цел.

На днях умерла Надежда Петровна Дыренкова! Она простудилась, гася пожар, и умерла в сущности от простуды! Вот кому бы жить и жить: замечательно талантливый ученый, чрезвычайно милый человек! Я говорила с ней еще так недавно... Невозможно представить, что ее уже нет.

3 ноября. Мы с мамой все же переехали в комнату на первом этаже, взяв минимум необходимых вещей. Здесь легче поддерживать тепло и как-то спокойнее все же. Увы, все время хочется есть.

14 ноября. Прошла годовщина Октября. В Москве был устроен парад — это блестяще! Вечером 7-го выступал Сталин. Он коснулся причин наших трудностей — отсутствие вооружений в достаточном количестве и отсутствие второго фронта. Его речь была полна уверенности в нашей конечной победе.

Со вчерашнего дня непрерывные тревоги — наши части пошли в наступление (так говорят, и мы уверены). Вчера я дежурила у здания университета: все тряслось от разрывов бомб. Ленинград в плотном кольце, и прорвать это кольцо чрезвычайно трудно. Немцы хотят взять город измором: с 11 числа мы получаем по 150 грамм хлеба. Это крошечный кусочек. В дополнение к нему мы имеем тарелку жидкого супа, и это все. Все очень похудели. Неужели еще будут жертвы от голода?

Я вдруг стала усиленно заниматься: конспектирую нужную главу из «Анти-Дюринга», начала читать «Первобытную культуру» Тэйлора, что-то читаю по-немецки... Но все это плохо отвлекает от главного — от общего положения и от постоянного чувства голода.

18 ноября. Все то же. На днях пришло письмо от Г.Д. Вербова. Он уже больше четырех месяцев на фронте. Спрашивает, как наши дела? Призывает не терять бодрости духа, усиленно заниматься... Дорогой Григорий Давыдович! Если бы он знал, как часто мы сейчас вспоминаем наши довоенные занятия, во время которых он сумел заразить нас своей любовью к Северу, к этнографии! Правда, мы, наверное, не всегда были так старательны, как ему хотелось. А вот теперь — он где-то постоянно рискует жизнью, а мы... учимся, но разве так, как хотелось бы нам!..

20 ноября. А все те же 125 г хлеба и тарелка жидкого супа в день — долго ли так можно протянуть? Но надо не думать об этом. После длительного перерыва должны возобновиться занятия селькупским языком с Г.Н. Прокофьевым. У нас снова есть этнографический кабинет в аудитории № 17, заведует им по-прежнему Аполлинарий Игнатьевич Маркон. Заведующей кафедрой у нас назначена В.И. Цинциус и т.д. Я даже тут купила 1 т. «Истории Сибири» Миллера! Назло врагам.

27 ноября. На днях после долгого перерыва пришла открытка от папы из Астрахани, а сегодня — от Ники... из Ленинграда. Примерно через полмесяца он окончит курсы и поедет на фронт (или отправится пешком, увы). Он беспокоится о нас. Но что делать — вот сейчас тревога, палят зенитки, сбрасываются бомбы. Мамы дома нет. Хорошо,

если она сидит где-то в бомбоубежище, хотя и это плохо, — тревоги длятся по три часа.

30 ноября. Читаю «Плавание Жаннетты» Де-Лонга. Такие книги сейчас, пожалуй, читать не стоит. Книги об арктических экспедициях нужно читать, сидя в теплой комнате, имея перед собой вазу с конфетами, печеньем или чем-нибудь подобным. Тогда дела великих путешественников покажутся поистине удивительными! Читать же их в бомбоубежищах, на голодный желудок, проведя перед этим полчаса под артиллерийским обстрелом, — не стоит. Но раз я взялась, я дочитаю. И даже потом буду читать путешествие Норденшельда. Время не должно пропадать даром! Но, увы, оно пропадает: не успеешь оглянуться — вечер. Нет, не совсем так. Дни теперь кажутся странно длинно-короткими: ничего не успеваешь сделать, но до очередной «еды» всегда так бесконечно далеко. Смешно и грустно.

Тут была на раскопках нашего общежития на 5-й линии ВО. Дом полностью развалился. Разбирали завалы. Одну студентку никак не могли достать, хотя она была жива, — как-то ей завалило ноги. Я ее потом не видела, но говорят, что она поседела... Вот так мы живем. Опять тревога, а мамы все нет!

Г.Д. Вербов нам пишет, и мы ему отвечаем, чаще я. Его бодрость прибавляет сил.

3 декабря. Я хочу верить, что перелом на фронте произойдет скоро, но время идет, а улучшений нет. Вчера мама была у Ники и видела его. 8-го у него выпускной экзамен! Увидимся ли мы еще?..

Идет частичная эвакуация на самолетах, но нас это не коснется. Иногда с мамой тоскуем, что не делали в свое время запасов продуктов, казалось, что это не надолго. Теперь бы это пригодилось, а так мы форменным образом голодаем уже около трех месяцев. Учеба в университете почти заглохла, Нике мы ничем помочь не можем. Что-то тоскливо на сердце...

11 декабря. За последнее время произошли крупные изменения и в общественной и в личной жизни. Дела на фронте у нас пошли значительно успешнее: обратно взяты Ростов-на-Дону, Тихвин. Наши части продолжают продвижение. Англия и США с 7-го находятся в состоянии войны с Японией. Англия также объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии. Рузвельт и Черчилль выступали с краткими, но выразительными речами. Уже начались военные действия — Япония напала на владения США и Англии на Дальнем Востоке. Трудно сказать, как это все отразится на нашем положении, но события разворачиваются поистине грандиозные, и мы не одиноки.

Что касается личных, домашних дел, то тут обстоят дела так: Ника должен был зайти от 4 до 10, но не зашел. Направлен он уже в часть — неизвестно и узнать трудно: у нас, как в 1918 году, не ходят трамваи, а в Лесное идти пешком не так-то просто. Кстати, и света у нас уже давно нет, сидим с коптилками и ложимся спать в 8 часов. Новое: с сегодняшнего дня мама пошла на работу в госпиталь, боюсь, что это ей будет трудно, возможно, надо было устроиться мне, но тогда надо отчислиться из университета. Мама будет получать рабочую карточку.

16 декабря. Трудно отоваривать карточки: в городе нет крупы, масла. Впрочем выкупленное так быстро съедается...

На улицах сказочно красиво — все бело от инея. Но тут же рядом на саночках везут гробы. Сейчас много умирает людей. Боюсь за маму, хотя она как-то еще держится.

31 декабря 1941 г. Завтра Новый год. Когда-то мы часто встречали его у Вознесенских: огромная елка, много гостей, обильное угощение (почему только раньше в гостях никогда не хотелось есть!). А сегодня... Со взятием Ростова дела на фронтах идут более, чем успешно. Но материальное положение наше чрезвычайно плачевно. Сейчас 10 часов. Мама на работе, не придет на ночь. Я еще ничего не ела, и это не предвидится в ближайшие часы: хлеб на сегодня у нас съеден еще вчера, новых карточек пока нет. Словом, я, может быть, пошла бы встречать Новый год к Оле с ночевкой, но нельзя же прийти с пустыми руками и желудком... Признаюсь, у меня на душе тоска; беспокоюсь о маме, Нике, папе; холодно, голодно, нет света. И главное — старые условия вернутся еще очень не скоро. Правда, с 25 декабря нам дают по 200 грамм, а рабочим по 350 грамм хлеба. Но мы так изголодались, что это больше чем мало. Смертность в Ленинграде ужасна. Будьте прокляты фашисты, принешие нам все это!

12 января 1942 г. Очень тяжело. Смертность в Ленинграде не уменьшается. Умерли дядя Ваня и Александр Леонидович.

26 января. Ну вот, и январь на исходе. Как бы хотелось думать, что все худшее позади, ведь мы пережили немало. Но жить становится все тяжелее и тяжелее. Морозы стоят тридцатиградусные, вода всюду замерзла, приходится возить ее из Невы! В связи с этим ужасные заторы с хлебом, в столовых, в банях. Мы в бане не были уже месяца два... Все ходят грязные, закопченные, голодные... Мы ложимся спать в 8 часов вечера и встаем (вернее просыпаемся) в шестом часу. Что-то я совсем расклеилась — надо держаться, пока живы — надо держаться.

28 января. Вчера умер Боря Грубник. У нас в доме уже умерло человек пятнадцать. Неужели фашисты достигнут своего и весь Ленин-

град обречен на вымирание? Последние 3—4 дня не получаем даже хлеба, выдают муку. Но вот наша соседка Люба ушла из дома в пять часов утра, а сейчас уже 12, ее же еще нет. Что же будет с нами? Уже идет восьмой месяц войны. Ника уже давно на фронте, но писем от него нет. Давно не получали писем и от Вербова, но и самим не хочется писать.

6 февраля. Меня положили в госпиталь от истощения. Это на переулке Матвеева. Здесь кормят очень скудно, но все же я имею два раза в день жидкую кашу. Мама ушла из госпиталя: ее как учительницу направили на работу в детский дом, созданный для детей, потерявших родителей от голода или бомбежки. Организовали его в доме на углу Крюкова канала и Театральной площади.

10 февраля. Влачу жалкое существование: утром просыпаюсь в 5 часов и думаю о разном, лежа в темноте, пока не приносят более чем скудный завтрак. Потом мы все ждем обеда. Некоторые из больных находят удовольствие в том, чтобы вспоминать о кушаньях, которые они ели в довоенной жизни. Это ужасно. Я лежу молча и что-то читаю — что попадается под руку...

1 марта. Я долго не писала, а между тем произошло немало событий, важных для нашей жизни. 16 февраля я выписалась из госпиталя, так как заболела мама, да и не в силах я была там больше лежать! Положение с продовольствием в городе не сравнимо с январем, но все же неважное. Главная же новость, которая меня ждала, это то, что, как оказалось, университет эвакуируется в Саратов. Первой мыслью было — ехать! Но во время болезни я упустила время, как-то ушли и силы. Мы с мамой оказались очень слабы для такой дальней дороги (слабость, расстройство желудка и т.п.). Не оказалось теплой обуви. Словом, мы остались. Первая партия уехала 25-го, вторая уезжает, видимо, сегодня. Я знаю, что у мамы главным чувством было — остаться поближе к Нике, но я теперь на неопределенное время не студентка, получаю иждивенческую карточку (300 грамм хлеба), лишилась пропуска в столовую. Хожу помогать маме в детский дом. Боже, какие там дети! Несчастные, жалкие скелетики. Кто за это все ответит?..

Да, умер Георгий Николаевич Прокофьев. Как будто в конце января. Что написать об этом? Немыслимая потеря... После долгого перерыва получила письмо от Григория Давыдовича. Он на день заезжал в Ленинград и знает о смерти Георгия Николаевича. Беспокоится, что мы ему давно не писали. Я собралась с силами и послала ему бодрое письмо, хотя... Сегодня пришло письмо от Ники (помечено 8 февраля). Он сейчас в г. Колпино. Беспокоится о нас. От папы последнее письмо

было от 22 января. Как-то там — в Астрахани? Немцы так близко от Волги...

На днях была у Оли. Она хворает. Не знаю, писала ли я, что она работает медсестрой в детской больнице. От нее узнала много грустного: умер Александр Маркович, ее дядя, который когда-то учил нас географии в школе; нет известий о Мише, ее молодом муже.

Что написать еще? В Ленинграде все еще нет света, воды, не ходят трамваи, не хватает хлеба. У нас с мамой нет дров и денег. Дрова надо колоть, а сил нет. Деньги уходят на хлеб, который иногда можно купить по 30 рублей за 100 грамм.

15 марта. Я по-прежнему работаю в детском доме на Театральной площади. У меня группа старших детей (6—8 лет). Очень истощенных детей взяли в больницу, так что сейчас в большинстве — ходячие. Приходится делать все — приносить еду с первого этажа, уносить тарелки, мыть полы и заниматься с ребятами. Основная воспитательница — пожилая учительница, очень славная. Мама работает с младшей группой, ей труднее, так как у нее сейчас нет помощницы. Но обещают. Детей по условиям Ленинграда кормят прилично. Мы тоже получаем какую-то еду. Так что с этим стало полегче. Отдельно еще получаем хлеб — 700 грамм в день на обе карточки.

Сегодня у нас был воскресник по уборке снега во дворе детского дома. Снег вывозили на фанерах в Крюков канал. А потом нам дали горохового супа с хлебом и горячего сладкого чая. Неужели все самое трудное позади?..

18 апреля. Как светит солнце! Оно заглядывает даже в нашу обычно темную комнатенку (мы еще не вернулись в свою квартиру, так как там очень холодно еще). На улице настоящая весна! Месяца четыре тому назад я бы не поверила, что мы доживем до этих весенних дней. У меня сейчас в группе нет детей, и я дежурю по ночам. Дело в том, что эвакуировали часть детского дома на Северный Кавказ, в частности, старших детей. Мы, возможно, могли тоже уехать, но все какой-то страх оторваться от Ленинграда, от Ники (хотя мы его уже давно не видели)... Словом, мы не уехали. Сейчас эвакуация снова прекращена до открытия навигации или очистки дороги. Словом, нам, кажется, судьба — вынести всю войну в Ленинграде. Но что бы там ни было, а дело к весне — солнце всегда рождает какие-то надежды!

Да, с 15 апреля пошли трамваи. Я была на Театральной площади, когда шел трамвай. Все останавливались и смотрели на него, как на какое-то чудо.

11 мая. Уже 11 мая! Прошло 1-е Мая — праздник, который я так

любила. Я помню, бывало с Никой встаем рано на демонстрацию (папа с мамой последние годы не ходили). Еще рано, и солнца нет, на улицах еще народа немного, но уже чувствуется, что праздник — всюду красные флаги, все приодеты... Потом сама демонстрация с ее песнями и весельем! А дома уже мама приготовит вкусный обед, испечет пирог. Обычно 1-го Мая у нас бывали гости: тетя Шура, тетя Оля, Кира, Оля, Зоя. Как хорошо было! Это 1-е Мая мы встретили в детском доме, угощением послужила тарелка каши и стакан чая. Вспомнили ли нас папа и Ника? Что-то они делали в этот день?

Увы, трудности продолжают. Умерла Антонина Марковна, и Оля осталась совсем одна. А у мамы открылось кровохарканье. Когда-то она болела туберкулезом — неужели это возврат? К счастью, сейчас это как будто прошло. Но что-то будет?

12 июня. Все произошло неожиданно: завтра мы уезжаем из Ленинграда — все же уезжаем. Нет слов, чтобы выразить чувства, которые переполняют меня: тут и сожаление, и радость, и тревога... Но мы едем. Сколько было за прошедший месяц всего. 4-го мая заходил Ника. Он советует нам уехать при возможности: мама больна (у нее еще новое — не может спать лежа, так как задыхается), у меня правая нога распухла от цинги (еще новый бич ленинградцев). Эвакуируется весь детский дом — здесь никто не остается. Что же нам было делать? Университет уехал, сейчас вот детский дом. И вот мы едем. Собрали сколько разрешили вещей, собрались сами, собрали детей, часть из которых очень слаба. Мы даже не знаем, куда едем, но сейчас уже все равно.

18 июня. Мы выехали 15-го в 6 часов вечера. Ехали через Ладогу, где нас пытались бомбить. Стреляли зенитки, установленные на крыше парохода. А сейчас проехали Вологду, т.е. самая трудная часть пути позади. Успокаивали детей, которые испугались стрельбы. Вспомнила, как еще в детдоме на Театральной во время бомбежек рассказывала детям что-нибудь, стараясь заглушить «лай» зениток, установленных на соседнем здании, где булочная, — бомбоубежища у нас не было, и приходилось полагаться на волю случая. Вот и сейчас — судьба оказалась к нам благосклонной, и мы выехали на Большую землю... Что-то ждет нас там?

* * *

Дети были доставлены в Куйбышевскую область (село Суходол), где учились и жили до конца войны, затем большая часть их вернулась в Ленинград. Исключение составили те из круглых сирот, которых взяли на воспитание местные жители.

НАЗЫВАЛИ НАС «ДУХОВНЫМИ СЕСТРАМИ»

Вероятно, мало кто знает, что наряду с прославленной Публичкой, всю блокаду работали районные городские библиотеки Ленинграда. И как нужны они были бойцам и гражданскому населению!

Вот идет военный с фронта от Пулкова в город (по служебному ли делу или отпущен навестить семью) и видит на Московском проспекте, совсем недалеко от переднего края обороны, вывеску «Библиотека». Окна здания защиты фанерой, но на двери объявление о часах работы. С удивлением дергает дверь, она примерзла, однако открылась. В помещении при слабом свете коптилки двигаются закутанные в пальто, платки, обутые в валенки женщины-библиотекари... Их, конечно, не так много теперь, этих читален, но они есть. В библиотеку заходят и постоянные гражданские и военные, зашедшие по пути «на огонек». Завязывается общий разговор о текущих событиях. Голоса бодрые, иногда слышится и шутка.

Немного согреться библиотекарю можно в задней комнате, где стоит печурка, на которой поставлен чайник с горячей водой. Невелик был коллектив библиотеки, но держались стойко, упорно, боролись с дистрофией. Побудет кто на бюллетене, но, едва поправившись, снова к своему «станку» — к книгам в библиотеку. А когда было нужно, библиотекари вместе с другими жителями строили совсем близко от библиотеки баррикады из всего, что попадалось под руку (ведь были такие тревожные дни, когда казалось, что враг мог пробраться в город).

Был из числа этих библиотекарей особый отряд библиотекарей-передвижников, чуть не сказала — «подвижников», ибо работали они подчас действительно через «не могу». Эти передвижники организовали филиал библиотеки, вернее, передвижки в частях Ленинградского военного округа, в госпиталях, нередко далеко от своей базы. Трамваи не ходили, свирепый мороз, темнеет быстро. Книги приходилось переносить на спине, в пачках, в мешках. Идти было, конечно, трудно, путь далекий, остановишься передохнуть не один раз и снова вперед, к цели — к своим раненым, подшефным, к больным, защитникам своего города.

Силы, вероятно, появлялись от мысли, что знаешь: книги, которые ты несешь, с таким нетерпением ждут раненые бойцы, доставленные

с фронта. Большинство из них были земляки — ленинградские рабочие, студенты, много совсем молодых. Да, они читали, эти измученные болью люди, едва пришедшие в себя от тяжелой раны, они тянулись к книге, требовали книгу, они делали индивидуальные заказы, часто неожиданные — например, Стендаля и, конечно, Джека Лондона, Горького, Дюма. Бывало и так, что раненый обидится, отвернется, если сразу не выполнишь его заказ. И вот стараешься, если нет в передвижном фонде, то несешь книгу из своей личной библиотеки, или просишь у товарищей, нет ли, чтобы хоть книгой утешить израненного фронтовика. Работали такие передвижки, главным образом, в палатах с тяжелоранеными.

Зато как радостно было получить благодарность от своих подшефных, когда они получали заказанную литературу. Как-то забывалась своя собственная усталость, боль в цинготных ногах, которые прошли не один километр с тяжелой ношей. Некоторые из-за ранения не могли сами читать, приходилось им читать тихо вслух, чтобы не мешать другим.

Не скрою, приходилось тяжело библиотекарю, когда разносили обед или ужин, как ни скуден был госпитальный рацион. От запаха пищи, от голода кружилась голова, — ведь библиотекари городских районных библиотек получали карточки служащих. В это время мы уходили из палат в соседнюю комнату, где стоял наш шкаф с книгами, наша передвижка.

Была еще одна разновидность нашей работы. И как откажешь раненому, который хочет известить своих родных, что лежит в таком-то госпитале в Ленинграде? И вот шагаешь, сам едва передвигая ноги, по указанному адресу, и когда найдешь, вручишь конвертик, расскажешь, — сколько слез, радости, благодарностей!.. А бывало, что никого из родных не застанешь, — убиты, умерли от голода или эвакуировались. Но зато как хорошо на душе, когда видишь, что в воскресенье к «твоему» раненому пришли родные, которых ты известил!.. Иногда приходилось и писать под диктовку раненых.

Вот за такую нашу работу (книги, письма) и называли нас раненые «духовными сестрами».

Работая в частях МПВО, библиотекари-передвижники вместе с бойцами по сигналу воздушной тревоги дежурили на крышах, тушили бомбы, а в перерывах между бомбежками (на артобстрелы тогда уже не обращали внимания) выдавали книги, рекомендовали литературу, словом, «работали с читателем», несли службу, не выпуская из рук своего «оружия».

А.Г. Нечаева

МЫ СТРОИЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ

В 1942—1943 годах я участвовала в строительстве железной дороги по льду Ладожского озера. Одновременно мы расчищали Дорогу жизни.

Железная дорога была рассчитана на один месяц эксплуатации, предполагалось по ней переправить продукты блокированному городу.

Строили так: во льду пробивались проруби, вставлялись бревна-сваи, на них укладывали шпалы и рельсы. Работали женщины от шестнадцати до шестидесяти лет и мужчины до шестнадцати и после шестидесяти лет. Работали в две смены по двенадцать часов, жили в вагонах.

А.И. Смирнова

НАС ВСЕХ ПОДДЕРЖИВАЛА АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ

Каждый год к концу января я начинаю себя чувствовать тревожно. Это приближается день освобождения Ленинграда от блокады, и как бы ни было парадоксально то обстоятельство, что это день снятия блокады, а не начала ее, и надо бы радоваться, но получают-ся дни тяжелых воспоминаний, потому что к этому времени было за плечами много потерь и невыносимых тягот. Если бы мне предложили прожить мою жизнь заново, включая войну, но так, чтобы я ничего не знала о том, что ждет меня, то как ни соблазнительно прожить вторую жизнь, я бы не взяла ее именно из-за блокады. И.С. Тургенев написал: «Хочешь счастья — познай сначала горе». После войны я всегда чувствовала себя счастливой, что бы ни было; и еще долго было странное чувство, что мне подарена жизнь кем-то, кого уже нет, и я проживаю и еще чувствую-то жизнь.

...За три месяца до войны мне исполнилось 16 лет, я была полна радостями того возраста, школьными заботами. Мы с подружкой испытывали даже чувство влюбленности в одного и того же мальчика. Всей компанией мы часто ездили гулять в парки Пушкина. День войны пришел неожиданно. Был прекрасный летний воскресный день 22 июня. Мы с подружкой собрались на весь день на остров Вольный (в конце Васильевского острова), который вдавался в Финский залив своей узкой болотистой частью. У ее родителей, как у многих ленинградцев, стояла там моторная лодка, туда обычно ездили с целью покататься по заливу. На Вольный с Голодая перевозил на лодке старенький лодочник. В то солнечное утро он был очень мрачен и молчалив, а



*Людмила Ивановна
Смирнова, научный сотрудник
Отдела Кавказа, Средней Азии и
Казахстана. Во время войны
работала санитаркой
в госпитале. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».*

мальчишки, попрыгавшие в лодку, без умолку гадали о войне. Подруга насмешливо заметила: «Разве мальчишки могут говорить о чем-то другом», — а лодочник печально ответил: «Началась война!». Так, в лодке, посреди заливайки между Вольным и Голодаем, я узнала о войне. На острове уже не было беззаботной атмосферы. Громко звучала музыка по радио, потом передавали речь Молотова. Мужчины с мрачным видом затагивали лодки в сараи, женщины молча собирали вещи и еду. Остров опустел.

В то лето мы, школьники, работали по заданию школы и ЖАКТа. Я разносила повестки военкомата по домам. Квартиры были какие-то пустые, люди очень молчаливые, и мужчин я почти не встречала, часто мне говорили, что они уже ушли добровольцами. Очень грустно было выполнять эту работу.

Вскоре нам поручили разбирать перегородки на чердаках домов (раньше каждая квартира имела свой чердак для сушки белья). Мы ломали сухие пыльные перегородки, без конца чихая от пыли. Доски выносили во двор, а оставшиеся балки и прочее красили специальной белой противопожарной краской. Чердаки стали колоссальными — от края и до края дома. Мы и представить себе не могли, как наша работа поможет впоследствии при тушении «зажигалок». На чердаки мы притаскивали воду и песок.

Кроме этих работ мы, школьники, помогали переоборудовать некоторые школы под госпитали. По молодости лет мы успевали и побаловаться, и посмеяться, и совсем не верилось, что идет война. Верить начали тогда, когда стали провожать женщин с детьми в эвакуацию. Я помогала женщинам нести легкие чемоданчики с одеждой, вести детей. Летом уезжали еще неохотно, многих заставляли, они отбивались, а те, кто уезжал, были в полной уверенности, что скоро вернутся. Из нашей квартиры уехали все соседи. Мы с мамой должны были уехать к отцу, который работал тогда по призыву Кирова в Хибинах, где наша семья прожила несколько лет, но отец прислал телеграмму, чтобы мы остались, так как у них тоже идет эвакуация на Урал и в Казахстан. Так мы остались в Ленинграде.

Первые известия о приближающемся фронте принесли нам женщины, которые были отправлены на рытье окопов в Лужском направлении. Под натиском немцев они бежали оттуда. Вскоре заняли Павловск и Пушкин, где жила семья моего дяди, и он (семья эвакуировалась) едва успел приехать на одном из последних грузовиков, которые всю дорогу бомбили. Грузовики вынуждены были останавливаться, а люди — прятаться по канавам и кустам.

Вскоре в магазинах начали пустеть полки. Мама давала мне деньги, но купить практически было нечего, и я несколько раз покупала кофе в зернах — как он нам помог потом! Мы пекли из гущи скользкие лепешки на касторке, но, к сожалению, кофе кончился уже в ноябре. Еще хуже стало с продовольствием после пожара на Бадаевских складах, где хранились продукты для города. Они горели несколько суток, большое пламя и дым можно было хорошо видеть отовсюду. Мы не подозревали, что это сгорали и наши жизни.

Город стал готовиться к обороне и уличным боям. Мы помогали засыпать песком стеклянные витрины на первых этажах, оставляя отверстия для оружия, рыли окопы. Помню, как во время налетов людей заставляли прыгать в окопы в Румянцевском (Соловьевском) саду. Мы помогали оборудовать бомбоубежища в подвалах домов, в которые спускались только вначале, потом старались не ходить туда — казалось, что наверху ты более свободен, и вообще — чему быть, того не миновать! Дома были старые, толстостенные, считалось наиболее безопасным вставать у капитальной стены или между дверями на лестнице.

Осенью мы пошли в школу, но оказалось, что в ней расположился госпиталь, и нас послали в школу на 8-й линии около Большого проспекта (мы жили на 2-й линии Васильевского острова). Занятия шли безалаберно, учителя чужие, состав ребят непостоянный из-за частых переводов из школы в школу. Однажды в школу попала бомба, и нас направили на 5-ю линию. Это была моя последняя школа в осажденном городе.

Наступил декабрь. Было очень темно, холодно, и без конца бомбили. Чаще всего мы учились в бомбоубежище под зданием школы, но туда приходили с детьми из соседних домов, дети капризничали, их громко успокаивали. Из программы нашего 9-го класса больше всего запомнилось объяснение закона маятника Фуко, который учительница замерзшими пальцами старалась остановить, а он все качался и не мог остановиться, потому что Ленинград постоянно бомбили, а дома остекленели от мороза. Уроки литературы казались странными сказками, неправдоподобной жизнью кого-то где-то. Наступало тяжелое время, когда голова отказывалась думать о чем-либо, кроме крошечки хлеба. Осенью мы ездили на трамвае куда-то в поля, где давно сняли капусту, но остались торчать высокие жесткие, как дерево, кочерыжки. Люди с мешками рубили их. Мы тоже набрали два рюкзака, и я удивлялась, что эта вареная жвачка такая вкусная. Но и ее съели к декабрю.

Люди боролись за жизнь как могли. Мы с мамой и бабушкой получали иждивенческие карточки, и никаких продуктовых запасов не

было. Мама строго делила наш хлеб на три части, и мы ели три раза в день эти маленькие дольки, стараясь не торопиться, медленно жевать и пить горячую воду. С водой становилось все хуже. Ее уже не было в домах, она кончалась и во дворах, куда выводили трубы водопровода. Мы потянулись к замерзшей Неве. Ближе всего нам было к Тучкову мосту. На саночки ставили бельевой бачок и ведерочко поменьше. Шли медленно, так как сил было мало везти даже эти пустые посуды. Недалеко от Тучкова моста у набережной Макарова были пробиты проруби. Зима стояла очень морозная, проруби все сужались, вокруг них нарастали высокие наледы от пролитой воды. Чтобы достать воду, я забиралась на наледь, ложилась ничком и руку с ведром опускала в прорубь. Сзади меня держали за ноги, чтобы не соскользнула в воду. Наполнив бачок, промерзшие и обессиленные плелись домой. Здесь было еще хуже — надо было поднять воду на 4-й этаж. По нашей лестнице жильцов почти не осталось: одни уехали, другие умерли. Осталась большая семья с детьми на первом этаже, супружеская пара с тремя подростками на нашей площадке да мы в пустой квартире. Дом промерз так, что на кухне все было покрыто белой изморозью.

Еще осенью ленинградцы стали сооружать в комнатах печурки, которые быстро нагревались, и на них можно было готовить еду. Мы тоже поставили такую печурку, закрыли наглухо вторую комнату, все окна и двери заткнули половиками, тряпьем, порттьерами, но это помогало мало. Трудно было с дровами. Дрова лежали в сарае во дворе, надо было принести их на кухню — мама понимала, что силы уходят, и вряд ли мы сможем за ними часто ходить. Носили дрова понемногу в мешке за спиной. Сколько бы мне ни приходилось впоследствии физически трудиться, этот труд не мог сравниться ни с чем. И однажды я опозорилась. Мама поправила мой мешок за спиной, я вдруг пошатнулась, мешок с грохотом упал, а я — расплакалась. Помню, что плакала от безнадежности, беспросветности, от того, что очень хотелось есть и мне не выдержать мучений. И еще от стыда, что заревела. Мама бросилась ко мне, подумав, что меня ушибло мешком, но сразу поняла все. Мы стояли в сыром, темном сарае. Свечка догорела, кругом стояла жуткая тишина. Мама обнимала меня, бормоча ласковые слова. Потом она куда-то ушла и вернулась с маленькой баночкой хряпы. Оказывается, она ходила к соседке и умолила ее дать немного черной кислой капусты (хряпы). Эта женщина нас тогда очень выручала. Дома мама сразу растопила печурку, и мы ели щи из хряпы, пили горячую воду раньше положенного времени. Мне молчаливо со-

чувствовали, хотя говорили о другом, а я никогда в жизни не простила себе этого малодушия, отступления от негласно установленного мужества в поведении. В то время люди страдали, мучались, но я не видела плачущих, может быть, плакали в подушку, а на людях — только те, кто получил похоронку. Нас всех поддерживала абсолютная уверенность в победе. Она жила в нас, иначе мы не смогли бы выжить. Это был не ура-патриотизм, а глубокое внутреннее чувство. Мы глубоко переживали не только ленинградское горе, но потерю советских земель, жалели военных, в смелости которых не сомневались, но понимали, что им очень трудно.

С нами жила моя няня Таня, ставшая полноправным членом семьи. Она очень любила меня и баловала. Когда я выросла, мама предложила ей уйти, поступить на работу, создать собственную семью, но она считала нас своей семьей, меня — своей «доченькой», замуж не пошла и говорила, что мы ее и похороним. Так оно и вышло. Она вернулась в декабре перед Новым годом с окопов совсем больная и вскоре умерла.

В январе 1942 года в Ленинграде наступил пик смертности. Умирали целыми семьями в квартирах или прямо на улицах. Если у умерших в квартирах оставались родственники, они заворачивали покойников в одеяла или простыни, выносили на улицу или оставляли в подъездах домов — везти на саночках на кладбище уже не было сил. Трупы подбирали специальные машины, везли в морг, а оттуда в братские могилы. 25 января, в день своих именин, умерла моя няня Таня. Мама и тетя завернули ее в одеяло, завязали, и мы с тетей повезли ее на саночках в братскую могилу за Смоленским кладбищем, где раньше было картофельное поле. Чем дальше, тем тяжелее было везти. Мы ехали, не торопясь, молча, но надо было успеть до темноты. Этот путь от 2-й линии туда и обратно занял весь день. Чем ближе мы подъезжали, тем больше видели таких же, как мы, плетущихся, закутанных до глаз людей и саночки. Дома кончились, начался пустырь, виднелись маленькие строения вдали и какие-то непонятные предметы. Подъехав поближе, мы увидели: это умершие, взрослые и дети, застывшие в самых невероятных позах. Очевидно, люди везли хоронить своих близких, но не доезжали, потеряв последние силы. По лицам и позам умерших можно было понять, как мучительна была их смерть. А кругом валялись детские куклы и игрушки!

Подойдя к ближней вырытой траншее, мы увидели, что длинный, темный сарай, стоявший сбоку, — морг, заполненный до отказа. Умершие штабелями лежали и у стен сарая. Дно нашей траншеи тоже

оказалось заполненным. Мы решили сами положить Таню в могилу. Я стала спускаться, ступая на выбоины и выступы. Потом тетя спустила Таню, а я осторожно повезла ее по мерзлому грунту. И уложила на дно. С трудом поднялась потом наверх, оступаясь и падая, пока не поймала протянутую тетину руку. Уже в темноте мы прибрели домой.

В январе двоюродная сестра устроилась на работу санитаркой в больницу, где для поддержания сотрудников главврач приказала раздать часть сухой горчицы, заготовленной для горчичников. Мы ее вымачивали, отстаивали, немного просушивали и пекли лепешки, едва смазывая сковородку касторкой. Еще раньше мы съели все гомеопатические сладкие шарики, какие имелись, и ни с кем ничего не случилось.

Вспоминая то время, я хочу сказать, что, несмотря на все трудности, мы жили «не хлебом единым». Мы слушали радио, при фитильке коптилки старались читать книги. Мне больше всего нравилось читать про любовь, особенно в произведениях Тургенева и Ж. Санд. И очень нравились описания пиршеств. В конце концов мама и тетя стали вслух читать кулинарную книгу Молоховец. Это было отвлечение от голодной действительности. К нам за книгами приходили и соседи по дому.

В те дни начала плохо себя чувствовать бабушка. Ей велели лежать, беречь силы, что было нельзя делать. Надо было хоть как-то двигаться, в чем мама ее все-таки убедила. Мне пришлось идти за лекарством, которое можно было купить только в аптеке на Загородном проспекте. Меня накутали, и я побрела по всей 2-й линии от Среднего проспекта до Невы, спустилась на лед у Соловьевского сада. Лед в ту зиму был очень толстый, это я знала по прорубям на Неве. К Медному всаднику вилась тонкая тропинка через многочисленные торосы. Идти было трудно, я часто останавливалась посреди Невы передохнуть. Где-то ухали орудия. Бомбежки и обстрелы пока не начинались. Было так красиво в розовато-белесой мгле. Я стою одна посреди города, вглядываюсь в берега моего Ленинграда и вдруг почувствовала его живым, молча страдающим. Но он стоял такой уверенный и гордый, как будто пренебрегал своими разрушениями, не сдавался. Насмотревшись, я будто живой воды напилась, и мне стало легче.

В феврале я устроилась на мою первую в жизни работу — рабочей на фабрику «Красный Октябрь», где до войны выпускали пианино, а в войну — продукцию для фронта. Сначала работала на дворе, потом нас послали колоть лед на набережной у моста Лейтенанта Шмидта и Академии художеств. Мне выдали большие рукавицы и лом, который вываливался из рук. Вскоре нас послали за город, на окопы, очищать

их от завалов снега, чтобы солдаты могли ими пользоваться в случае надобности. Договорились все прийти к одной из работниц, чтобы ехать всем вместе. Встала я ночью, в 4 утра была у нее, и мы отправились пешком к Финляндскому вокзалу, откуда уходил наш паровой поезд часов в 5 или 6 утра. Надо было доехать до станции Пери. Приехали мы только к вечеру. Из-за обстрелов и по другим причинам поезд часто останавливался, мы выходили и «рассыпались».

Нас поселили в сараях и бывших конюшнях, где были устроены нары. Спали мы в одежде, стараясь прижаться друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Нас кормили три раза в день, конечно блокадной едой, но хорошо помню горячие черные кисловатые щи, после которых хотелось спать. Мы целыми днями выгребали лопатами снег из окопов, но снег уже таял и стекал обратно в окопы. Лопаты со снегом были очень тяжелыми. А когда над нашими головами высоко в небе пролетали бомбардировщики бомбить наш Ленинград, работа валилась из рук. По направлению самолетов, по отзвукам бомбежки мы пытались определить, какой район бомбят, плакали от страха за своих и посылали проклятия фашистам. Вскоре самолеты летели обратно, облегченные, с другим, высоким звуком, а мы пытались предсказать, что они натворили в Ленинграде. И так было каждый день...

Однажды усталые мы брели в свой сарай и, увидев попутный грузовик, попросили нас подбросить. Солдаты подняли нас в кузов. Завязался разговор, солдаты очень нас, ленинградцев, жалели. Мы все спрашивали их, когда же они погонят фашистов. Нас успокаивали, обнадеживали. А затем солдаты достали из-за пазухи свои краюхи хлеба и отломали нам всем по куску. Нам было неудобно, отказывались, но они так искренне угощали и так сочувствовали нам, блокадникам. Живы ли эти щедрые солдаты, где-то они?

В Пери мама прислала мне письмецо, из него я узнала, что дядя ушел на фронт, тетя с ребятами переехали в комнату, которую им выделили, а моя любимая бабушка, не выдержав голода, умерла. У мамы не было сил везти бабушку на кладбище, она могла довести ее на саночках только до морга — и всю жизнь потом каялась. После войны мы с мамой нашли ее в списках похороненных на Пискаревском кладбище. В то время там на траншеях ставили столбики с годом и месяцем захоронения, количеством погребенных (на бабушкиной траншее стояло «3 тысячи»). Я очень любила бабушку и переживала ее смерть. Вспомнилось, как осенью, когда немцы подошли к Ленинграду, моя бабушка тихо, спокойно сказала маме: «Не может быть, чтобы немцев пустили в Ленинград, этот город не отдадут. Но на всякий

случай ты возьми топор и встань у дверей, не открывая, а если ворвутся — то бей, не жалея. А Людмилу мы спрячем». Мне тогда стало страшно именно оттого, что это говорила моя тихая, тактичная, скромная бабушка, которая всегда хорошо относилась к людям. Мама осталась в городе одна.

С окопов я вернулась в мае и поступила работать санитаркой в больницу Водников на Васильевском острове, Съездовская, 15. Когда-то это была первая грязе- и водолечебница. Во время войны она стала небольшим стационаром, где лечили и подкармливали обессиленных блокадников. Вспоминаются врачи, медсестры, санитарки, которых было очень мало, но работали они самоотверженно. Мы неохотно уходили домой, в пустые холодные квартиры. Здесь казалось и не так страшно. Меня назначили связистом, в ночное время. Я сидела в кресле около громкоговорителя, где всегда звучал ленинградский метроном, а во время ночных налетов должна была оповещать все посты, чтобы они принимали боевую готовность на случай необходимости переноса больных. А как хотелось спать после дневной работы! Кроме основной работы, нас посылали на разгрузку дров с баржей на Калашниковой набережной. Мокрые скользкие бревна скатывали прямо на панель, привозили в больницу, пилили, кололи, сносили в подвал. И все это делали голодные немощные женщины и мальчики допризывного возраста. Посылали нас разбирать на дрова и разрушенные дома в Новой Деревне, на набережной Макарова (там, где сейчас стоят белоснежные туристские корабли и «Метеоры»). Разбирать дома было тревожно — остатки балок, лестниц, полов обваливались под ногами, стояла едкая пыль, но главное то, что везде были остатки давно исчезнувшей жизни. Мы смотрели на ненужную куклу, искореженную кровать, сломанный стол... Было тяжело. У меня сохранились некоторые справки тех лет и рекомендации в комсомол от двух старых партийных сотрудников.

Казалось, все люди, лежавшие в больнице, были старичками-скелетами. Не верилось, что это люди средних лет и молодые. Ранняя седина, громадные от голода глаза, полные страдания и надежды, улыбка, открывавшая все зубы от первого до последнего — настолько человек походил на скелет. И эти люди были счастливы, что они вместе, что им дают лекарства (им бы дать побольше еды!) и кормят хоть как-то три раза в день горячей пищей. Лечили их, скорее, психотерапией: худая, тоже голодная потемневшая врач, но аккуратно причесанная, в (по возможности) чистом халате, входила в палату с улыбкой, шутками, приветливыми словами, садилась по очереди к каждому больному, слушала его, советовала. Больные заранее готовились к встрече с вра-

чом в определенный час. Радостно поздравляли друг друга с советскими праздниками или победами на фронтах и как бы на некоторое время оживали, говорили о военных и блокадных делах. Особенно мне помнится один длинный очень ослабевший старик, который в уме занимался своей высшей математикой и даже подсчитал мне, сколько километров я прохожу за день при своей работе. Были умирающие подростки — девочки и мальчики, которые ожили при регулярном питании и внимании персонала. Но одного мальчика, Колю, я запомнила навсегда. Его привезла мать совсем безнадежным, маленьким, бессильным. Через день-другой он немного ожил, но ел через силу. Приходила мать и кормила его. Мне сказали, чтобы я его всячески уговаривала есть. Он оказался страстным любителем книг и знатоком серьезной литературы. Он в восторге приподнимался с подушки и, глядя огромными восторженными глазами и улыбаясь всеми зубами, очень интересно говорил. Оказалось, что ему всего 15 лет. Больше всего он любил «Дон Кихота», считая его гениальным произведением, и был просто сражен, что я еще его не читала. Просил мать принести книгу, и она действительно ее принесла, эту толстую, тяжелую, изданную на хорошей бумаге книгу. Разговаривать с ним было интересно, но много нельзя, его надо было покормить, а он не ел, что было плохим признаком.

Однажды утром я пошла к нему, но кровать была пуста. Коли не стало. Многие годы хранилась у меня его книга, и всегда при речи о Сервантесе я вспоминаю Колю. Больница многим поддержала силы, вернула к жизни.

В дни снятия блокады я лежала в больнице, и все счастье освобождения, потоки радостных слез были за ее стенами. Бежали друг к другу сестры, больные и врачи, шумели, целовались. На улицы, говорят, из своих мрачных комнат высыпали все живые блокадники и бросались, незнакомые, друг к другу в объятия. Радовались, что не будут сыпаться на нас бомбы и снаряды, что прибавят еды. Но у некоторых организм так был подорван, что все-таки еще умирали и умирали. И все же, несмотря ни на что, впереди была надежда на жизнь.

САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ ИСПЫТАНИЕМ БЫЛ ГОЛОД

...В конце августа 1941 года мужчины — сотрудники учреждений АН СССР, расположенных на Стрелке Васильевского острова, — на основании решения райкома ВКП(б) объединились в отряд самообороны, который, в случае необходимости, должен был устранить грозящую опасность для объектов района. Командиром отряда утвердили научного сотрудника Института востоковедения Н.К. Дмитриева, комиссаром отряда был назначен автор настоящих воспоминаний. В программу обучения бойцов отряда входила строевая подготовка, изучение материальной части стрелкового оружия, гранатометания...

Вспоминается ночь 5 декабря 1941 года. Фашистская авиация совершила массированный налет на Ленинград. Подверглась бомбардировке и Стрелка Васильевского острова. Фугасная бомба упала на площадь между зданиями Библиотеки Академии наук и университета, совсем недалеко от парадных дверей Библиотеки, но не разорвалась, а ушла глубоко в землю. Там она пролежала до 1944 года, когда ее извлекли отважные саперы.

Самым тяжелым испытанием для нас было недоедание, затем голод, который вырывал из наших рядов родных, друзей, товарищей. Своим сознанием мы еще могли понять потери от огня противника, на поле боя, где шла борьба за свободу и независимость Родины, за жизнь города, но никак не могли смириться со смертью из-за нехватки или полного отсутствия пищи, когда буквально на глазах таял человек, когда слабость организма не только не позволяла двигаться «по прямой», но гасила всякое желание даже думать о чем-то другом, кроме еды...

В начале блокадного времени академическая столовая, расположенная в Таможенном переулке, продолжала работать, и в ней можно было получить обед, за который из продовольственных карточек вырезали установленное число талонов. Иногда давали дрожжевой суп, не вырезая талонов. (Он имел вид мыльной воды и не отличался приятным вкусом.) Иногда можно было получить биточки из хлопковых жмыхов, они были темно-зеленого цвета и почти несъедобны. Однако считалось большой удачей получить эти кушанья при сохранении талонов.

В столовой всегда имелся кипяток. В ту холодную зиму там можно было обогреться, встретить знакомых, услышать от них новости или подробности уже известных событий, обсудить их...

Г.Г. Шаповалова

«Я НЕ ГЕРОЙСТВОВАЛА, А ЖИЛА...»

Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дышала одним дыханием с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила...

О. Берггольц

В этот день, 22 июня, было необыкновенно по-летнему тепло, солнечно, сверкала только что распустившаяся листва, даже в городе в воздухе чувствовался аромат цветения. И на душе у меня было празднично: я сдала последний госэкзамен на отделении литературы и языка в Педагогическом институте им. А.И. Герцена и решила отметить для себя этот день — пойти в театр. Давно приметил я, что 23-го в Кировском театре должен идти «Лоэнгрин» с участием Лемешева и не брала билеты лишь из суеверия.

Мой папа, директор 384-й школы Кировского района уходил из дому рано в 7 часов (мы жили на углу Пушкинской и Бармалеевой) и, чтобы не шуметь и не будить меня, не включал радио. И вот я с легким чувством «свободного» человека, закончившего вуз, уже работающего в Пушкинском доме (ИРЛИ АН СССР) и законно имеющего выходной, иду по Большому проспекту Петроградской стороны, и мне кажется, что и всем так же хорошо и легко, как мне, и мне хочется улыбаться, и я даже не замечаю, что в идущих мне навстречу людях произошла какая-то перемена в выражении глаз, лиц... Но вот застучал метроном... А, подумала я, наверное мы еще установили какой-нибудь мировой рекорд... И тут раздается незабываемый голос диктора Левитана: «Говорит Москва! Слушайте чрезвычайное правительственное сообщение...». Когда в литературе встречается фраза «увидев (услышав) что-то он (она) ошеломлен(а)»,



Галина Григорьевна Шаповалова, научный сотрудник отдела Восточной Европы, фольклорист. Работала санитаркой в госпитале и на оборонных работах. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

обычно пробегаешь глазами, воспринимая, как метафору удивления. Но, увы, это реальное ужасное ощущение, когда человек не может осмыслить реальности произошедшего, когда «обрывается» и уходит куда-то вглубь сердца, ноги и руки перестают слушаться, и ты весь превращаешься в слух, зрение, как, все кажется, что ты что-то не понял. Вот это произошло и со мной. Я не понимала значения слова «война», но по лицам окружающих взрослых людей (а по многим из этих лиц текли слезы) я поняла, что на нас надвигается кошмар. Толпа, молча стоявшая у репродуктора, не шелохнулась во все время, пока говорил Молотов, и даже когда в конце передачи прозвучали слова, ставшие потом рефреном постоянных передач: «Смерть фашистским захватчикам!» — толпа не сразу разошлась. А когда стали расходиться, каждый, как и я, вероятно, почувствовал, что на плечи легла чудовищная тяжесть, и сколько ее нести? Хватит ли сил? Доживем ли до Победы? Вот характерный психологический момент. Не знаю, как другие, но я и многие вообще просто не представляли, не понимали и не допускали мысли, что война может окончиться не Победой. И при этом скорой. Приходили на память Халхин-Гол, финская кампания, т.е. 3—4 месяца, не больше, а к тому же где-то война будет «там», на границе. Но вот через полчаса зазвонил телефон — срочно вызывали в Пушкинский дом.

Было очень странно зачем-то сколачивать ящики, упаковывать экспонаты, когда было так тепло, солнечно, никаких «неприятных» звуков, в Ленинграде такое чистое небо... Но уже на другой день в этом чистом небе повисли щепелины, окна домов как-то мгновенно «закрестились» бумажными полосками. Заклеивая окна, мы священнодействовали — казалось, это самое главное — и, выполнив «заклейку»-оберег, чувствовали себя в полной безопасности. Не знали мы, что через три месяца, при первых же бомбежках наши бумажные полоски-обереги полетят вместе со стеклами. И хорошо, что не знали. До 14 сентября мы жили спокойно.

В Институте литературы, бывшей таможне, здании, построенном архитектором Лукини в 1831 году на месте сгоревшей старой деревянной таможни, мы выгребали весь мусор, обломки чего-то в прямом смысле столетней давности и засыпали весь чердак песком, привезенным на двух трамвайных платформах с Поклонной горы. Была чудесная «белая ночь». От площади Пушкина, где остановился этот трамвай, мы стояли «цепочкой» до самого здания ИРЛИ и передавали друг другу ведра с песком. До страшного еще было время. Какое оно, мы не знали, а сейчас все были охвачены одним — разгрузить платформу до

6 часов утра, чтобы не задержать движение, засыпать чердак, ящики, мешки песком. Работали все с равным напряжением — и дирекция, маститые ученые, технический персонал, и мы, молодежь, только начинающие свой путь в науке. Окончив в срок это дело, переключились на укладку экспонатов. О том, что нужно поспать, отдохнуть, — разговору не было, важно было другое — «успеть!».

Но вот 29-го поступило распоряжение: «Всем институтам выехать на оборонные работы». И, оставив несколько человек в Институте и тех, кто сопровождал ящики с экспонатами в глубь страны, мы выехали 30 июня на станцию Батецкая Новгородской области. Нам сказали, что мы едем на три дня, мы так и собирались, а пробыли там месяц. Без теплых вещей (лето было очень жаркое), кто в одном сарафанчике, кто в летнем платье. А тут, как на беду, разразилась гроза и после нее — похолодание. Промокли до костей. Сушась у костра, я прожгла дыру на сарафане. Как чинить? Чем латать? Спасибо, кто-то пожертвовал мешочек из-под продуктов. Вот так и ходила недели две. От холода спасались одеялами, завернув половину на туловище и привязав веревкой или мочалой, а другой конец накинув на голову. Особенно живописно мы выглядели, когда шли по дороге от нашего объекта работы — противотанкового рва — к палаткам, которые, как потом выяснилось, были нами устроены в прямом смысле на передовой, в двух километрах от немцев, а копать мы ходили километра полтора — два в тыл. Да и как рыть, нам показали не так. Одним словом, это был какой-то диверсионный акт. На этой трассе нас работало около двух тысяч человек, в основном женщин с предприятий Васильевского острова. Рядом с нами работала фабрика «Промпуговица» (Волховский переулок). У нас быт был организован отлично, так как среди нас оказались заведующий лабораторией фонограммархива Ю.И. Клочкин и отличный администратор М.М. Калаушин. Остальные мужчины: Д.С. Балухатый, Р.А. Бялый, М.О. Скрипиль, И.П. Еремин и другие составляли «совет старейшин» и выполняли поручения первых двух. Поэтому в первую же ночь по прибытии на «место» — а это был угол между Новгородом и Лугой, шли мы туда часа четыре — мы уже спали в палатках из веток, которые мы соорудили под руководством Клочкина. Мы варили в купленном в магазине ведре суп, кашу и пр. Если бы не работа, в прямом смысле от зари и до зари, то нам просто все это нравилось, как нечто необыкновенное, нам было интересно и даже весело, пока... пока проходившие по дороге войска не заставили нас задуматься... Вскоре выяснилось, что Псков горит, что в Новгороде высадился десант, Луга тоже обстреляна и горит.

В эту ночь, только мы легли спать, вдруг начало полыхать голубоватое пламя, начался какой-то хаос — свист снарядов, разрывы, крики людей. Наши начальники закрыли собой вход в палатку: «Лежать! Не трогаться с места. Убьет, так убьет всех сразу, а выскочите — пропа-ли!». И они были правы. Тьма после вспышек была еще гуще, мы толком даже не знали, где мы территориально. Лес и лес. Обстрел продолжался минут пятнадцать, но нам он показался вечностью. И когда грохот, крики и топот прекратились, от нервного перенапряжения мы просто провалились в сон. А утром выяснилось, что немцы били не по нашему лагерю, а через нас по военной части, которая должна была расположиться за нашим противотанковым рвом в лесу, но, как только стемнело, они тихо ушли. Жертв не было. А вот в нашем лагере, как только начался обстрел, многие повыскакивали и кинулись бежать в прямом смысле «куда глаза глядят» и убежали... прямо к немцам, которые оказались совсем рядом с нами, километрах в полуторах. От «Промпуговицы» осталась только четверть людей, несколько человек вернулись, они-то и рассказали нам про немцев. Какая-то женщина сошла с ума. Вот тут мы поняли, что мы на фронте, а фронт — везде... Стало как-то ужасно холодно внутри. Пошла полная неразбериха: где немцы? где линия обороны? где Ленинград? По дороге группами шли солдаты. Мы все же вышли на свою трассу. К нам быстрым шагом, отделившись от одной из групп, подошел пожилой подполковник. Спустился с нами в противотанковый ров, осмотрелся и присвистнул: «Ну и дела!». Но он не кончил, над нами просвистел снаряд. «Ложись!» — скомандовал подполковник. Мы бросились на землю. Ожидая еще разрыва, мы не вставали, я спросила подполковника: «А разве Вы боитесь снарядов? Вы ведь военный?». Он ответил: «Пуль и снарядов не боятся только дураки! На войне важно остаться живым и выполнить задание, а не “геройствовать” попусту!». И это я запомнила твердо. Пригодилось. Мы, естественно, спросили, почему никто нам не дает команду, что дальше делать? — Он ответил: «Уже никого нет. В Новгороде, Луге — немцы. Срочно уходите на северо-запад. Там Батецкая должна быть». И, неопределенно махнув рукой в этом направлении, он побежал догонять уходящие подразделения.

Мы все поняли. Поняли весь ужас нашего положения. Срочно собрался наш «штаб», послали по трассе собирать всех, кто был там, чтобы двигаться в указанном направлении. Оказалось, из полутора тысяч нас осталось человек 500—600. Пошли скорым шагом. Но уже начало темнеть. Дошли до какой-то деревни и решили переночевать. Пока грели воду, варили картошку, начальники «штаба» М.М. Калаушин и

Л.А.Плоткин решили выйти за деревню и наметить путь следования на завтра. Вышли за деревню. Впереди огромное поле, а по горизонту лес, охваченный заревом пожара. Мы оказались в прямом смысле в огненном кольце, и лишь на северо-западе стоял темный лес, как бы пролет в этом огненном кольце. За ним где-то был Ленинград. Мы вернулись в деревню и, решив перед дорогой отдохнуть, стали устраиваться, — кто на печи, кто на лавке, кто на полу. Но не успели и глаз сомкнуть, как за окном раздался лошадиный топот. Кто-то скакал во весь опор по деревне, кричал: «Где тут штаб ленинградцев?». Мы подскочили к окну... Всадник, заметив нас, круто осадил лошадь и буквально заорал: «Какого черта вы тут сидите! Быстро бегом уходите!.. Немцы!..» — и ускакал. Мы схватили наши пожитки и кинулись бежать вдоль деревни по направлению к «темному лесу». Но у околицы, с проселочной дороги на нас бежали солдаты, неслись телеги, всадники, орудия, и мы невольно, как овцы, сгрудились и остановились, пропуская их, но, заметив нашу растерянность, солдаты закричали нам: «В лес, в лес бегите!..». И мы побежали. Хорошо, как нам тогда показалось, что светила луна и хоть слабо, но освещала нам старую проселочную дорогу, а может быть широкую тропу через лес, не помню, смотреть по сторонам было некогда, мы буквально бежали. Впереди, указывая дорогу и чтобы не сбились остальные, бежал в белой рубашке Б.И. Бурсов. Напрягая зрение, мы старались не упустить из виду впереди бегущего. Отчаянно колотилось сердце, а в голове стучала одна только мысль: «Скорее, скорее...». Иногда над нами пролетали снаряды, но рвались где-то далеко. Где-то вдали слышен был характерный «топот» канонады... И вдруг, о ужас! Лес кончился, перед нами было огромное поле, совершенно голое место, а лес чернел за полем. Чтобы попасть в него, надо было пересечь поле, через которое продолжалась все та же старая проселочная дорога, по которой мы бежали. Но на открытом месте выяснилось, что на небе светит огромная луна и освещает дорогу так, что хоть иголки собирать. А вот слева... слева горела деревня, слышна была немецкая речь, плачь женщин, вой собак, стрельба.

От ужаса мы окаменели. Было похоже, что все с нами кончено. И тогда М.М. Калаушин дал команду: «Ложись! По канаве (она шла рядом с дорогой) ползком через поле! Тихо!» Повторять было не нужно. Все залегли и поползли так тихо, что ни один звук не нарушил стоявшей над нами тишины. Иногда раздавалась приглушенная команда «Стой!», и вся цепочка замирала... Так мы перебрались через поле и, войдя в лес, опять побежали. На каком-то перегоне нам навстречу выскочили бойцы, отступавшие от деревни Лаврово. «Куда бежите-то,

немцы там! Бегите левее на Батецкую!». И мы взяли левее. В ту ночь, как потом мы высчитали, мы пробежали 36 километров. Когда вышли на Батецкую, ее как станции и поселка уже не было, — одни головни, груды кирпича, перекоренные цистерны. Мы прошли в сторону Ленинграда еще с полкилометра и остановились в кустарнике. М.М. Калаушин и Л.А. Плоткин пошли искать полевую рацию в военных частях, чтобы связаться с Ленинградом. Было 5 часов. Я завернулась в одеяло и решила немного вздремнуть — «Вставай, поезд!» — Оказывается, я проспала 4 часа. Было уже 9 утра. Нам действительно подали прямо в лес 4 вагона с паровозом. Мы быстро погрузились и буквально на всех парах покатали в Ленинград. Трудно было поверить, что мы живы, что едем домой, что кошмар пережитой ночи позади. После нас по этой дороге уже не прошел ни один наш состав. Это было 27 августа 1941 года.

Ленинград в конце августа внешне жил еще мирной жизнью, если не считать цепелинов, густо усеявших небо, и наклеек на оконных стеклах. Работали магазины, правда продуктов было немного. Но зато появились какие-то диковинки замшелых бутылок с вином чуть ли не столетней давности. И стояли они каких-то баснословных денег. Зато открылись коммерческие магазины. Хотя мы все еще ходили в Институт, но его уже практически не существовало. Институт был «законсервирован», и все сотрудники, за исключением небольшой группы, были «сокращены по условиям военного времени». Получив расчет, я буквально по какому-то звериному инстинкту самосохранения стала покупать коммерческий хлеб и сушить сухари. Мой папа, человек хозяйственный, рассудительный (он был директором 384-й школы, депутатом Кировского райсовета, награжденным орденом Ленина и Трудового Красного Знамени), буквально издевался надо мной, говоря: «Нет, вы посмотрите на нее! — Сушит сухари! Да что ты в этом понимаешь! Это тебе не 19-й год. У нас продовольствия хватит на несколько лет!».

А я сушила и сушила на керосинке. И засушила две наволочки. Да еще мы, несколько человек, поехали в Шувалово и купили каждый по 3 ведра картошки. Потом я услышала, что в Новой Деревне много валяется листьев от капусты. Поехала. Привезла полный рюкзак этого первого листа. Нарубила «хряпы» и засолила полный бочоночек, в котором мы обычно солили грибы. Мама, которая только-только начала вставать и ходить после тяжелого инсульта, только удивлялась: откуда у меня вдруг прорезалась такая хозяйственность. А мне как-то казалось, что так делать нужно, а почему — объяснить не могла. Потом уже, вспоминая это время, я пыталась осмыслить свои действия. По

отношению к массовому поведению — это была какая-то аномалия. Даже на усеянном капустным листом поле было всего 4—5 человек.

Киноафиши предлагали посмотреть «Большой вальс». Приехал неожиданно мой школьный друг. Его отпустили из-под Ленинграда из части для исполнения задания, разрешив после этого свободное время до 21 часа. «Большой вальс» вполне уместился в это время. Это было счастье. Музыка Штрауса, дивная, упоительная — это мир! Мирные пейзажи, мирная яркая любовь, красивые лица — войны будто и не было... Увы, была! Только карета въехала в лес, раздался вой сирены... экран погас... Мы спустились с неба на землю и пошли со всеми в бомбоубежище. После отбоя досматривать не стали. Действительность слишком не вязалась с тем, что было на экране.

В первые дни сентября в город стали входить наши войска. Лица мрачные, обросшие, у кого винтовка, у кого нет, глаза устремлены на дорогу. Ощущение такое, что будто им как-то стыдно, неловко смотреть нам в глаза, нам, оставшимся внутри кольца и так верившим в своих защитников-бойцов. Они не видели, что у многих из нас при виде их на глазах стояли слезы: «Милые, родные, да разве вы виноваты!».

14 сентября, 16 часов, солнечный осенний день. Я пошла в столовую «Верный путь», что на Кировском проспекте (прямо напротив Пушкарской улицы, где мы жили). Взяв обед для папы, мамы и себя, я уже собралась уходить — тревога. Зааяли зенитки. Спустились в бомбоубежище. Тревога продолжалась долго. Наконец-то долгожданный отбой. Выхожу, при переходе Кировского смотрю сперва налево и замираю. За Кировским мостом вместо голубого неба поднималась черная стена. По ее нижнему краю время от времени вырывались огненные языки. Что горит? Что бомбили? Люди собирались кучками, строили догадки, не отрывая глаз от черной стены, которая, казалось, шла на нас. Шла черным горем — горели Бадаевские склады, сгорала наша надежда «выжить»! Что было дальше — известно. Пайки продуктов резко стали сокращаться. Пока норма хлеба не дошла до 150 грамм. Стали, выходя за хлебом, спрашивать друг у друга: «А где хлеб посуше?» — и бежали (еще бежали) туда. Стало ясно, что мои сухари пригодятся. И очень. Папа помрачнел. Его школа оказалась за линией фронта и он был направлен директором в школу у Нарвских ворот, директор которой ушел на фронт. Когда перестали ходить трамваи, в школу ходил пешком. Через день, по очереди с завучем.

Так начались черные дни блокады. В Институт ходить было и трудно, и незачем. Разве когда проведать. В секторе фольклора стояла пе-

чурка, у стен — кровати, стол. Там жили член-корреспондент В.П. Андрианова-Перетц и доктор филологических наук А.М. Астахова. Они много работали, несмотря на тяжелый быт, и из своих меховых и теплых старых вещей шили варежки для бойцов. Я поступила вольнонаемной сестрой в эвакогоспиталь № 99. Сутки дежурила, потом стояла в очереди за продуктами. Научилась спать стоя, привалившись к стене. Перестали давать свет. Это сделало холод и голод еще ощутимее. В надежде, что вдруг его дадут, хоть на час, не выключали. Иногда и давали. Жили с коптилками. Солярка и еще какая-то смесь керосина с чем-то издавали противный кисловатый запах. Вот такой запах и синий свет (а он был в трамваях, магазинах, учреждениях, когда все казались утопленниками помимо того, что были дистрофиками) я не переношу до сих пор. В сердце сразу поселяется леденящая тоска.

Дни становились все темнее и темнее, все холоднее делался воздух. До середины ноября я еще старалась пойти то в Институт, то в филармонию. Сидели в пальто. Когда начинались обстрелы, лютры издавали легкий звон, похожий на стон. В театре Музкомедии на артистов было трудно смотреть. Но становилось уже не до «отвлечений». Нужно было где-то раздобыть хворост, ломать кусты. А как? Днем — увидят, заберут. Ночью — людоеды. И это не сказки.

Вспоминается одна ночь. Спустя 46 лет охватывает холод ужаса. Была морозная февральская ночь. Темный город освещала огромная луна. Сильно мело. Я, уже после 11 часов, отправилась, как обычно, в очередь, которая выстраивалась около магазина № 8 — угол Плутовой и Большого проспекта Петроградской стороны. Мы же жили на углу Бармалеевой и Большой Пушкарской. Чтобы попасть в магазин, нужно было пройти отрезок в 3 дома по Бармалеевой улице и пересечь Большой проспект. И вот я вышла закутанная для стояния на всю ночь. На мое пальто была надета папина шуба, два платка, на ногах туфли вдеты, опять же, в папины валенки. Стоять в таком виде могла твердо, а вот быстро идти, тем более бежать, не могла. Под всей этой экипировкой на груди у меня в специальном мешочке лежали карточки 5 человек — мамини, папины, мои, тети и дяди, которые жили с нами в одной квартире, т.е. на мне висела жизнь пяти человек.

Я вышла на темную лестницу и стала спускаться медленно вниз. На втором этаже что-то преградило мне путь, что-то лежало на ступеньках. Наклонилась — труп. Страха не было. С трудом перешагнула и вышла на улицу. После темной лестницы на улице было светло, как днем, и я пошла вправо к Большому проспекту. И тут, буквально через

несколько шагов я заметила, что из-за водосточной трубы отделилась фигура и со стоном, как стонали только дистрофики, вытянув руки с костлявыми пальцами, он направился ко мне. Глаза его фосфоресцировали, как у волка... И опять эта защитная функция организма — никакого страха. Голова работала четко: сколько шагов осталось? — секунда. Есть ли у него нож? Схватка неизбежна — хватит ли у меня силы задушить его? Ведь иначе со мной погибнет 5 человек. Я невольно в последний раз посмотрела на небо. И о чудо! Из-за угла, по Бармалеевой, быстрым шагом шел офицер. Я кинулась к нему. «Товарищ офицер, пожалуйста, проводите меня через Большой проспект к магазину. Это дистрофик-людоед!». Офицер оценил обстановку сразу. Прикрикнув на дистрофика, он, взяв меня под руку, помог перейти улицу. Этому неизвестному человеку мы обязаны жизнью. А дистрофик, скуля, опять куда-то запрятался, поджидая очередную жертву.

Были страшные дни 29—31 января 1942 года, когда вредительски был перекрыт водопровод, и пекарня выпекала хлеб только на той воде, которую привозили с Невы. Мне повезло. Как всегда стояли с ночи. К утру стали подходить какие-то типы и толпиться около начала очереди. Очередь заволновалась. Решено было создать «цепь» из тех, кто помоложе. В это охранение вытолкнули и меня. Мы — несколько женщин взялись под руки и, оттеснив типов, твердо заняли свои позиции, чтобы они не проникли в дверь булочной. Очередь успокоилась. Но вот щелкнул замок, дверь открылась, «типы» ринулись в дверь, смяв нашу цепь и буквально втолкнув нас в магазин. Оказавшись у прилавка, я отоварила все карточки на 3 дня. Магазин оказался весь набит толстомордыми мужиками-спекулянтами, а несчастная очередь так и осталась ни с чем.

Жизнь приобрела свой ритм: очередь, приготовление еды, священнодействия поедания — одни сутки. Вторые — госпиталь. И как только в стороне Пулковских высот начиналась канонада — опять тот же вопрос раненых: «Сестрица, что же там? Неужели опять наши не провались?» — А раненых везли и везли. Но вот выглянуло, пригрело солнышко и (увы!) осветило весь неприглядный, мягко выражаясь, вид нашего любимого города. Начались расчистка, уборка, вывозка и очистка, и к середине апреля город уже готов был встречать Весну. Постепенно прибавлялся хлебный паек. По карточкам получали тушенку — как это было вкусно, да еще с кашей! Начали оживать учреждения. Но страх пережитой зимы не оставлял. Люди не улыбались, глаза как бы окаменели. Самое страшное это было видеть на детях. Невольно думалось: «А доживут ли они, доживем ли мы до того времени, когда за-

хочется смеяться, хохотать, веселиться?». Дожили. Но до этого момента вспоминается еще одно, незабываемое...

Приближалось 10 февраля 1945 года — 107 лет со дня смерти Пушкина. Я уже опять работала в Институте литературы в должности пожарника. Дирекция решила в этот день провести гражданскую панихиду на квартире Пушкина (Мойка, 12). Для подготовки хотя бы кабинета на квартиру были посланы пушкинистка Е.В. Фрейдель и я. Мороз стоял лютый. Скрипел под ногами снег. Красно-оранжевое солнце, зависнув за мостом Лейтенанта Шмидта, как-то холодно взирало на застывший город. Мы шли от Стрелки наискосок через Неву, чтобы сократить путь, и когда пришли к дому — ахнули. Все окна плотно заколочены досками (недалеко упала бомба). Двери — тоже. Еле-еле отодрали доски и открыли примерзшую дверь. Внутри по комнатам пробирались со свечкой. За четыре года все покрылось толстым слоем пыли, штукатурки, валялась ломаная и неломаная мебель.

Прежде всего расчистили кабинет и прихожую, куда должна была прийти капелла, вернее то, что от нее осталось. Но как мыть? Температура явно минусовая. Пошли к соседям. Нагрели ведро воды и решили вдвоем мыть чтобы быстрее... Не тут-то было — тряпка примерзла к полу. Тогда мы еще раз предельно нагрели воду и одна проводила тряпкой мокрой, а другая — сухой. Так мы вымыли кабинет, поставили постамент около дивана, на него — бюст Пушкина. На другой день с утра монтер должен был провести в кабинет электрическую лампочку.

Настало 10 февраля. Как и до войны в 14 часов началась гражданская панихида. 60-вольтовая лампочка с потолка освещала тех, кто пришел почтить память поэта. Их было немного. Почти все поместились в кабинете. Проникновенное слово произнес Л.А. Плоткин, выступил В.А. Мануйлов. Заслуженная артистка Тимэ (или Мичурина-Самойлова?), сказав о значении Пушкина для театра актера, как учит Пушкин русскому языку и тем самым живет и остается жить с народом, опустилась на колено, чтобы возложить лавровый венок к подножию постамента... Хор капеллы запел «Грезы» Шумана. Тут фотокорреспондент подключился к единственному «живому проводу», произошла перегрузка, и свет погас. Мы стояли в могильной темноте, звучала дивная музыка Шумана, и никто не только не вышел или шевельнулся, но, казалось, люди перестали дышать, пока хор не перестал петь. Когда монтер устранил замыкание и свет зажегся, — не было ни одного лица, не залитого слезами. Но никто их не стыдился. Боюсь, что это были наши первые слезы за годы войны. Пушкин как бы вдохнул,

вернул нашим сердцам и душам жизнь, наши жизни стали человеческими.

И еще. 9 мая 1945 года. Вероятно, уже накануне было известно об объявлении мира, и нам было дано распоряжение запастись... кто чем мог, — веточками березок с молодой листвой, подснежниками, лентами, бумажными цветами. Казалось, что все это правда и все же не верилось, было страшно, а вдруг?! (Вот тут было страшно — мы уже опять были людьми.) После объявления по радио из всех репродукторов полились звуки маршей, все что было в музыкальном арсенале торжественного, яркого, бравурного. К 12 часам нам было сказано выйти на Съездовскую линию Васильевского острова и встать на панели. Часа в два появились первые подразделения из-под Пулковских высот. Вот это была радость! Усталые, запыленные, они входили в город победителями. Они, как гирлянды роз, принимали наши жалкие букетики, мы обнимались, что-то кричали. Кто смеялся, кто плакал и смеялся сквозь слезы. На всю жизнь остались передо мной лучистые глаза солдата, которому я передала свой букетик подснежников. В них было солнце Победы, радость жизни! Они как бы кричали: «Я жив! Мы выстояли! Мы победили!».

ВОЕВАТЬ МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ



Ростислав Васильевич Кинжалов, заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, талантливый ученый и писатель, главный научный сотрудник Отдела этнографии Америки МАЭ. В годы войны работал политпросветработником в прифронтовом госпитале.

В июне 1941 года я закончил среднюю школу в г. Воронеже с аттестатом отличника и был принят без экзаменов на I курс филологического факультета ЛГУ. 21 июня, в субботу, у нас состоялся выпускной вечер, но был я на нем недолго и рано ушел, так как в последней декаде месяца должен был состояться Всесоюзный комсомольский кросс, а я как секретарь бюро ВЛКСМ школы отвечал за его подготовку. В понедельник мне надо было присутствовать на утреннем совещании в горкоме комсомола. Хотелось основательно выспаться после экзаменов.

Встал я в воскресенье часов около одиннадцати, но скоро пришел двоюродный брат и сказал, чтобы мы включили радио: ожидается выступление В.М. Молотова. О войне никто из окружающих меня не думал, выпускники мечтали о вузах, школьники и учителя — о каникулах. Недавнее сообщение ТАСС успокоило тех, кто смотрел на складывающуюся военную обстановку в Европе глубже. Большинство же моих сверстников, да и люди старше нас

свято верили, что, если и разразится какой-либо военный конфликт, он закончится быстро и победно. Думаю, тут действовали и сообщения о недавних победах наших войск у озера Хасан и на Халхин-Голе и особенно книга Н. Шпанова «Первый удар» и кинокартина, созданная по ней. Они пользовались тогда особой популярностью. И хотя фильм вышел на экраны уже после заключения пакта о ненападении с Германией, в противнике легко угадывались фашистские войска. По нему, как только враги слегка потеснили наших пограничников, советская

бомбардировочная авиация наносила сокрушительный удар. А там рабочий класс восставал против фашистского режима и брал власть в свои руки. Поэтому в первые дни после нападения все мы (во всяком случае, молодежь) свято верили, что так и будет. Сказывалась и вера в могущество Красной Армии и надежда (скорее — уверенность) в сознательности трудящихся масс Германии, в то, что они не захотят воевать против первой страны социализма. Действовали и появлявшиеся в первое время в газетах фотографии, где наши бойцы вели сдавшихся в плен немецких солдат. Я пишу так, стараясь как можно правдивее передать чувства, владевшие тогда нами. Горькое осознание действительности пришло к моим соклассникам позже, когда нас послали под Смоленск рыть окопы. Меня лично в первые дни несколько настораживало лишь то, что военные сводки очень скупы, по радио часами звучат марши, а сообщения о нашем ответном ударе все нет и нет...

В понедельник, после совещания в горкоме и выступления на школьном митинге, комсомольцы начали подготавливать некоторые школы под госпитали. Это распоряжение нас не удивило, потому что во время финской войны мы это уже делали (тогда было много обмороженных бойцов).

По-настоящему мы начали осознавать масштабы (но не продолжительность!) начавшейся войны лишь после известного выступления Сталина 3 июля по радио. Особо подействовало на всех нас даже не то, что он сказал, а непривычное обращение: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Эти неожиданные начальные слова и паузы, когда он наливал воду и было слышно, как дрожит его рука, звякая горлышком графина о стакан, было страшно слушать!

Дальше последовали ночные дежурства в горкоме ВЛКСМ (первым секретарем была избрана А. Мжачих, а ее предшественник и бокальшая часть штатных работников ушли в армию, поэтому привлекались активисты), поездка под Смоленск старшеклассников специальным эшелоном для подготовки оборонительных сооружений. Пробыли мы там недолго, в основном рыли противотанковые рвы, немцы нас бомбили и обстреливали из пулеметов. К счастью, обошлось без жертв. Провожали нас торжественно, с митингом и духовым оркестром, возвратились мы скромно. Кто-то из ведущих военачальников, объезжая рубежи обороны, узнал, откуда наша группа, и приказал отправляться немедленно обратно. Это оказалось правильным решением.

В начале августа мне стало ясно, что об учебе в университете думать нечего, надо идти в армию. Дело осложнялось тем, что я был белобилетником и не подлежал призыву. Помог горком ВЛКСМ: меня

направили политпросветработником в госпиталь 2676 (сперва он был в составе Брянского, а потом Воронежского фронтов). Работал санитаром. Там комсомольцы избрали меня секретарем. Протоколами и заседаниями мы не злоупотребляли. Главное было — вовремя принять раненых бойцов, обработать и отправить их в тыл. Срочные операции проводились на месте, иногда не хватало наркоза, вместо него давали спирт.

Весной 1942 года положение на нашем участке серьезно осложнилось. Были частые бомбежки, раненые рассказывали о ситуации на Северском Донце. Но по мере того, как немцы продвигались к Сталинграду, напряжение около Воронежа спадало и в середине августа стабилизировалось.

В сентябре 1942 года я был демобилизован из армии по состоянию здоровья. В это время меня разыскал Ленинградский университет, эвакуированный в Саратов, и прислал вызов. Можно было продолжать учебу. На этом кончилась моя военная биография, если не считать оборонительных работ в Саратове, где мы, студенты, рыли окопы...

СЛОВО ДЕТЯМ БЛОКАДЫ

1941–1945

Г.Н. Гоцко

МЫ ЖИЛИ КОЛЛЕКТИВОМ

Я узнала о начале войны позже, чем все. Была на даче у подружки, на станции Поселок. Жили мы там с ней вдвоем и о войне узнали только на третий день. Уже не помню, как мы добрались до Ленинграда, но к тому времени ушли на фронт двое моих дядей, которые жили вместе с нами. Больше я их не видела. Они оба погибли. В первых числах июля ушел на фронт и отец — Николай Петрович Тимофеев. Остались мы одни женщины: мама, сестра, тетя. Мама и сестра вскоре уехали рыть окопы: мама под Левашово, сестра — под Кингисепп. Тетя тоже работала на оборонных работах и была на казарменном положении. На некоторое время я осталась одна, было мне тогда 14 лет.

В городе уже началась эвакуация, многие вокруг уезжали, а я живу одна и не знаю, когда вернутся мои близкие и вернутся ли. Единственным моим

полезным занятием были тогда дежурства у ворот дома. Бомбежек еще не было, и дежурства были спокойными. В конце августа вернулась с окопов мама, едва убежав от наступающих немцев на последнем поезде, побросав по дороге все свои вещи. Вскоре вернулась сестра, мы собрались все вместе, и уже стало не так тоскливо.

Мы, школьники, все ждали, когда же начнутся занятия в школе, но сентябрь наступил, а они не начинались. В сентябре в городе начались бомбежки. Я жила на канале Грибоедова недалеко от площади Мира в большом семиэтажном доме. Поначалу во время бомбежек жильцы собирались в вестибюле дома: бомбоубежища у нас не было. Потом уже поняли, какими наивными мы были, но пережидать бомбежки на миру было куда спокойнее. 8 сентября после отбоя воздушной тревоги



Галина Николаевна Гоцко, научный сотрудник Отдела Африки. Многие годы исполняла обязанности ученого секретаря МАЭ. В годы блокады — школьница. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

все вышли на набережную и смотрели на огромное зарево, как мы потом узнали, от горевших Бадаевских складов. С этого дня наступили печально известные 900 дней Ленинградской блокады, отмеченные обстрелами, бомбежками, голодом и холодом.

Школа открылась только в октябре. Я пошла в 8-й класс в свою 32-ю школу Октябрьского района. В классе большинство ребят были новенькие, занятия проходили то в классе, то в бомбоубежище. С наступлением холодов нас перевели в бомбоубежище, а учеников осталось меньше половины — к тому времени голод уже начал косить людей. После Нового года я тоже слегла, ослабла от голода, да еще простудилась. Здесь я никак не могу не вспомнить добрых и отзывчивых людей, наших соседей по дому. Мы жили на последнем, седьмом этаже, и наш дом одиноко возвышался среди соседних 4—5-этажных домов. Во время налетов кругом в садах, на площадках и в скверах стреляли зенитные орудия, и наш дом, как говорится, «ходил ходуном». Было очень страшно, а однажды к нам в окно попал большой осколок зенитного снаряда...

Так вот, к нам пришла одна из соседок и пригласила жить к себе в 11-метровую комнату на четвертом этаже. Так мы и перезимовали у тети Дуни-большой первую блокадную зиму. В этой комнате нас жило 6 человек, спали «валетом» по 3 человека на кровати, да еще одетые. А когда мы с мамой заболели и слегли, другая соседка из этой квартиры — тетя Дуня-маленькая, жившая вдвоем с дочерью, уступила нам свою кровать, и мы с мамой лежали там вместе. Проболели мы 2 месяца, но все же поднялись. Муж тети Дуни-маленькой работал на «Скороходе» и был на казарменном положении. Пока был жив, иногда приходил домой и приносил тюлений жир, который, кажется, использовали при дублении кож. Жир удивительно красивый, янтарно-желтый, но запах его трудно было переносить даже голодному человеку. Но все же жир, и им с нами делились в то страшное время. Этого забыть нельзя!

Попыталась я после болезни пойти в школу. От всех восьмых классов осталась горсточка ребят, но все же занятия продолжались. Я очень отстала, а наверстывать упущенное — не было сил. Так и пришлось мне пропустить учебный год.

В преддверии весны, пока еще не начал таять снег, всех подростков и взрослых, не занятых в производстве или в школе, мобилизовали на уборку улиц от снега и льда. Зима, как все знают, была лютая, снег не убирался, поэтому наледи на улицах высились в полметра толщиной. Выдали нам ломы, топоры, лопаты и «транспорт» — большой лист

фанеры, за два конца которой привязана веревка. Ломами и топорами мы скалывали лед, грузили на фанеру и волокли его к каналу Грибоедова. Нам еще повезло, мы жили на набережной: возить было недалеко.

Наш дом имел два двора. Во втором дворе образовалась ледяная гора из нечистот, доходившая до второго этажа. Люди зимой были не в силах выносить мусор и нечистоты и выбрасывали прямо из окон. И эту гору мы тоже раскололи и вывезли. Весь канал Грибоедова был завален льдом и снегом выше парапета. Поскольку мы раньше других управились с уборкой своей территории, нас послали помогать убирать Садовую улицу и в награду прокатили на платформе грузового трамвая, только что начавшего ходить. Я помню суровую, военную дисциплину во время работы. Выходили на работу и уходили строго по расписанию, стоять без дела не разрешалось. Уставали мы ужасно, но, вероятно, это было правильно, ибо дисциплина поддерживала наш тонус и не давала свалиться от усталости. Я до сих пор не могу понять, как голодные, истощенные люди проделали всю эту огромную работу по очистке города. Значение ее давно оценено по достоинству: весной в Ленинграде не было эпидемий.

Но нас, выживших в эту ужасную зиму, весной подстерегала другая беда — цинга. Моя мама просто слегла. Ноги распухли и стали твердыми, она не могла ни встать, ни пошевелить рукой. Спасли нас молодая крапива и лебеда, которые привозила нам тетка, работавшая в пригороде на посевной. Крапиву ели сырую, чуть посоленную, или варили из нее щи. Из лебеды пекли «лебединые» лепешки. Лебеду измельчали, добавляли в нее спитой чай или кофе-суррогат (которые тогда выдавали по карточкам) и лепешки пекли прямо на голой папете.

Меня часто спрашивают, как мы выжили в блокаду. Мы все считали, что только благодаря маме — Клавдии Михайловне Тимофеевой. Мы ее очень любили и слушались, а она строго следила за тем, чтобы те продукты, которые мы получали по карточкам, делились поровну и съедались в два приема, утром и вечером. А еще — мы жили коллективом. И в комнате нас было 6 человек, и во время вечерних налетов мы всей квартирой собирались в прихожей. «На миру и смерть красна». Однажды бомба попала в один из соседних домов. Наш дом качался, погасло электричество. Было жутко. Мы подумали, что бомба попала в наш дом. Мне кажется, переживать такие минуты сообща все же легче. Мы всегда морально поддерживали друг друга, помогали и делились чем могли.

Весной мы перешли в свою комнату и лето прожили в ней. В апреле

или мае нас, школьников, пропустивших учебный год, распределили по другим школам, а нашу школу закрыли. Все лето и осень мы проработали в совхозе «Ланское». Поселили нас в местной школе человек по 20—30 в классе. Вначале работали на прополке моркови и свеклы. На соседнем поле подрастал салат, и конечно, мы, отощавшие и постоянно голодные, потихоньку рвали листья салата и ели их. Вероятно, я съела лист с землей, так как заболела дизентерией. До сих пор удивляюсь, как осталась жива. Вымотала меня болезнь до того, что шатало от ветра. По ходатайству сестры директор школы отпустил меня на две недели домой. Это был исключительный случай (мы жили в условиях военной дисциплины). На этом мои злоключения не закончились. Оправившись от болезни, я опять приехала на работу. Поскольку до совхоза можно было доехать на трамвае, то мы иногда «самоволкой» уезжали на ночь домой, проверить, живы ли наши родные и целы ли наши дома. И вот однажды, возвращаясь утром на работу, села я в трамвай, а он пошел не по Садовой улице, а свернул на Международный проспект (ныне Московский) и шел без остановки. Что было делать? Когда подъехали к Обуховскому мосту, я решила прыгнуть с трамвая на ходу. Никогда раньше я не прыгала на ходу, но опаздывать было нельзя, и я решилась. Прыгнула на булыжную мостовую, упала и прокатилась на животе вперед. Как не попала под трамвай, не знаю. Встала, болит бок, содраны ладони, разбиты колени. Кое-как доковыляла до остановки трамвая и доехала до места. Там обратилась к врачу. Мне сделали два укола против столбняка, смазали ссадины йодом, перевязали колени и отправили на работу. Почему-то после всех моих злоключений сохранилось в памяти тоскливое чувство покинутости что ли, но это, очевидно, от того, что почти половина наших ребят летом 1942 года уехали в Ленинград эвакуироваться на Большую землю.

В совхозе мы работали до глубокой осени. За работу нам уплатили натурой. Мы получили морковь, капусту, брюкву. Конечно, понемногу, но и это было очень ценно. Существует такое мнение, что с лета 1942 года нам стало легче: прибавили хлеба и стали что-то выдавать по другим талонам. Но так говорят те, кто уехал из Ленинграда. Представьте себе, что мы, тогдашние дистрофики, стали получать не 125, а 200 граммов хлеба, немного крупы, а иногда даже масло и сахар. Это помогло нам выжить, но мы не были сытыми. Чувство голода у меня, например, исчезло только после окончания войны.

По возвращении из совхоза я стала учиться в 239-й школе, которая тогда находилась в здании, расположенном рядом с Исаакиевским собором. Она также построена Монферраном.

Когда сейчас я слышу от ребят, что они не любят свою школу, мне это кажется странным. Я обе свои школы вспоминаю со светлым чувством, так же, как и большинство моих сверстников. Руководители 239-й школы, директор В.В. Бабенко и завуч К.В. Ползикова-Рубец, все свои силы и время отдавали нам, обе любили ребят. С особенной теплотой мы, учащиеся, относились к Ксении Владимировне. Она беспокоилась не только о том, чтобы дать нам прочные знания (а преподавательский коллектив в школе подобрался замечательный), но и заботилась об организации нашего досуга.

В 1943—1945 годах в школе работал драмкружок, которым руководила сотрудник Дома творчества Н.В. Красовская. Все, связанное с этим кружком, — мои самые светлые и добрые воспоминания из того тяжелого времени. Запомнился спектакль «Урок дочкам» нашего знаменитого баснописца И.А. Крылова.

С 1943 года мы учились уже отдельно от мальчиков. Пытались мы пригласить в наш кружок мальчиков из соседней школы, но что-то у нас не получилось. Таким образом, в пьесе отца девиц заменили на мать, а остальные мужские роли играли девочки. Помню, как готовились к первому представлению. На сцене — гостиная барского дома. У нас она получилась как настоящая. Девочки тащили из дома различные вещи для создания интерьера вплоть до ковров. Квартира директора В.В. Бабенко была при школе. Она предложила взять нужную мебель, кое-какие мелочи. Костюмы мы брали в театральной костюмерной. Для того чтобы у «дочек» были локоны, мы на уроках сидели в папильотках. Вся школа ждала этого вечера и принимала посильное участие в его подготовке. Большой актовый зал школы был полон. Кроме учащихся и их родителей пригласили наших шефов — военную часть, в которой тогда служил молодой В. Стрельчик. Он неоднократно бывал на наших вечерах и выступал с самостоятельностью своей части.

Наш вечер прошел удачно. Ставили мы и другие спектакли.

Помню небольшую пьесу (к сожалению, не помню автора) под названием «Таланты из глубин». В ней было всего три действующих лица, пьеса динамичная, даже немного «детективная». Ее мы показывали не только на школьном вечере, но и неоднократно в различных госпиталях. Кружок наш работал довольно плодотворно и пользовался любовью зрителей.

Летом 1943 года наша школа выехала на огородные работы на станцию Ольгино. Работали сначала на прополке, а осенью — на уборке урожая. Жили мы на чердаке конторы колхоза, где рядами стояли

кровати. Небольшое помещение было отделено для преподавателей. И все было бы ничего, если бы не нашествие крыс по ночам. Как только мы ложились спать, они начинали бегать по полу и по кроватям. Мы старались с головой укрыться одеялами, выставляя наружу только нос. И однажды мы были разбужены криком из преподавательской комнаты: оказывается, крыса запуталась в волосах одной из преподавательниц, А.Л. Артюхиной, у которой были густые волосы. К счастью, все обошлось благополучно. Вспоминаю, как осенью убирали морковь, которая хорошо уродилась в тот год. Вставали рано утром и с рассветом шли на поле. Ботва моркови серебрилась от инея, а мы дергали ее голыми руками. Хотя и трудно нам было работать в то лето, но жили мы очень дружно, а в часы досуга — и весело, в чем опять же была заслуга Ксении Владимировны — начальника нашего лагеря.

А с осени — занятия в школе, опять драмкружок, выступления в госпиталях. В то время большое внимание в школе уделялось военной подготовке. Несмотря на то, что наша школа была женской, мы много занимались строевой подготовкой, стрельбой, метанием гранат и другими военными премудростями. Зимой 1943/44 года были организованы городские соревнования школьников по строевой подготовке, которые проходили между Садам отдыха и Театром им. А.С. Пушкина. Запомнились мне эти соревнования потому, что наш класс занял на них первое место. И еще двумя большими событиями запомнилась эта зима: нас приняли в комсомол и наградили медалями «За оборону Ленинграда». Вручение происходило в большом зале Дома пионеров Октябрьского района. Зал был полон школьников, которые в 14—16 лет получали правительственную награду. А летом 1944 года группу учащихся 9—10-х классов направили работать в пионерский лагерь во Всеволожск. Я была невелика ростом и не богатырского сложения, и пока тащила на себе 3 километра свои пожитки, произошло распределение вожатых по отрядам. На мою долю достался отряд из 44 мальчиков от 8 до 12 лет. Отряд расположили в небольшом двухэтажном доме в пяти комнатах. Ох и лихо же мне приходилось, особенно в «тихий» час. Бегала как угорелая с этажа на этаж, пытаюсь навести порядок. Однако мне повезло с преподавателем — учительницей пения. Она сумела организовать ребят главным образом на основе подготовки к смотру самодеятельности отрядов. Дело у нас наладилось настолько прилично, что мы с преподавательницей среди других были премированы. Я, помню, получила премию 100 рублей и купила себе фонарик, чтобы вечером было удобнее ходить по городу, особенно

в осенние пасмурные вечера, когда при светомаскировке было так темно, что приходилось ходить протянув вперед руку.

Это лето запомнилось большим напряжением всех сил. Рядом с пионерлагерем был лес, где недавно прошли бои и осталось полно боеприпасов: патронов, мин и т.п. А что такое мальчишки в 8-12 лет? Слишком много любознательности и не очень много ума. Им надо было разряжать мины, взрывать патроны, а мы отвечали за их жизнь. В нашем лагере лето прошло благополучно, а в других были несчастные случаи. В то лето погиб, разряжая мину, сын одной народной артистки СССР С.П. Преображенской.

Зимой 1944 года была снята блокада Ленинграда. С трудом верилось, что не нужно больше бояться обстрелов и бомбежек. А мы кончали 10-й класс, и нашему выпуску 1945 года впервые предстояло сдавать экзамены на аттестат зрелости. И если я правильно помню, мы сдавали 14 экзаменов! Но основные экзамены пришлось уже на мирное время, так как в мае кончилась война.

Я попыталась рассказать некоторые вехи нашей блокадной жизни. Всего не расскажешь, у каждого были и свои сокровенные, сугубо личные переживания. Память об этом времени навечно осталась в сердцах ленинградцев-блокадников.

ОТКРЫТИЕ КНИГИ



Юрий Васильевич Маретин,
старший научный сотрудник,
кандидат исторических наук.
Занимался этнографией Индонезии.
В годы блокады — школьник,
помогал взрослым в дежурствах по защите дома от
возможных попаданий фугасов.
Собрал коллекцию книг, издававшихся
в блокадном городе.
Награжден медалью «За оборону
Ленинграда».

О том, что началась война, я узнал в деревне с милым названием Любимово, которая стояла на холме в окружении полей и мелколесья в десяти километрах от райцентра Осьмино и в восьми-десяти километрах на запад от Луги. Тут мы с мамой наслаждались теплом, которое принесло в обилии лето 1941 года, купались в просторах дедовского дома и сада. Здесь я со сверстниками — и деревенскими, и дачниками — был непременно наблюдателем, а нередко и участником сельских работ, которые воспринимались нами скорее как игра и потому никогда не надоедали.

С началом войны наше блаженство кончилось... Несколько тревожных недель — и вот 11 июля, как порыв шквального ветра, деревню оглушило известие: «Фашисты прорвались, идут на Лугу! Приказ всем уходить, скот угонять!». Уходили действительно под носом у врага: днем 12 июля проехали через Осьмино, а поутру на другой день туда ворвался передовой отряд фашистов.

Кончилось детство...

...Облик Ленинграда показался необычным: много людей в военной форме,

движение по-деловому сосредоточенное, тела аэростатов, похожие на китов, и рядом с ними — тупорылые темноватые баллоны с газом (мы их потом звали не иначе как «колбасы»). Всюду шла работа по укрытию первых этажей мешками с песком, дощатыми щитами, между плоскостями которых засыпали тот же песок. Не сразу привык к искрещенным бумажными полосками окнам домов.

К первым впечатлениям от военного, насторожившегося Ленинграда в обилии добавлялись новые. Черты военного города как-то необъяснимо соединились с его обликом мирных дней, а растерянность июльских, тревога и напряженность августовских, щемящее беспокойство сентябрьских дней вдруг перемежались моментами удивительного внешнего покоя. Город, его дома, площади, улицы, казалось, начинали жить сами по себе и вели между собой беззвучный, только им понятный разговор о себе, о том, что происходило. Но таких моментов тишины становилось все меньше. Все чаще город оглушали рвущий уши вой сирен, отчетливое хлопанье зениток-скорострелок, глуховатые разрывы в воздухе, перемежаемые тонким, пронзительным звуком летящих «юнкерсов» и тяжелым уханьем взрывающихся бомб.

Я врался в этот город физически, как его частица. А заботы по защите нашего дома от возможных попаданий фугасок и, прежде всего, «зажигалок» (о снарядах сначала никто не думал) только усиливали чувство слитности с Ленинградом.

Я расскажу и о другом, совсем неожиданном открытии. Оно органично связано с моим городом военных лет. Это было открытие Книги. Я вдруг обнаружил в моем городе изобилие книжных киосков и лотков, полных увлекательной литературы... Немалое количество столиков с книгами стояло на улицах города — в особенности на Невском. Вот строки из книги Н.С.Тихонова «Ленинградский год»: «В городе в огромном спросе книги. Освещенные керосиновыми лампами прилавки в магазине Госиздата, киоски старой книги на проспекте Володарского. Столики с книгами и брошюрами, расставленные по всему проспекту 25 Октября, — всегда окружены любопытствующими и ищущими. Книжные магазины полны покупателей...».

Обилие книг в военном Ленинграде объясняется просто. Ведь до войны город был крупнейшим издательским центром страны. В последние же предвоенные годы особенно много издавалось книг. Когда началась война и связи с остальной страной крайне усложнились, а потом и вовсе прекратились, огромное количество новонапечатанных книг осело в Ленинграде, став, как выяснилось в месяцы и годы блокады, серьезным духовным подспорьем для жителей, обреченных, как рассчитывали гитлеровцы, на уничтожение...

Даже в страшные своей неожиданностью и неопределенностью дни лета и осени 1941 года, когда, казалось бы, не до чтения было, ленинградцы по-прежнему интересовались книгой... Интерес вызывали те книги, которые как-то могли объяснить трагизм положения, отвлечь от сосредоточенности на наших неудачах, те, которые рассказывали о



Одна из книг, изданных
в Лениздат в 1942 году.
Из библиотеки
Юрия Маретина.

нашей жестокой борьбе и о наших успехах в этой борьбе, и, конечно же, те, которые были увлекательны и легко читались.

...Два дополнительных обстоятельства способствовали повышенному интересу к книге. Ведь большинство школ Ленинграда вынуждены были вскоре прекратить занятия. Дети оставались дома. Отцы были, как правило, в армии или на производстве с казарменным положением, а матери — сначала на оборонных работах, а потом также на том или ином предприятии и отсутствовали по несколько суток. Вот и пришлось нам самим заниматься себя, причем по мере наступления холодов и усиления голода ребята все чаще оседали в своих домах. Страшная блокадная зима поставила простую альтернативу: либо ты сосредоточишься на мыслях о еде, тепле, либо сумеешь отвлечь себя от нераз-

решимой проблемы еды, найдешь способ переключить себя на предмет, который как-то умиротворит физиологию голодающего организма, поможет сберечь остаток энергии... Книга стала для многих облегчением, а иногда и спасением. Я уверен, что это единственный случай в мировой книжной истории, когда дети в таком положении читали действительно собрания сочинений, и это было типичным для Ленинграда.

Вспомню несколько эпизодов. Уже не один месяц сижу я в дневное время у окна перед простым письменным столом. Я представляю собой подобие капустного кочана, вместо листьев у которого многочисленные одежки, включая и женский шерстяной платок на голове и плечах, а главное — уютнейший меховой мамин жакет. А на столе — книги. Они лежат стопками. Когда мы все поняли, что война затянула нас в свой омут всерьез и надолго, когда мое жизненное пространство свелось к кровати да месту за столом у окна, когда прекратились какие бы то ни было занятия в школе, — тогда отец сказал: «Ну, сынок, времени у тебя теперь много. Читай...». Это я и сделал. За одной книж-

кой перетащил на стол целую грудку. Книжки заменяли мне приятелей, игрушки, беготню, школу — все, все...

..Сегодня все как-то необычно. Изменилась мертвенная белая картина за окном... солнечные лучи пробивали плотную блокаду облаков и задевшегося воздуха и ворвались в комнату...

— Ну вот, сынок, дожили до солнышка, март подошел, — послышался слабый голос отца. Он слег от истощения на рубеже страшного января и ужасного февраля и лежал неделю за неделей, уставившись худым, зеленовато-желтым лицом в потолок. Так мы и жили: отец — на кровати, готовый к смерти, я — у стола перед окном, и мама — она была везде: и когда поправляла на мне одежки, и когда утешала фантастическим блюдом — оладьями из кофейной гущи, и когда стеснительно говорила: «Мальчик мой, возьми стул и пойдем на лестницу, в “буржуйку” нечего положить...».

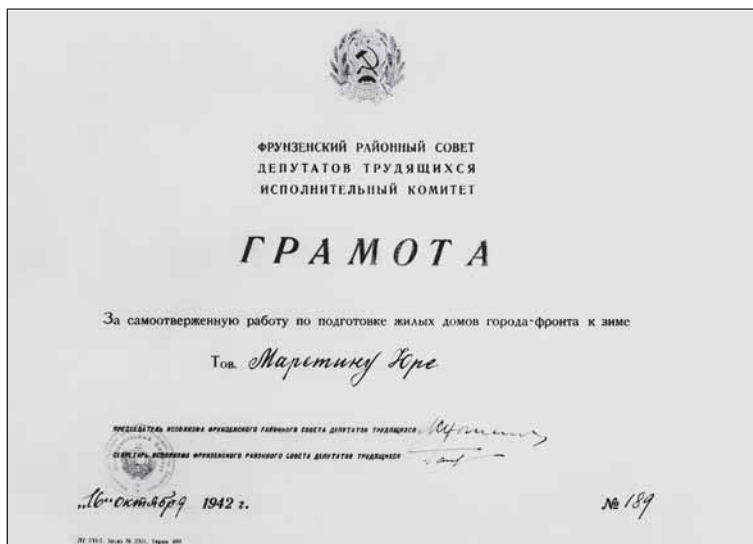
Свет, заполнявший комнату, ощущение тепла, — казалось, этого уже никогда не будет. Но это пришло: солнышко, сосульки, капель, весна. Ведь это жизнь! Я хочу на улицу!

Начался следующий этап блокадной мальчишеской жизни.

Когда осенью 1942 года мы — те, кто остался жив, — вновь собрались в школах, я не без удивления узнал, что не только я был погружен в чтение как в некую спасительную среду. Многие блокадные дети, оказывается, прошли через те же радости общения с книгой.

Еще весной этого года нас распределили по школам, поставили на регулярное ШП, то есть «школьное питание», стали готовить к занятиям. Нас было мало, все мы находились на виду друг у друга, с кем-то уже познакомились раньше, но все радовались от того, что живы. И поэтому, и потому, что за минувшую осень и зиму намолчались, мы подружились очень быстро, столь же быстро выяснили, чем человек интересуется, у кого какие родители и где они. Фронтальная служба отца сразу ставила мальчишку или девчонку на голову выше в детских глазах; об умерших от голода старались не говорить.

Очень быстро обнаружилось, что, наряду с общим для всех увлечением военным делом, немалую ценность имели для нас духовные начала. Конечно, мы цеголяли друг перед другом знанием типов самолетов и танков, наших и немецких, осведомленностью в образцах и калибрах оружия, в видах гранат и мин, умением разобрать и собрать винтовку и даже станковый пулемет. Конечно, мы хвастались собственными коллекциями военной техники и боеприпасов. Конечно же, у нас были — даже у девчонок — коллекции осколков... Но оказалось, что и прочитанные книжки и брошюрки — хороший индикатор при



Грамота, выданная Юре Маретину за самоотверженную работу по подготовке жилых домов города-фронта к зиме.

установлении иерархии на лестнице мальчишеского престижа. Выяснилось также, что нельзя рассчитывать на авторитет в среде сверстников, не зная Дюма, Сенкевича, какого-то Крашевского. Потом я понял, что к этому надо добавить и многое другое — и в смысле чтения, и в смысле поведения, и в смысле оценок, и непременно надо было знать, где проходит линия фронта...

Вскоре мы прочитали трилогию о мушкетерах и другие произведения Дюма, затем много других интересных книг. Книги тогда жили удивительной жизнью: интересные обходили весь класс и нередко забредали в соседние классы.

Начитавшись приключенческой литературы, мы полюбовно распределили роли и присвоили друг другу имена любимых героев, причем иметь десяток имен казалось вполне естественным... Когда в среде близких друзей не находилось подходящей кандидатуры, «назначали» какого-нибудь одноклассника на эту «должность»... Бедные наши парты, они были изрезаны именами героев книг, увлекавших нас. Можно было прочитать лекцию по мировой литературе, пользуясь этими записями как именными указателями.

Поразительно, когда осенью 1943 года мы, мальчики из 319-й школы, пришли в 321-ю школу, то и в ней мы встретились со здешним д'Артаньяном и его верными друзьями. Позже я узнал, что такие же «перевоспложения» происходили и в других школах. Ах, друзья-мушкетеры из школ блокадного Ленинграда! Встретиться бы нам однажды...

Обилие прочитанного и широкий круг чтения — характерные и яркие черты нашего книжного существования. Но еще более поразительной чертой была общественная отдача книги. Утверждаю смело, что ни в какие иные времена книга, брошюра, журнал, плакат, листовка не использовались столь интенсивно и столь коллективистски...

Как это было? Очень просто. Мы выпускали «боевые листки» и газеты. Тема «боевых листов» — текущие события на фронте, в городе; в стенгазете помещали более основательный материал, как правило, связанный с политическими и культурно-историческими датами... Для стенгазет требовались разнообразные изоматериалы: прежде всего, плакаты и листовки, вырезки из газет, иллюстрации или обложки брошюр, фотографии и многое другое.

Не час и не день нужны, чтобы рассказать о встречах с печатными изданиями в те неповторимые годы. Рассказывать об этом — в сущности переживать блокадные дни заново. Я вспомнил лишь несколько эпизодов, связанных с воспитанием и самовоспитанием книгой. Но эти эпизоды касались целых ребячьих коллективов, которые соревновались, кто больше прочтает и запомнит книг, использовали прочитанное в живой пионерской и комсомольской работе. И, разумеется, часто устраивали сборы книг для фронта, для госпиталей, потом для освобожденных районов...

Те, кто только вступал в сознательный возраст в эти годы, открыл для себя Книгу во всем богатстве ее содержания. И Книга щедро отплатила нам любовь к ней, помогая не только выжить, но и стать людьми.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ



Людмила Леонидовна Левизи, специалист-хранитель музейных коллекций по народам Африки, Индии, Кавказа, а также славянским народам. В блокаду училась в ремесленном училище и работала на военных заводах.

До войны я окончила шесть классов. Училась в 32-й школе Петроградского района, летом готовилась поехать в пионерлагерь. В то памятное воскресенье 22 июня 1941 года я со своими родственниками — дядей, тетей и двоюродной сестрой — собиралась ехать на острова, и вдруг... конец всем мирным планам. Дядя вместо островов отправился в свою воинскую часть, а мы с сестрой побежали в школу. Там собрались ребята, которые еще оставались в городе. Так повелось, что мы ежедневно собирались в школе, чтобы узнавать новости и получать задания.

Вскоре зашла речь об эвакуации детей. Нам, считавшимся уже старшеклассниками, поручили писать повестки, а затем разносить их.

И вот наступил день эвакуации. Мы уже знали, что нам предстоит ехать в город Боровичи. В назначенный день к школе подали автобусы. Вместе с нами поехали и родители, которые должны были нас сопровождать до места назначения и с теми же автобусами вернуться в Ленинград.

Доехали до Боровичей благополучно. Разместили нас в просторном деревянном доме, спать улеглись на полу. Нас, старших, назначили пионервожатыми к малышам. В этот день все мы были возбуждены и долго не могли заснуть. Младшие ребята просили рассказать им что-нибудь. Помню, я рассказывала им свою любимую сказку Андерсена «Русалочка».

Утром, едва доев на завтрак гречневую кашу, мы услышали автомобильные гудки и с удивлением увидели въезжавшие автобусы и сидящих в них наших мам. Оказалось, что, проведя бессонную ночь, встревоженные быстрым продвижением немцев, они поехали за нами и тем самым уберегли нас от оккупации.

Мы вернулись в Ленинград. Об эвакуации школы уже не было речи. Дядя предложил нам эвакуироваться в Читку к его родственникам, но мама наотрез отказалась уезжать куда-либо из Ленинграда.

Занятия в школе пока не возобновлялись. Затем нашу школу оборудовали под госпиталь, а нас перевели в другую, на улицу Мира. Пока не было занятий, мы ходили в свою старую школу и помогали устанавливать оборудование для госпиталя. В нашу обязанность входило очищать от смазки никелированные детали и инструменты для операционной. Когда эта работа кончилась, я ходила дежурить в пункт первой помощи, который находился в школе на улице Мира, там училась делать перевязки. Такие пункты создавались во многих районах города — шел сентябрь 1941 года.

Первые налеты, бомбежки, обстрелы, пожары и разрушения! Сперва они не вызывали страха, только любопытство. Помню, как мы с подружкой из ее комнаты на пятом этаже наблюдали воздушный бой где-то в стороне Каменного острова. Не было страшно и тогда, когда дежурила с тетужкой на крыше нашего дома или когда шла через Кировский мост и вдруг увидела вынырнувший из тучи тяжелый самолет с белыми крестами, так низко летевший, что была видна голова летчика. На мосту я не слышала сирен воздушной тревоги и только миновав его, под свистки и крики дежурного милиционера была сопровождена в убежище — щель на Марсовом поле. Там уже было полно народа, в укрытие поместились только мои ноги. Сама я сидела на краю щели и смотрела, как в небе кружились самолеты и били наши зенитки, отражая налет. Повезло — осколки меня не задели. А вообще-то бомбоубежищем, как все ленинградцы, мы пользовались только первое время, а потом просто прятались в парадные или подворотни, если тревога заставала на улице, и выходили на лестницу, если были дома. Наш дом непосредственно от бомбежки не пострадал, зато соседний был разрушен прямым попаданием фугасной бомбы. Вот это было страшно! В тот момент я была дома, и мне показалось, что вдруг наступила ночь. Рот и глаза были полны пыли и песка, уши заложило, пол заходил под ногами, рамы влетели в комнату, осколки стекла впились в дверь, к которой я была откинута. К счастью, они меня не поранили.

После очередной бомбежки и пожара на Бадаевских складах все заговорили о голоде. Были уменьшены нормы выдачи хлеба по карточкам, других продуктов просто не было. Хлеб обычно выкупала мама и, как большинство ленинградцев, забирала его вперед, стараясь большую часть дать мне. Иногда мама могла принести с работы жмыхи — она тогда работала на маслокомбинате. А нам в школе давали дрожжевой

суп. Вот и вся наша еда. Помню, в те дни читала и перечитывала без конца «Князя Серебряного» А. Толстого — тот отрывок, где описывался пир, и удивлялась, как можно было столько съесть. Чувство голода оставалось очень долго, оно не покидало меня даже в эвакуации, когда нас уже кормили регулярно.

Занятия в школе начались поздно осенью, а в январе 1942 года и вовсе прекратились. Пришли мы как-то утром в школу, а нам говорят: не приходите больше, некому вести уроки. Я поняла, что единственный учитель, который вел в школе уроки, умер. Если не ошибаюсь, его фамилия была Козлов, до войны он преподавал физику в старших классах.

На комбинате, где работала мама, работа тоже кончилась — не было сырья, но ей надо было регулярно являться в контору, чтобы получать продовольственные карточки. Как-то рано утром мы с мамой отправились с Петроградской стороны на Садовую, к Апраксину двору, где помещалась контора.

Зима была лютая. Почему-то надолго запомнилась такая картина. Яркое солнце, синее небо, иней на деревьях, а на снегу на корточках сидит мужчина, глаза открыты, как будто отдыхает. Но увы... это была очередная жертва голода.

Пока мама ходила на работу, я всегда к ее приходу разжигала «буржуйку» и кипятила воду. Она приходила, не раздеваясь протягивала руки к огню, стараясь согреться. И вот однажды смотрю: лицо у нее распухло, как будто налилось водой. Существовало мнение, что отечность появлялась оттого, что очень многие ленинградцы, чтобы заглушить чувство голода, брали на язык немного соли и запивали горячей водой. Так у мамы появилась эта отечность или иначе, но вскоре она слегла.

Наступило самое тяжелое время, мы с мамой перестали сопротивляться, лежали, согревая друг друга, экономя силы. Слушали радио, чтобы не пропустить сообщение о выдаче продуктов. Наконец этот день наступил. Рано утром, магазин в нашем доме еще был закрыт, но люди уже стояли в очереди и ждали открытия. Я тоже встала в очередь, вдруг вижу: мимо, по улице Скороходова, едут грузовики, закрытые брезентом. Ветер на мгновение откинул брезент на одном грузовике, и я увидела, что кузов заполнен трупами. Женщины стали говорить, что такие грузовики проезжают здесь каждое утро и направляются за город. Я сосчитала машины, их было одиннадцать.

В самое тяжелое время, которое неизвестно чем кончилось бы для нас, пришли на помощь родственники — мои тетушки. Подкормить они нас, естественно, не могли, но стали следить, чтобы мы не залеживались, вставали и двигались, ибо жизнь — это движение. А одна из них посо-

ветовала мне обратиться в райком комсомола и попросить направление в ремесленное училище. Так я и сделала. Пошла в райком, что на улице Скороходова, и получила направление в ремесленное училище. Для того чтобы получить медицинское свидетельство о здоровье, надо было проехать несколько остановок на трамвае по Кировскому проспекту до больницы имени Филатова. И вот тут произошло неожиданное: я не смогла поднять ногу, чтобы войти в трамвай. Со слезами от собственного бессилия пришлось брать ногу руками и ставить ее на подножку, дальше войти мне уже помогли пассажиры.



*Людмила Левизи — учащаяся
ремесленного училища.*

Направили меня в ремесленное училище при заводе «Красногвардеец», что на Аптекарском острове. Этот завод в мирное время изготавливал медицинские инструменты, а в войну стал работать на оборону. Наконец-то в моей жизни наступил перелом в лучшую сторону. Самое главное — я попала в коллектив, появился интерес к жизни, настроение стало другим. Была весна 1942 года.

Мы учились на слесарей, работали для фронта — делали финки. В училище нас кормили, дали рабочую карточку и вдобавок еще соевое молоко, которое я могла приносить маме. Мы пили это молоко впервые. Помню наших мастеров — преподавателей, пожилого Варнелло и молодого Капирухина. В перерывах между занятиями мы выходили в садик, где цвели акации, и лакомились сладкими желтыми цветочками. Обычно за нами выходил Варнелло и говорил: «Ну, козы, пора на занятия!». Вообще весна всех выручила лебедой, крапивой, из которых варили супы и делали лепешки.

В июне 1942 года нам вдруг объявили, что училище должно эвакуироваться в Куйбышев. Отказываться от эвакуации нельзя. Самое тяжелое было расстаться с мамой — ехать со мной она категорически отказывалась, как я ее ни уговаривала. Говорила, что будет ждать, что мне будет куда вернуться, что на ее рабочую карточку уже дают 800 граммов хлеба, жить можно и т.п. Но, увы, примерно через месяц после моего отъезда, 25 июля 1942 года, мамы не стало. Тетуски потом

мне рассказывали, что первое время мама сидела на солнышке у парадной дома и вязала. Однажды, обеспокоенные ее отсутствием, они открыли дверь в комнату... но было уже поздно. Похоронили мою маму, Ульяну Исаевну, как и многих ленинградцев, в братской могиле.

Теперь коротко о моей дальнейшей судьбе. От Московского вокзала на поезде нас довели до Ладоги и там погрузили на баржи. Расположились мы в трюме, а наверху, на палубе стояли замаскированные орудия. Была сильная жара, у многих началась цинга и голодный понос. Вонь в трюме стояла ужасная. Меня тетушки предупредили: я должна есть понемногу, чтобы избежать неприятностей. Я выдерживала. Несколько раз нас бомбили, мы подолгу стояли, укрывались в камышах. Когда мы наконец причалили к берегу, нам сказали, что, оказывается, немцами были потоплены два транспорта, шедшие впереди и после нас.

После долгого пути в теплушках, а затем на пароходе, прибыли мы в город Куйбышев. Когда нас выгрузили на пристань, то местные жители приходили на нас смотреть. Многие плакали и приносили из дома кто что мог из съестного. Все мы были дистрофики и выглядели соответственно.

Разместили всех прибывших в каменном здании школы. Спали на нарах, здесь же были учебные классы, учили нас уже токарному делу. Но прежде чем начались занятия, нас отправили до осени в подсобное хозяйство, чтобы подкормиться и помочь с уборкой гороха. Началась учеба и практика на часовом заводе в Куйбышеве, где в то время делали часовые механизмы для мин. Потом работали на авиазаводе на станции Безымянка.

К ленинградцам все относились очень сочувственно. Когда у меня, как и у многих девочек из нашей группы, на почве длительного недоедания открылся туберкулез желез, я получила усиленное питание, т.е. дополнительно масло и сахар.

Между тем, обстановка на фронте становилась все напряженнее. Немцы подошли к Волге. В Куйбышеве стало тревожно. Жизнь в нашем училище замерла, было не до нас. Как-то в горькую минуту собралась вся наша группа, и решили мы написать письмо с просьбой о досрочном выпуске нас на самостоятельную работу. Адрес был короткий: Москва, Кремль, И.В. Сталину.

Вскоре к нам прибыл специальный представитель. Было принято решение направить нас дальше в тыл, в г. Омск. Там я работала токарем на авиазаводе, делали мы клапаны для авиадвигателей. Проработала я на этом заводе до 1945 года. В Омске встретила долгожданную победу. А в Ленинград вернулась в 1946 году.

БЛОКАДНЫЕ ГОДЫ

Как известно, события с начала войны развивались стремительно. Уже в августе началась массовая эвакуация школьников из города. Все были в полном смятении: рекомендовалось заранее собрать вещи, в том числе и теплые, хотя у всех была твердая уверенность, что уезжать придется очень ненадолго. Помню, как мама в полном оцепенении перебирала одежду, вышивала на шерстяном одеяле мою фамилию (это одеяло и сейчас сохранилось), а отобрав все необходимое, сложила в холщовый, специально для этого сшитый мешок. Мешок отнесли заранее в мою школу № 220 Куйбышевского района.

Отправили нас сначала в Малую Вишеру, разместили в школьном здании. Многие из нас впервые были разлучены с родными, на какое время — тогда никто не знал. Грустные и неприютные, ходили мы по пустым классам чужой для нас школы. Но, к счастью, скучать долго не пришлось. Через неделю после нашего появления в Малой Вишере ситуация на фронте изменилась в худшую сторону. Немецкие самолеты стали летать над поселком, можно сказать прямо над нашими головами, и из пулемета расстреливать людей. Весть об этом мгновенно долетела до Ленинграда, и родители кинулись за нами. Так закончилась моя первая «эвакуация».

В Ленинграде в это время уже шла массовая эвакуация населения. Папа работал старшим бухгалтером в военном госпитале, расположенном в здании бывшей гимназии на ул. Восстания, и мы должны были уехать вместе с госпиталем. Дома шли неторопливые приготовления — мама очень страшилась отъезда из дома, тем более, что мысль о сдаче города фашистам казалась невероятной. Но момент отъезда настал, мы были погружены в товарные вагоны и отправлены... Но было уже поздно, двое суток кружили по каким-то путям. Все дороги оказались перекрыты, и мы вернулись в Ленинград, уже блокадный.

Жила наша семья в большой коммунальной квартире на Лиговке, угол улицы Жуковского. Квартира была на последнем, пятом этаже. Из окна открывался вид на палисадник перед детской больницей имени Раухфуса, а несколько левее — на Греческую церковь, на месте которой сейчас концертный зал «Октябрьский». Наша комната была угловая, холодная и сырая. Поэтому с наступлением первых холодов блокадной зимы мы перебрались в квартиру моего дяди на 8-й Советс-

кой. Квартира эта имела (в тех условиях) огромные преимущества: второй этаж, окна во двор (безопаснее от артобстрела), одна из комнат этой квартиры была совсем маленькая, ее легче было отапливать. В этой квартире прошла первая, самая жестокая зима.

Как только мы обосновались на новом месте, маму — школьную учительницу по профессии — стало заботить мое дальнейшее обучение. По прописке мы принадлежали к Куйбышевскому району, а единственная действовавшая там школа находилась на Невском во дворе кинотеатра «Колизей». Я поступила в эту школу. Хорошо запомнился путь в школу той поры. Он шел по 8-й Советской, Суворовскому проспекту до площади Восстания и далее на Невский. Путь был нелегким в ту зиму в самом прямом смысле слова. Дорога представляла собой узкую тропинку среди высоких сугробов, доходивших мне иногда до пояса. Идти было тяжело. На ногах высокие валенки, поверх шубки мама повязывала мне большой шерстяной платок. Путь прерывали частые «тревоги», тогда дежурные из ближайшей подворотни затаскивали меня в бомбоубежище, после сигнала «Отбой» я отправлялась дальше. Пересекая площадь Восстания (бывшую Знаменскую), я проходила мимо развалин взорванной перед самой войной Знаменской церкви (на этом месте ныне станция метро «Площадь Восстания»). Окна близлежащих домов, заклеенные еще в мирное время перед взрывом церкви полосками бумаги, смотрели на нас как бы живым укором; а проходившие мимо развалин церкви старушки останавливались и неистово крестились.

Помню то щемящее чувство, с которым мы ждали прихода друг друга в школу: пропуск занятий мог быть далеко не случайным. Помню нашего учителя математики, который приходил на занятия опухший от голода, а однажды не пришел... Во время уроков все внимание главным образом было сосредоточено на ожидании грохота над бомбоубежищем: это по первому этажу волокли для нас из соседнего ресторана «Универсаль» бидон с так называемым супом (отчетливо помню вкус очень жидкого макаронного отвара). Но все равно это была дополнительная еда. И я думаю, что родители, отправляя нас в то страшное время в очень небезопасный поход по городу, имели в виду и эту подкормку.

Очень запомнилась мне встреча Нового года. Мама где-то выменяла какую-то вещь на банку американских консервов. На столе появилась белоснежная скатерть, а посередине поставили эту банку. Но когда открыли ее, там оказались опилки. Зато в городе для школьников новогодняя «елка» отмечалась с невероятной для тех условий роскошью.

В «Александринке» (Театре им. А.С.Пушкина) для нас была сыграна оперетта «Свадьба в Малиновке». А после спектакля нас повели в «Метрополь» и накормили самым настоящим обедом (я запомнила гречневую кашу с котлетой и на третье фруктовое желе).

С приближением весны все стало вокруг понемногу оживать. Папа потребовал перебраться обратно в нашу комнату на Лиговке, уверяя, что в темной клетушке на 8-й Советской ему не поправиться. И мы, собравшись с силами, вернулись к себе. Это, правда, усложнило наш и без того нелегкий быт — воду надо было брать из люка, что находился на соседней улице, и подниматься к нам на пятый этаж. Но обилие солнечного света в родных стенах придавало всем новые силы. Да и в рационе появились первые витаминные блюда из крапивы, лебеды, отвар из хвои. Забегая вперед, скажу, что осенью мы — школьники, работавшие летом на огородных работах за городом, могли собрать с полей оставшиеся после срезки капусты кочерыжки и зеленые листья — хряпу. Мама насолела целую бочку этой хряпы. Бочка стояла около нашей кровати, и на паркетном полу, словно на память, остался от нее след.

В школу начиная с апреля—мая стали возвращаться ученики, пропустившие занятия в блокадную зиму. Я вспоминаю эту пору как одну из счастливых в моей жизни. Именно тогда у нас сложились те тесные дружеские отношения, которые потом продолжались всю жизнь. Начались школьные реформы, в том числе и раздельное обучение девочек и мальчиков. А я и мои подруги сами выбрали себе школу и остались неразлучными.

Летом 1943 года нас, школьников, отправили на станцию Кузьмово на полевые работы. Поселили нас в помещении бывшего свинарника и разрешили для своих нужд разбить вокруг небольшой огород (по маленькой грядке на каждого). Эти выезды на летние работы в пригородные совхозы очень поддерживали наше здоровье: мы прямо на грядках ели пропалываемые овощи (морковь, турнепс), а совхоз кормил нас по пайку не детской, а рабочей карточки и дополнительно давал молоко.

Уже с осени 1942 года занятия в школах постепенно наладились. Зимой мы, старшеклассники, вели шефскую работу в военных госпиталях. Наш подшефный госпиталь находился в здании Александро-Невской лавры. По ночам мы сидели около тяжелораненых, кормили их, писали письма, а также помогали сестрам готовить тампоны и т.п. Часто устраивали концерты: кто пел, кто читал стихи. Я специализировалась на чтении рассказов М. Зощенко. В городе в это время жизнь

постепенно восстанавливалась. Наряду с Театром оперетты стал работать Драматический театр имени Горького. Мы просмотрели по нескольку раз все спектакли, знали всех актеров. Удивительно быстро стали восстанавливаться разрушенные здания. Школа, в которой мы учились в 10-м классе, находилась на Полтавской улице. Из-за непосредственной близости улицы к Московскому вокзалу она сильно пострадала еще при первых бомбежках. Много домов стояло как бы срезанными по вертикали, с обнаженными лестничными клетками и беспомощно болтавшимися по ветру обрывками разноцветных обоев. Но уже после прорыва блокады картина стала меняться. Начались интенсивные восстановительные работы.

Победный май застал нас за подготовкой к экзаменам на аттестат зрелости. Все мы жили в обстановке всеобщего радостного возбуждения. К радости победы прибавилось предвкушение предстоящего праздника окончания школы, к которому мы все усиленно готовились.

И вот этот праздник наступил. В торжественной обстановке нам вручили аттестаты, затем был концерт, на который пришли актеры из Театра оперетты.

А потом встал вопрос — кем быть? Наша школьная учительница посоветовала нам пойти на восточный факультет Университета. Верные нашему школьному единству, трое из нас последовали ее совету и подали заявление на иранское отделение.

Я считаю, что мне повезло. В Университете мне довелось учиться у таких замечательных учителей, как члены-корреспонденты АН СССР А.И. Фрейман и М.Н. Боголюбов, А.З. Розенфельд, а здесь, в Институте, — у докторов исторических наук Н.А. Кислякова и Е.М. Пешерской. Особенно я благодарна Е.М. Пешерской. Представитель блестящей школы русской востоковедческой науки, она сумела привить своим ученикам любовь к этнографии, передать нам ценные навыки полевой работы.

И последнее, что я хочу сказать, — очень многие ценностные ориентации моих коллег — представителей молодого поколения блокадного Ленинграда — сформировались благодаря той суровой школе жизни, которую мы прошли в юношеские годы, а также под воздействием замечательных представителей ленинградской науки.

«ТАК, С МАЛОЛЕТНЕЙ СЕСТРЕНКОЙ МЫ ОСТАЛИСЬ ОДНИ...»

Лето 1941 года началось у меня, как и у большинства ленинградских школьников. Кончились занятия в школе — да здравствуют каникулы! Я перешла в пятый класс 2-й школы Василеостровского района и с родителями, братом и сестренкой собирались уехать в деревню. Но планам нашим не суждено было свершиться.

На семейном совете решили сразу — эвакуироваться не будем. Папе шел уже 65-й год, здоровьем он похвастаться не мог, а маме одной с тремя детьми уезжать не хотелось.

Так уж получилось, что вскоре я стала «старшей» в семье, так как все хозяйство держалось на мне. Папа слег, мама тоже болела и не могла выходить из дома. Сестренке было 4 года, брату 15 лет, но он, как ученик ремесленного училища при заводе Калинина, работал там, почти не бывая дома. Завод выполнял военные заказы.

Мне приходилось стоять в очередях за теми продуктами, которые выдавались по карточкам, менять вещи на хлеб или что-либо съестное, готовить скудную еду, доставать дрова. Я же выполняла обязанности за всю семью по дежурству у ворот дома, на крыше и т.д. Помню, мое дежурство на крыше совпало с бомбежкой зоосада. Я страшно испугалась огромного зарева пожара, решив, что огонь поглотит весь город.

15 января 1942 года не стало моего отца — Ульяна Михайловича Михайлова. С большим трудом мама и брат вдвоем свезли отца на Пискаревское кладбище. Брату это стоило последних сил — он слег и больше уже не поднялся. В первых числах мая мне помогли устроить брата в больницу, затем в госпиталь, но спасти его не удалось. Вскоре мой брат Константин умер. Маму Марию Матвеевну я оплакала еще в апреле.

Так, с малолетней сестренкой мы остались одни. Три месяца еще кое-как продержались, а потом, крепко взявшись за руки, боясь, что нас разлучат, пришли в детдом. В августе 1942 года нас вместе с детдомом эвакуировали.

В Ленинград вернулась в октябре 1944 года. Жизнь пришлось начать сначала.

А.И. Мухлинов

В ЖИЗНИ МОЖНО ЗАБЫТЬ МНОГОЕ, НО БЛОКАДНЫЕ ДНИ — НИКОГДА



*Анатолий Иванович
Мухлинов в годы блокады
(вырезка из газеты).*

«Никто не забыт и ничто не забыто»... Да и можно ли забыть о тех 900 днях, когда наш любимый истекающий кровью город не только выдержал невиданную в истории блокаду, но и победил. Трудно пришлось тем, кто сражался, работал и жил в Ленинграде в то суровое время. Прошло столько лет после снятия осады, а память по-прежнему удерживает пережитое...

Война застала меня школьником, перешедшим в шестой класс. Ушел на фронт отец, а вместе с ним и мое детство. Старшие братья уже работали на оборонном заводе, туда же решил поступить и я. До сих пор помню 26 марта 1942 года — первый день работы на заводе. Огромный инструментальный цех, сквозь разбитые взрывны-

ми волнами стекла окон и крыши влетают и, медленно кружась, ложатся на пол снежинки. Ровные ряды станков безмолвствуют, покрытые слоем льда, и лишь над отдельными из них склонились закутанные рабочие. Слесарно-лекальный участок помещался в небольшой комнате Красного уголка. Несмотря на красневшую у дверей печурку, было холодно, рабочие поочередно грели озябшие руки: ведь пальцы лекальщика должны быть такими же чувствительными, как и пальцы музыканта. Мне шел четырнадцатый год, и я не мог дотянуться до тисочных губок: пришлось встать на снарядный ящик. Голод делал свое смертельное дело: на работу не выходил то один, то другой слесарь, но оставшиеся работали почти круглосуточно, обеспечивая необходимым инструментом производство 122-миллиметровых снарядов и мин. Наш завод не подводил фронтовиков.



Анатолий Иванович Мухлинов, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, первый отечественный вьетнамист, ведущий специалист в области этнографии и истории Вьетнама. В годы блокады подростком работал на заводе, выполняя военные заказы. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

27 января 1944 года на позиции вражеских войск обрушились десятки тысяч снарядов. И среди них было немало полуторapedовых «гостинцев», сделанных руками рабочих и работниц нашего завода. Гул артиллерийской канонады грозным, но радостным отзвуком доносился до всех ленинградцев — дочерей и сыновей Великой Родины.

В жизни можно забыть многое, но блокадные дни — никогда.

Я НЕОХОТНО ВСПОМИНАЮ О ВОЙНЕ...



Кира Борисовна Серебровская, главный художник МАЭ. Автор иллюстраций к более чем 60 изданиям. Консультант и оформитель многих тематических выставок. Всю блокаду провела в Ленинграде.

Я неохотно вспоминаю о войне, о блокаде — много можно рассказать, но это так мучительно...

Война началась, когда я окончила пятый класс школы № 43 Октябрьского района. Школьников до седьмого класса нашей школы эвакуировали. Я по семейным обстоятельствам не выехала в назначенный день. А другого дня уже не было...

Учащиеся 7—10-х классов начали ходить в школу 1 сентября, а 1—6-е классы, оставшиеся к городу, были распущены и переводились на «воспитательную работу» при домохозяйствах. Числились мы помощниками бойцов МПВО пожарной команды дома, в котором я жила на Театральной площади, дом 2. Наш пост располагался в бомбоубежище. Оттуда мы по расписанию ходили на дежурства на лестничные клетки и крыши. Нам приходи-

лось тушить зажигательные бомбы. Те, которые удавалось потушить, мы сбрасывали вниз, а если бомбу потушить мы не смогли, ее приходилось зарывать в ящик с песком.

Весной у нас появились новые обязанности, очищать улицы и дворы от накопившихся на них нечистот. Самое тяжелое воспоминание было связано с тем, что приходилось из-под снега и льда вытаскивать трупы людей. А потом мы получили еще задание — обходить квартиры и выявлять умерших и по возможности вытаскивать их на лестничные площадки. Оттуда их забирали бойцы МПВО и отвозили на специальных машинах. Приходилось вместе с дружинниками возить трупы для кремации в специально отведенные места улиц. Такие «погребальные костры блокады» возникали во многих районах города. Один раз я сопровождала машину на Кирпичный завод, печи которого в

первую же блокадную зиму были превращены в крематорий. Сейчас на этом месте находится Московский Парк Победы. С нас взяли расписки о неразглашении тайны крематория на Кирпичном заводе. По сути дела, мы выполняли работу взрослых дружинниц. Зная это, они делились с нами своим пайком и даже хлебом.

Отца не пустили на фронт — был оставлен, как многие архитекторы, на маскировку города. Во время одной из бомбежек пострадал угол Мариинского театра и наш дом. Мы переехали в бомбоубежище АПУ (Архитектурно-планировочное управление), а потом на стационар Союза архитекторов (Герцена, 52).

Все, что пришлось пережить и увидеть, чувствовать и просто жить в те годы, мне кажется, оказало влияние на выбор моей профессии. В 1945 году я поступила в только что открывшееся Высшее художественно-промышленное училище (теперь им. Мухомовой) на первый курс. В этом году я отдала свои детские рисунки ныне реабилитированному (после «ленинградского дела») Музею обороны Ленинграда.

Я не вела дневника. Но записи есть. Вот некоторые из них.

Зима 41/42 года

Узнаю весь процесс «архитектуры наоборот» — искусство маскировки. На «стенах»-цитах разрушенных домов рисуют окна и двери, а крыши красят в зеленый цвет (газоны). Между «домами» прокладывают «улицы» — «дорожки» посыпают песком настоящим.

«Сегодня видела, как академик Александр Сергеевич Никольский начал подготавливать целую серию набросков Триумфальной арки для встречи героев, освобождающих Ленинград... Значит, скоро снимут блокаду...»

Май 1942 года

«Бригада моего отца обмеряла Александро-Невскую лавру. Эта работа нужна для будущего нашего города — охрана памятников. Уговорила взять с собой. Самое главное пройти Невский — мало сил! Стояли много в подъездах во время тревог, в бомбоубежище идти нет сил и времени.»

«В покоях митрополита районный штаб МПВО, в боковых флигелях — госпиталь. Лесов нет — доски сожгли на дрова. Архитекторы работают со стремянкой. Страхуют веревками.

Старушки у Лавры крестятся. К обстрелам привыкли, а за человека с рулеткой не страшно...».

«Заводскую железную дорогу около Лавры задекорировали под Неву, создали водонепроницаемое «корыто» (из всего что попало...) и залили все водой. Даже очень красиво!».

«Охтинскому мосту придали вид разрушенного бомбежкой. Архитекторы выигрывают бескровную битву за мосты Ленинграда всеми способами!».

Осень 1942 года. Стационар архитекторов

«Появляются подрамники генерального плана Ленинграда, и, хотя город еще фронт, уже проектируют новый Гостиный Двор и многие гражданские здания, говорят о новом центре города по проспекту Стачек!.. Неужели центр будет там?».

Ноябрь 1942 года

«Начата работа по восстановлению разрушенных зданий. Осушествление первых проектов идет необычно. На фанере в натуральную величину рисуют будущие фасады. Развалины “одеты” разрисованными фанерными щитами, и дома стоят макетами своего будущего, доставляя авторам редчайшую возможность проверить в натуре достоинства и недостатки проекта... Так на Невском, 30; улица Гоголя, 4 — это первые ласточки возрождения».

*Стационар гостиницы «Астория»,
творческой интеллигенции Ленинграда*

«Отец находится здесь после контузии. Пустили к нему. Медсестра оставила на концерт меня. Концерт будет после “обеда”, и меня покормят тоже. Тихими шагами, еле-еле перебирая ногами, подошел к роялю В.Софроницкий. Играл Рахманинова, Чайковского, Скрябина, до этого “играл” на нарисованной клавиатуре. “Играл” каждый день, даже когда лежал.

После концерта все отложили ему по ложке своего “обеда”. В.Софроницкий с трудом согласился взять...». На всю жизнь В.Софроницкий остался для меня самым любимым пианистом.

Т.К. Шафрановская
БЛОКАДНАЯ ДРУЖБА

До войны я кончила шесть классов. Жила наша семья на Васильевском острове, папа — Константин Илларионович Шафрановский — работал в Библиотеке Академии наук. Вскоре после начала войны он вступил в народное ополчение. Дома остались бабушка, мама и я. Вначале я посещала школу на 8-й линии, училась в седьмом классе. Но занятия в школе были нерегулярными — некому было учить оставшихся в живых детей. Замену умершим учителям находили с трудом. К примеру, за зиму 1941/42 года сменилось семь учителей физики. Но несмотря на перерывы в занятиях, школьники продолжали приходить в школу в надежде получить тарелку «блокадного» супа.

Мы все сильно голодали. 1 марта 1942 года умерла моя мама — Тамара Васильевна, а 23 марта — бабушка. Соседи, которые ухаживали за нами в самое тяжелое время, увезли их на кладбище. Я осталась одна, о папе тогда ничего не знала. Вскоре ко мне зашла

знакомая девочка Ада Луговцова (впоследствии — заместитель главного редактора газеты «Ленинградская правда» А.К. Варсобины). У нее умерли все родные, некому было хоронить, и они остались лежать в ее квартире до весны. Я оставила Аду у себя, и мы стали друзьями на всю жизнь.

В конце марта 1942 года папу отпустили на побывку домой, а вскоре по состоянию здоровья демобилизовали. Папа привез с собой сухари, которые помогли поставить нас на ноги. Папа вернулся на работу в БАН и прикрепился на питание в академическую столовую, где без карточек давали дрожжевой суп, жмыхи и дурандовые конфеты. Жить стало легче. Летом 1942 года вместе с частью сотрудников БАН мы эвакуировались из Ленинграда.



Тамара Константиновна Шафрановская, историк Музея XVIII века, кандидат исторических наук, автор многочисленных научных и научно-популярных работ, путеводителей по Музею, а также по этнографии народов Австралии и Океании. В годы блокады — школьница, оказавшаяся в те суровые годы одна без родственников.

МЫ ДОЖИЛИ ДО ПОБЕДЫ



*Соня Болдырева — школьница.
Награждена медалью «За
оборону Ленинграда».*

Сейчас, когда с начала войны прошло более полувека — целая жизнь! — трудно, просто невозможно всем своим существом снова почувствовать те страшные дни, — неужели это действительно я прошла через голод, темноту, холод, гибель близких, ежеминутную смертельную угрозу — через все то, что теперь привычно называется «блокада». Но ведь блокада — это и продолжавшаяся жизнь, учеба в школе, общение с родными и друзьями, это свои маленькие радости и печали — наряду с тем огромным, что происходило вокруг. Мне трудно ощутить себя той блокадной девчонкой, но то, что я помню, попробую изложить.

Лето сорок первого начиналось для меня радостно и благополучно. Уже не первый год мы снимали дачу на станции Карташевская по Варшавской дороге, в просторном литфондовском доме. Здесь все было знакомо и мило — и чудесные грибные леса, и большой сад с крокетной площадкой и фруктовыми деревьями, и подружки, с которыми мы встречались каждое лето...

И вдруг — сокрушительное известие: война! По детскому легкомыслию — мне еще не исполнилось и двенадцати лет, — сначала оно воспринялось, скорее, с любопытством: ведь недавняя финская кампания непосредственно нас не задела, так что слово «война» не казалось слишком грозным. Видимо, и взрослые не все предвидели: помню, как папа, приехавший к нам в тот же день, обсуждал с бабушкой вопрос о том, что нам следовало бы пожить на даче — вдруг Ленинград будут бомбить, а здесь, в глуши, спокойнее.

Но планы быстро изменились: скоро приехала мама, которая в это время была с артистической бригадой на юге, в Дагестане, и, возвращаясь, первая из нас столкнулась с картинами войны — разбомбленными эшелонами, ранеными, разлученными семьями. В это тяжкое

время надо всем быть вместе — и нас с бабушкой быстро вывезли обратно в город. И вовремя: когда на другой день папа отправился на дачу, чтобы привезти вещи (в том числе и продукты, которые брали на лето), оказалось уже поздно: поезда не ходили. А как пригодились бы нам те несколько килограммов крупы и масла, которые так и остались в Карташевке! Кстати, так и не успел выехать из Карташевки привязанный к тяжело больной матери предвоенный кумир ленинградской оперной публики, замечательный певец Н.К. Печковский.

Город встретил нас необычным лицом: заклеенные крест-накрест окна, серебристые стратостаты, какой-то иной, чем прежде, настрой... Маму отправили на оборонные работы на Оредеж (потом в их окопы прыгнули немецкие парашютисты, а строившие их артисты несколько дней и ночей пробирались лесами до города). Дни стояли жаркие, ребята проводили их на дворе. Но с каждым днем ряды наши редели. Началась эвакуация, мои подружки стали разъезжаться. Но пока еще было ожидание, тревога — и только. А начиная с сентября жизнь стала круто меняться. Даже трудно себе представить — теплый, еще сытый август, и уже первые голодные смерти в ноябре.

Запомнилась первая бомбежка в сентябре сорок первого. Сколько их было потом! — к ним привыкли, перестали бояться. А сначала было жутко: толпа народа в нашем подвале, тяжелые, еще непривычные и пугающие удары, отвратительный свист бомб. Потом говорили, что раз слышал этот свист — значит, бомба уже пролетела, опасность позади.

И началось: каждый вечер в одно и то же время — налеты. Немецкая педантичность! Все уже знали, когда начнется налет, и спускались в бомбоубежище, пробегая под ослепительными разрывами фугасок и воем зажигалок узкое пространство от парадной до подвала. Там регулярно встречались все оставшиеся, еще не эвакуированные жильцы дома — до войны мы мало знали друг друга, а тут все перезнакомились, приходили с одеялами и подушками, укладывали детей, вполголоса разговаривали, гадали, где упала бомба...

Довольно скоро, когда бомбежки стали обычными, когда голод и холод выработали равнодушие к ним, в бомбоубежище перестали ходить, разве что тревога застанет на улице, так дежурные загонят под землю. Но надолго сохранилось чувство близости, братства у тех, кто вместе встречал первые налеты. Эта теплота осталась и в послевоенные годы. Правда, тех, кто выжил в Ленинграде или вернулся из эвакуации, остались единицы.

С осени в конце октября, начались занятия в школе. Моя старая школа на Социалистической улице! Ее уже окончили мои сыновья. Я

с трудом могу сказать, сколько времени продолжались уроки в самой школе, мне больше помнятся занятия, перенесенные из ее замерзших классов в маленькую комнату на первом этаже нашей парадной — ее хозяева уехали из Ленинграда, а их комнату использовали как класс. Комната небольшая, но и учеников было мало, и становилось их с каждым днем все меньше; но учителя, пока могли, проводили занятия. Помню последний урок — когда пришли мы вдвоем, с моей приятельницей из нашего же дома: больше занятий не было до лета сорок второго.

А жизнь становилась все труднее. Помню мучительное ощущение холода — была еще осень, не началась печально знаменитая зима сорок первого, но уже до боли мерзли ноги: ведь тогда не носили теплых сапог, а шерстяных носков и полуботинок было мало. С тех пор остались следы на всю жизнь — даже при слабом замерзании краснеют и болят руки и ноги. Становилось все хуже с едой. Был период, когда мы прикрепляли карточки в ресторане «Националь» (на Невском, у Московского вокзала), — в начале войны так поступали многие. Это был первый ресторан, в котором я была, зал выглядел торжественно, но на нарядной посуде подавали крошечные порции, которые не снимали ощущения голода. Это ощущение будет длиться еще долгие месяцы...

Продолжались бомбежки и обстрелы, но они как-то стерлись: ведь неумолимо надвигалась, и надвигалась очень быстро, более страшная опасность — голод. Нормы становились все меньше, теперь я понимаю, как же стремительно шло их уменьшение, если уже к концу ноября они достигли своего предела, печально памятных ста двадцати пяти грамм! Давно было съедено все, что можно было найти в уголках буфета. Пытались менять вещи на продукты, благо Кузнечный рынок был рядом. Потом этот рынок вошел в нашу жизнь надолго.

Особенно плохо было отцу. Мужчины стали умирать раньше, а папа был к тому же очень высокий — ростом почти два метра, да и за плечами у него были нелегкие испытания: пять лет Соловков, вместе с другими университетскими учеными... Он страдал в тяжелой форме расширением вен, и сердце не было готово к таким лишениям. Отец, Александр Васильевич Болдырев, был доцентом кафедры античной филологии Ленинградского университета. Во время войны он стал начальником пожарной команды в университете, и, несмотря на холод и голод, на то, что транспорт перестал ходить, каждый день отправлялся пешком в университет — от Пяти Углов, через Дворцовый мост. Хотя мама и бабушка старались как-то его подкормить, выменяв крохи на рынке, он стал таять на глазах. Помню высокую его фигуру, на кото-

рой висела одежда, худое, какое-то заострившееся лицо. Я по возрасту еще полностью не сознавала надвигавшейся опасности, но старшие прекрасно видели все. Но что было делать?

И вдруг — проблеск надежды: на Литейном открыли стационар, чтобы поддержать силы умирающих от голода ученых. Отцу выделили место. Ходил он уже с большим трудом, его вывели под руки, я провожала его до улицы. Мама отправилась с ним. Вернулась воодушевленная, полная надежд: ему дали глоток вина, покормили, он уснул. А наутро он не проснулся: дистрофия третьей степени, ничто уже не могло его спасти. Отец умер 25 декабря, ему было сорок пять лет. А в этот день была первая прибавка по карточкам — правда, только на бумаге; очень редко выдавали что-нибудь, кроме хлеба, в эти страшные зимние месяцы, многие талоны так и остались невырезанными.

Страшные десять дней — от 25 декабря до 5 января. Мама решила любой ценой похоронить отца, чтобы у него была своя могила. А любой ценой — это значило ценой хлеба. Не знаю, как ей удалось по крохе, отрывая от своей и бабушкиной порции (меня берегли), что-то выменивая, набрать тот кусок, за который наш дворник — кстати, очень славный человек, Иван Егорович, который после войны много лет приходил нас проводить, — помог нам свезти папу на Волковское кладбище и похоронить его. Как долг казался путь до кладбища! Теперь-то оно, оказывается, в центре, и совсем недалеко от нас. Но тогда мы шли несколько часов. Кроме нас с мамой и Ивана Егоровича, папу провожал его племянник А.Н. Болдырев (востоковед-иранист) со своей матерью. Мой двоюродный брат еле тянул ноги, а его мама три месяца спустя тоже скончалась от голода. Кажется, тогда впервые я увидела по пути на кладбище страшные штабеля мертвых тел — у Крестовоздвиженской церкви на Лиговском проспекте. Туда свозили умерших от голода и потом хоронили в братских могилах.

А дальше начинается казавшаяся бесконечной страшная пора тьмы, голода и холода. Но раньше — один маленький штрих, который тогда прошел малозамеченным, но теперь кажется мне замечательным. В это тяжкое время, когда жизнь замерла, словно кончаясь, вдруг пришли из школы — звать на новогодний праздник. Небольшое число оставшихся учителей нашли в себе силы, чтобы хоть как-то порадовать своих ребят. Я не пошла в школу — еще лежал непохороненным отец, но знаю, что детям даже приготовили подарки — что-то из еды, что могло быть дорожке тогда?

Итак, блокадная зима в нашем осиротевшем доме. Разъехались последние родные. В феврале через Ладогу эвакуировался папин брат и

сестра с дочерью, которые жили в одном с нами доме. Дядя умер по дороге от голодной дизентерии, а с сестрой мы встретились только через двадцать лет.

Мы собирались уехать с университетом, но университет эвакуировался уже после смерти отца, и мы остались в Ленинграде. Сложился свой особый блокадный быт. Еще раньше, когда начались бомбежки, жильцы верхних этажей спускались вниз — там считалось менее опасным. И у нас, на втором этаже, бывали соседи по лестнице. Помню, как одна старая женщина очень долго ночевала у нас. Приходили со своими кусочками хлеба, грели воду, вместе пили чай.

У нас была двухкомнатная старая квартира. Жизнь сосредоточилась в одной комнате — топить всю квартиру было невозможно. Сначала где-то покупали отдельные поленья, иногда куски бревен; помню ужасный толстый чурбан, который мы с бабушкой пилили тупой двуручной пилой несколько дней. Затем жгли то, что было в доме. В комнате, в центре, была поставлена чугунная печурка — буржуйка, которая, оказывается, хранилась где-то в дровяном сарае еще с гражданской войны. От нее по комнате шла длинная труба, которая выходила в печной дымоход. Позже кто-то сделал нам простую жестяную буржуйку, которую можно было топить просто бумагой. В то время у бабушки были приступы печени, нужны были грелки. Вся жизнь сосредоточивалась вокруг буржуйки. Как же было холодно в доме! — четыре, пять градусов... До войны наши комнаты были обставлены по старинному уютно, теперь же стены были голые — картины, зеркала, безделушки были убраны внутрь диванов от бомбежек, окна почти не пропускали света: вместо выбитых стекол была набита фанера, которая еще долго оставалась там. Вторая наша комната была наглухо закрыта, в кухне царил мороз.

Вся жизнь тогда проходила в комнате. Выходили на улицу редко — только чтобы попытаться что-то выменять (это делали старшие), достать воды (напротив, в бывшей прачечной был кран, который иногда работал; или брали воду из Фонтанки, или просто топили снег). Конечно, еще стояли в очередях за хлебом. Ох, эти бесконечные очереди, в которых стояли часами, меняясь, отпуская друг друга домой погреться! Продолжались они и ночами — утром каждый занимал свое место. И волнение: привезут хлеб или нет? Бывало и так...

Больше всех двигалась мама. По профессии пианистка, она с бригадами артистов даже в самое страшное время ездила на концерты в госпитали и военные части, на такие близкие передовые позиции. Мы ждали ее со страхом и надеждой. После концертов артистам обычно

давали тарелку жидкого супа, а если был кусочек хлеба, мама все несла домой. Занималась она и с девушками из МПВО, ходила к ним на Васильевский остров через город. Помню ее рассказы об этих девушках, которые исполняли тяжелейшую мужскую работу — разбирали дома после бомбежек, откапывали засыпанных и еще находили в себе силы петь в хоре.

Длинные холодные, темные дни и вечера. И главное занятие — чтение. Сколько было перечитано за это время! У нас дома была неплохая библиотека, многое, конечно, погибло, было сожжено, но читать было что. А с весны начался бурный обмен книгами для чтения между ребятами. Но это — позже.

А пока, зимой сорок второго, было проблемой добыть хоть какой-то свет, чтобы долгие мучительные вечера можно было скоротать за чтением. Опять — рынок: на какие-то вещи из прежней жизни мама и бабушка выменивали что придется — самодельную свечку, стакан керосина. Самое привычное — маленькая, мигающая в холодном воздухе (каждое дыхание вызывало ток воздуха) коптилка, рядом с буржуйкой. Вокруг — все домочадцы (кроме нас еще моя тетка с маленькой двоюродной сестренкой и кто-нибудь из соседей). И чтение — до самого сна. Наверное, с тех пор у меня безнадежно испорчены глаза; и от рождения не очень хорошие, они не могли выдержать испытания коптилкой. Читали каждый свое и читали вслух. Читали классику (тогда я узнала «Войну и мир», романы Гончарова и Тургенева и многое другое), читали приключенческие и даже рыцарские романы, читали — часто вслух — стихи (помню чтение стихов Гюго на французском языке). И, конечно, читали то, что издавалось в блокированном городе, — «Цитадель» Крониной, «Красное и черное» Стендаля и еще многие, многие книги. Что бы мы делали без чтения? Именно оно спасало от тоски, от постоянных мыслей о хлебе, о том, что еще ждет нас.

Однообразие как бы застывшей, затемненной жизни иногда нарушалось появлением других людей. К нам заезжал один дальний знакомый или родственник — капитан, воевавший под Ленинградом, приезжал прямо из окопов. Перед войной мы были мало знакомы и после войны тоже потеряли друг друга из вида. Но во время блокады наша семья оказалась для него единственной близкой в городе, и когда он получал увольнительные, бывал у нас. На фронте тоже было голодно, он старался хоть что-нибудь привезти, что-то рассказывал. Спали все в той же комнате, и я помню, как я иногда пугалась, когда ночью просыпалась от его крика — команд, возгласов. Он и во сне продолжал воевать.

Несколько раз приезжал к нам — пожалуй, это было несколько позже — с ближних позиций бабушкин племянник Петя, которого она никогда не видела (он родился в далекой Сибири, где два бабушкиных брата были лесничими), но сразу полюбила его как родного. Он был рядовой солдат, скромный, хозяйственный, — как только появлялся в нашем доме, где не было мужской руки, сразу что-то подправлял, приколачивал, чинил. Он рассказывал, что его несколько раз хотели отправить на лейтенантские курсы, но он не мог согласиться: лейтенанты гибнут первыми, а он очень хотел выжить, должен был выжить, он был единственной опорой многодетной семьи. Вскоре он погиб в бою.

Запомнился еще один визит. Постучали — это было в самое темное, страшное время, — я открыла дверь (тогда открывали всем — не приходило в голову бояться этого), вошел человек, немолодой, заросший, укутанный во что-то. Прошел в комнату, попросил о чем-то — поесть или попить. Он казался не совсем в себе. Его поили чаем, а он вдруг стал читать греческие стихи — на древнегреческом. Потом ушел — насовсем. Кто он был? Думаю, он не случайно пришел в нашу квартиру, — ведь отец занимался Грецией, у него немало переводов с греческого. До сих пор живет в душе этот грустный эпизод.

Казалось, вечно будет зима. Жизнь затихла, замерла в темных, замороженных комнатах. Мы даже не знали, сколько народу осталось во всем доме, кроме нашей лестницы. Но всему приходит конец. Для меня переход к новому этапу блокадной жизни, — уже связанному с другими людьми, с внешними впечатлениями, — связан с тем прекрасным днем или днями в конце марта, когда оставшиеся в живых ленинградцы вышли на улицу, чтобы расчистить город, свои дворы. И у нас во дворе собрались все, кто выжил. Не помню, чтобы люди поразили меня своим видом, — наверное, потому, что мы уже привыкли к дистрофикам. Помню другое: то радостное, товарищеское единение в общем труде, — думаю, что такого чувства больше я никогда не испытывала. Вышли все, кто мог шевелить ногами, хотя никого не принуждали.

С тех пор жизнь в значительной степени перенеслась наружу, прежде всего, во двор. Засидевшиеся в холодных, продуваемых комнатах ребята жадно тянулись к воздуху и солнцу. У нас всегда был хороший двор с зеленым садиком и даже с фонтаном. Но во время войны двор действительно стал нашим вторым домом. Прежде всего, на заднем дворе, где до войны были по бокам дровяные сараи, которые сторели в первые месяцы блокады, все жильцы стали дружно устраивать огороды. И у нас были свои грядки. Что мы там сажали — не очень помню, но знаю, что выросла у нас в основном мокрица. Но какой же вкусной

была она! Я всегда с благодарностью вспоминаю эту мелколистную сорную травку, даже когда теперь выпалываю ее на даче. С нею варили суп, ее прибавляли в скудную пригоршню пшена, ее жевали в сыром виде. Теперь, в длинные летние дни, все жилицы, особенно по вечерам, собирались у своих грядок и копались в них, щедро делясь небольшим опытом огородничества. Где тогда только не было огородов! У наших родственников были грядки в Ботаническом саду. Позже маме дали участок на станции Бернгардовка, на той единственной железнодорожной ветке, по которой ходили поезда. Мы там были дважды (видимо, это было лето сорок третьего) — когда что-то сажали и когда приехали за урожаем — той же мокрицей.

Весной или в начале лета открылась школа. Собрали оставшихся детей, начались занятия. Состав нашего класса был очень пестрым: кое-кто был из наших ребят, были и переведенные из других школ, в том числе и из тех, которые работали и в блокадную зиму. В школе организовали школьное питание — как-то поначалу эти завтраки вспоминаются больше, чем уроки. Голод-то по-прежнему не отступал. Прозанимавшись с нами месяца два, умерла от дистрофии старенькая учительница литературы Ольга Владимировна. Запомнилось, как один мальчик, с которым я училась еще до войны, с забавной фамилией Головешко, после еды вылизывал тарелки своих соседей (и так выскобленные дочиста). Вскоре изголодавшийся мальчик умер от дистрофии.

Лето прервало начавшиеся занятия. Ребята устраивались кто как — кто на площадке при школе, кто вокруг дома. А я оказалась во Дворце пионеров — с ним мои следующие военные годы были тесно связаны. Еще перед войной я занималась там музыкой, а теперь, после блокадной зимы, оказалось, что во Дворце собирают бывших учеников (и, конечно, берут новых), что там будут идти занятия, а летом ребята будут весь день проводить на площадке (туда нужно будет прикреплять свою продовольственную карточку) и только вечером возвращаться домой.

Меня несколько пугало такое пребывание вне дома — я была очень домашним существом. Но мама и бабушка решили, что там, может быть, нас немного подкормят, да и им хотелось, чтобы я не забывала роля. Я стала ходить во Дворец, так продолжалось и дальше, и о Победе я узнала во Дворце.

Начался еще один этап жизни. Каждое утро мы — большая группа ребят разных возрастов — собирались в знакомых, еще в детстве поразивших воображение дворцовых помещениях: в нашем распоряжении были боковые флигели (а позже там был госпиталь) и главное здание.

Все, как прежде, — и все иначе. Раньше я приходила туда два-три раза в неделю на час, теперь Дворец стал моим вторым домом. И опять — естественно для блокадной памяти — первое воспоминание о еде. До войны, когда меня водили на уроки, обязательно заходили в буфет — это было непременно удовольствие. Там пекли знаменитые пончики, горячие, пышные, обсыпанные сахарной пудрой, готовили их, кстати сказать, на хорошем масле, — уже в коридоре стоял удивительно вкусный дух, который дразнил аппетит вполне благополучных довоенных ребятшек. И вот — первый день на площадке, зовут к завтраку. Знакомая обстановка, на фарфоровой посуде подают пончики — сжалось сердце, а пончики оказались шротовыми...

После замкнутой зимней жизни я оказалась в большом ребячем коллективе. Нас не выпускали за пределы двора и сада Дворца — дети были разного возраста, а в городе опасность подстерегала постоянно — шли обстрелы, возобновились бомбежки. Администрация отвечала за своих питомцев. Постепенно наладился ритм жизни. После долгой молчаливой зимы не могли наговориться. Девочки рассказывали друг другу то, что прочитали, особенно за зимние месяцы. Я впервые именно в таком устном пересказе узнала «Графа Монте-Кристо» и другие увлекательные истории. Учились вязать, пели хором и занимались в своих кружках. Видимо, занимались не очень усидчиво — ведь мы целый день были во Дворце, учить заданное было трудно, инструментов на всех не хватало, а домой мы попадали только вечером. Но постепенно занятия приобретали организованный характер, мы готовились к концертам, олимпиадам. Наши ребячьи бригады выступали в госпиталях, детских домах, даже как-то довелось выступать (играя в четыре руки) по радио. Здесь же с нами рядом занималась балетная группа Обранта, снискавшая широкую известность в те годы. Эти девочки и мальчики были постарше, более уверенные в себе, — артисты! За нашу концертную деятельность я и была удостоена дорогой для всех нас награды — медали «За оборону Ленинграда» (слова замечательного поэта-блокадника Юрия Воронова: «Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом — паспорта» — точно относятся к моему возрасту).

Так и повелось: летом — Дворец пионеров, остальные месяцы — школа, и во Дворце — только занятия два раза в неделю. Блокада продолжалась, было по-прежнему голодно, кругом гибли люди, не было самого необходимого; вспоминаю, как праздник, когда в школе мне выдали ватник, — аккуратный серый ватничек, к которому бабушка пришила меховой воротничок. Мне он казался верхом элегантности, и действительно был очень удобной, теплой и легкой одеждой. Жизнь

шла своим чередом, были в ней свои маленькие радости и огорчения. Как и до войны, хотелось получить отметку получше, были переживания, как пройдет концерт, завязывались новые дружеские отношения, выделялись любимые и нелюбимые учителя. Это уживалось с тем, что урок прерывался глухими ударами бомб — в сорок втором бомбили жестоко, — урок переносился в бомбоубежище. Помню одну бомбежку. Фугаски падали вокруг, казалось, что ничто не могло уцелеть, мы вырывались из убежища и толклись на пороге, за который нас не пускали учителя. У каждого был страх за своих: школа-то цела, а как дом? У меня дома были бабушка и маленькая двоюродная сестренка, они в убежище не ходили и просто стояли в прихожей, там не было окон, считалось безопасней. После особенно близкого разрыва я не выдержала — бросилась бежать к дому: по Социалистической улице, поворот на Загородный — и мой второй дом. Как свистели над головой бомбы! Налет был одним из самых сильных, нацеленным на наш район. Вбегаю в ворота — слава Богу, дом стоит! — но что-то не то. Сообщаю, что в доме ни одного стекла — попадание было рядом, старый дом все-таки устоял, а окна вылетели все. Бегу домой — в темной передней у стены прижались бабушка и внучка... Пронесло!

Из дома в бомбоубежище уже давно не ходили (считалось, что самое страшное — быть засыпанным), но если налет или артобстрел заставал на улице, приходилось прятаться. Сколько их было, этих подвальных помещений, ставших бомбоубежищами! Остро запомнился очень характерный запах, который там царил, запах свежеструганых бревен, сырости, земли. Как-то, пару лет назад, вдруг в каком-то помещении пахло этим духом, и сразу за ним встала война.

Однажды в сорок втором нас школой повезли на несколько дней в колхоз — убирали, кажется, кормовую свеклу. Чтобы я не потеряла карточные талоны на еду (без них никуда нельзя было уехать — по ним кормили), мне несколько талончиков положили в крошечную старинную сумочку, которую я надела на шею, — ведь руки для работы должны были быть свободными. Дни на поле вспоминаются туманно — все затмило одно: цепочка сорвалась, я потеряла кошелечек с карточками. Молчала, покоровившись судьбе, — ведь ни у кого не было лишней порции. Хорошо, что девочки распознали мою беду, рассказали учителям, те сумели меня накормить.

Мы недолго проучились в моей старой школе. Подошла школьная реформа — разделили мальчиков и девочек, наша школа стала мужской, а девочек перевели в 319-ю школу у Пяти Углов — теперь в этом здании другое учреждение. И пришлось привыкать к новому помеще-

нию, новым учителям, новым одноклассникам. Эту школу я и закончила. К сожалению, не получилось у нас дружного коллектива, после выпуска мы ни разу не встречались всем классом. В чем тут дело? Наверное, в разных причинах. И в том, что идея разделения девочек и мальчиков не была верной: девчоночий коллектив — не чета смешанному. И в том, что последние классы пришлось на первые послевоенные годы, когда ребята возвращались из эвакуации, переселялись внутри города, выезжали в область. В результате состав класса был текуч, пришедшие из разных школ девочки так и не слились в одно целое.

Границы жизни постепенно расширялись, этому не могли помешать постоянные налеты и обстрелы. Мама начала работать в блокадном Театре оперы и балета им. С.М. Кирова — оставшиеся в городе артисты образовали свой творческий коллектив, который ставил целые оперные и балетные спектакли. Здесь я слушала «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», «Кармен», смотрела «Тщетную предосторожность». — Нет, раньше были походы в оперетту — наш славный блокадный театр. Из-за войны мы стали посещать оперетту значительно раньше, чем это было бы позволено детям в мирное время. Помню один из первых коллективных (со школой) походов — кажется, это был спектакль «Раскинулось море широко». Он шел в Пушкинском театре, там не раздевались. Когда в ложе надышали набившиеся в большом количестве школьники, пальто сложили в аванложах на диванах.

Если уж вспоминать о блокадном театре, то нельзя не назвать Горьковский. Какие чудесные спектакли шли на его сцене, с какими артистами! Помню бесподобную «Дорогу в Нью-Йорк» с Полицеймако и Казико — я несколько раз ходила на нее и никак не могла досмотреть до конца — мешали тревоги. То же было и с популярной кинокартиной «Джордж из Динки джаза», мне удалось его увидеть целиком на третий или четвертый раз. Как помогали жить и радоваться — а без радости жить нельзя — эти незамысловатые, чистые, веселые пьесы и фильмы!

Сейчас, глядя назад, думаешь о том, какой доброй, при всей суровости быта, была атмосфера в городе. Я не помню времени, когда так ощущалось бы единение людей и местных властей, тех работников райисполкомов и райкомов, которые и до, и после войны существовали совсем в стороне от простых смертных. А здесь вспоминается такая картина: самое суровое время (видимо, начало сорок второго). Длинная, безнадежная очередь за хлебом — хлеб не привезли, предстоит продолжить ожидание утром. Молчаливые, измученные женщины и

дети. К булочной у Пяти Углов подъезжает машина, выходит немолодой, несколько опухший человек в белых бурках. Он подходит к очереди и начинает разговаривать с женщинами, объясняя им, что хлеб будет, но придется подождать — доставка задерживается. Его дружеское участие вызывает оживление в очереди, лица светлеют. Как важно доброе слово. Я даже помню фамилию этого человека — Мартынов: кажется, это был председатель Фрунзенского райисполкома.

Я уже говорила о том, как сблизилась война соседей. Тогда в своем доме мы все знали друг друга, — конечно, и жильцов осталось немного, но главное было какое-то взаимное участие, вызванное общей бедой. Сейчас меня удивляет и то, как спокойно можно было ходить по улицам. Был комендантский час, хождение прекращалось — не помню точно, в десять или одиннадцать часов. Но ведь осенние и зимние вечера беспросветно темны уже с пяти-шести часов. Вплоть до снятия блокады строго соблюдалось затемнение, так что в городе не было ни одного огня. Только на груди людей зеленовато отсвечивали круглые «светлячки», чтобы в темноте не налететь друг на друга. И вот в этой кромешной тьме, о которой сейчас и взрослому человеку страшно подумать, спокойно ходили тринадцати-четырнадцатилетние девчонки, и это не вызывало беспокойства дома. И дело не только в том, что по сравнению с окружавшими нас опасностями это хождение во тьме казалось не главной; но и город был тогда действительно спокойным, не было разговоров о хулиганстве, разбойничьих нападениях. К тому же всю войну — да и немалое число лет после войны — сохранялся добрый обычай дежурства у ворот, так что вы шли по живой улице, и в случае чего легко было поднять тревогу.

Во время блокады, как всегда в жизни, рядом шли свои радости и беды (только, наверное, последних было намного больше). Каким счастьем было, когда в доме зажглось электричество! Это было на рубеже сорок третьего, сначала существовал лимит на свет. Мы ждали его долго, обещали, что скоро дадут свет, придешь из школы, первый вопрос: «Горит?», — оказывается, еще нет. Наконец загорелись лампы. Это после той кромешной тьмы. Жизнь сразу стала легче. А одновременно — какие страшные обстрелы обрушивались на город — и в сорок втором, и уже после прорыва блокады в сорок третьем! Когда снаряд врезался в толпу людей на остановке на Невском проспекте, у Садовой, я была во Дворце. Это было совсем рядом, сразу стало известно о трагедии — погибли десятки людей, некоторые ребята бегали смотреть; я не могла. Во время другого жестокого обстрела на улице Ракова, тоже в гуще ожидающих транспорт людей, погибла наша родственница — это был



*Софья Александровна
Маретина, главный
научный сотрудник МАЭ,
доктор исторических
наук, один из ведущих
индологов в нашей
стране. Профессор
кафедры этнографии
Санкт-Петербургского
государственного универ-
ситета.*

солнечный день сорок третьего. Муж пытался найти ее останки, это оказалось невозможным — снаряд превратил людей в кашу.

После прорыва блокады с едой стало легче, хотя голодные смерти продолжались. Стали умирать более выносливые, чем мужчины, женщины. Но все-таки стало сытнее. С повышением продуктовых норм появился новый бич — крысы. Наша квартира расположена над магазином, в самые голодные месяцы там было пусто, и вся живность ушла или просто погибла. Но теперь встанешь утром, выйдешь на кухню, а там на столе сидит крыса, которая, несмотря на мой крик, удаляется неспешно, волоча за собой длинный мерзкий хвост. Надо было что-то предпринимать, нужен был кот. Мы так отвыкли за блокаду от всего живого, что кошка казалась каким-то чудом. Поначалу коты были нарасхват. У наших знакомых в нашем доме появились котята, и нам предложили выбрать одного. Я влюбилась в большеголового рыжего котенка, но, когда пришла за ним, — оказалось, мне оставили серого. «Ведь серый красивее!» — сказал удивленный моим огорчением хозяин. Что же — и серый кот был настоящим счастьем.

Известия с фронтов были все более обнадеживающими, жизнь в городе становилась все полнее: и в мою жизнь все больше входили концерты — эти прекрасные сборные эстрадные концерты (всех артистов мы знали наперечет) — и кино. К концу войны мы с мамой несколько раз ездили на острова и там собирали грибы. Сейчас трудно в это поверить, но тогда там было пусто и первозданно и удивительно хорошо.

Великая дата для всех, переживших блокаду, — конец января сорок четвертого. Наверное, нет человека, который бы не помнил этот постоянный, длившийся несколько дней гул — звуковой фон от непрекращающегося грохота орудий. Мы за годы войны привыкли определять — кто стреляет, где стреляет, куда стреляет. Здесь канонада была могучей, но как-то все чутьем воспринимали ее радостно — наши наступают! День за днем продолжался этот дальний рокот, и вот — счастливый день, исторический приказ по городу об освобождении таких до боли знакомых с детства мест — Пушкин, Павловск, Гатчина и многие другие. Блокада снята! Это значило — конец обстрелам, которые калечили город еще в январе; конец затемнениям; конец фашистской угрозе! Наверное, никогда не забудется первый ленинградский салют — казалось, весь город высыпал на улицы и пошел на Неву, на Дворцовую площадь. После этого туда шли постоянно — при всех победных салютах, которые бывали все чаще. Я стояла в тесной толпе, люди кричали, смеялись, плакали. С нами была моя семилетняя сестренка — победные залпы вызывали у нее слезы страха — ведь она знала только выстрелы смерти.

После этого так и повелось — все праздничные салюты встречать на Неве. Мы с подружками обязательно отправлялись туда, радовались фейерверку, веселились в толпе на Дворцовой. А там играли оркестры, показывали кино — на здании Морского архива был натянут огромный экран — и, конечно, танцевали. Тогда танцевали везде — и в кинотеатрах перед началом сеансов, и в фойе театров, и на улицах и площадях по торжественным случаям. С тех пор я не могу в день Победы сидеть дома — он для меня на улице, в праздничной толпе, в звуках марширующего по Невскому оркестра.

После снятия блокады все сразу почувствовали себя свободными. Война уверенно катилась к границам, Ленинград наконец-то оказался в тылу. Теперь нам стали доступными не только город, но и пригороды. И как только фронт отошел, уже летом сорок четвертого, мы с подругой отправились в освобожденный Петергоф. Теперь-то я понимаю, какое это было рискованное легкомыслие: везде вдоль дорожек

шли надписи о минах, — о том, что «мин нет», или о том, что «ходить запрещено». Но какая же там была красота! Замечательный ансамбль сильно пострадал: вместо дворца возвышался полуобгоревший остов, в парке на каждом шагу были развалины, многие деревья были срезаны наполовину снарядами. И тем не менее парк сохранял свое величие, море, настоящее море поблескивало на солнце, и главное — мы были совершенно одни. Быть одним в Петергофе — такое сейчас невозможно себе представить. Тогда все это было наше, только наше, и мы как хозяева углублялись во все новые и новые аллеи, босиком ходили по взморью, а потом отправились пешком в Старый Петергоф. Вот где были сплошные надписи о минах, вот где ряды за рядами тянулся обезглавленный лес. Эта поездка запомнилась на всю жизнь: как во всем тогда, в ней были и грусть по погибшему, и неудержимая радость обретенного, радость возвращения к прекрасному.

Рассказывать о блокаде нельзя, не назвав день Победы, хотя пришел он более чем год спустя после окончания ленинградской эпопеи. Этот день зримо приближался, его ждали, знали, что он вот-вот придет, день объявления мира, — но какой он был счастливый, этот миг, когда все узнали — война кончилась. Хотя и очень грустный, — боль от потерь особенно остро давала себя знать в этой атмосфере счастья.

Я узнала о конце войны во Дворце пионеров, сразу же побежала домой. Мама уже отправилась с другими артистами выступать по случаю праздника — тогда, это, наверное, все ленинградцы помнят, на площадях и набережных Невы шли концерты, везде играла музыка. И мы, конечно, пошли на Дворцовую, на Неву — ведь там мы встречали все победные салюты, сюда же пришли в день главной Победы и любовались великолепным фейерверком.

Но, пожалуй, самое сильное воспоминание — это 8 июля сорок пятого, возвращение гвардейских частей в Ленинград. В этот яркий, солнечный день на улицах города было настоящее праздничное ликование — такое, как обычно показывают в кино и какое нечасто бывает в жизни. Этот день забыть нельзя. Войска шли и по нашей улице — Загородному проспекту, мы ждали их в толпе у Пяти Углов, как и все, с охалками цветов, а потом шли следом, по Невскому и дальше. Об этом дне много написано и рассказано, это надо было видеть и ощутить. Казалось, все муки долгих блокадных лет растворились в этом празднике цветов, объятий, слез и улыбок. А ведь военные раны долго еще будут давать о себе знать...

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

Я принадлежу к поколению ленинградцев, о которых наш поэт-блокадник Юрий Воронов писал:

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.

Весной 1941 года я окончила шестой класс 252-й школы Октябрьского района. Обычно моя семья каждый год с начала лета выезжала на дачу под Петергоф. Однако в тот памятный июнь выезд на дачу все откладывался. Я уже не помню всех причин — возможно, это и болезнь отца, но, скорее всего, влияла общая напряженная обстановка, вызванная обострившимся международным положением: ощущение тревоги, предчувствие надвигающейся беды.

И вот беда пришла. Надо сказать, что очень многие ленинградцы, в том числе и мы, не сразу осознали масштаба случившегося. Думали, война кончится так же быстро, как и война с белофиннами. В нашей победе, конечно, никто не сомневался, и об эвакуации из Ленинграда мои родственники — коренные ленинградцы — не хотели даже думать.

Но эвакуироваться все же пришлось моему отцу. (Только через несколько лет после смерти папы я узнала, что он работал в области вооружения боевых кораблей.) По распоряжению правительства, КБ, где папа работал, эвакуировали в Казань. Все специалисты получили бронь, освобождавшую их от призыва в армию. КБ эвакуировалось в



Вера Николаевна Вологодина,
научный сотрудник Отдела
Африки, кандидат исторических
наук. Специалист по культуре
народов Ганы и Того. Многие
годы являлась ученым секретарем
по международным связям,
член Международной Ассоциации
историков войны и блокады.
Награждена медалью
«За оборону Ленинграда».

три очереди. Последняя была в конце того же июня. За папой в больницу, где он лежал с приступом стенокардии, пришла машина, он заехал на пятнадцать минут домой (дома никого не застал, взял две смены белья, пальто, оставил нам записку) и на той же машине был доставлен на вокзал к своему эшелону. Мама нашла его там, а я, занятая своими школьными делами, так и не успела с папой попрощаться. Все мы думали, что он уехал ненадолго, но свидеться нам пришлось только летом 1944 года, когда он вернулся из Казани. Зимой 1942 года папа прислал нам вызов, но мама как медработник не могла покинуть больницу: она находилась на казарменном положении, да и из Ленинграда мы не собирались уезжать, хотя очень скучали и беспокоились за папу.

Учебный 1941-й год начался после того, как 8 сентября сомкнулось кольцо блокады Ленинграда. До этого в нашей школе (Крюков канал, 15) располагался эвакуационный пункт для детей Октябрьского района. Мы часто забегали в школу справиться о начале занятий и помогали учителям, работавшим в эвакуационном пункте, чем могли.

Начало учебного года совпало с постоянными бомбежками и обстрелами города. По данным Ассоциации историков, «только в сентябре по городу было выпущено 5264 крупнокалиберных снарядов. Так, 15 сентября жилые кварталы находились под огнем 18 часов 32 минуты. Артиллерийским обстрелам город подвергался в дневное время, а каждую ночь по девяти и более часов город бомбили самолеты» [Ленинград в борьбе месяц за месяцем. 1941—1944. СПб., 1994].

Одна из первых бомб, упавших на город, взорвалась всего в одном квартале от школы. Попала она в любимый всеми ленинградцами Кировский (Мариинский) театр. Конечно, мы бегали смотреть, сокрушались. Правое крыло театра превратилось в развалины. Здание театра было ограждено. Развороченные, свисавшие ярусы напоминали припущенные траурные флаги. А ведь всего несколько недель назад, в июле, мне посчастливилось присутствовать на прощальном спектакле «Лебединое озеро» — театр готовился к эвакуации. Помню, как после окончания спектакля зрители долго не отпускали своих любимых артистов, аплодисментами заставляя их выходить на сцену снова и снова. Призывы администрации покинуть театр, не действовали на публику. Наконец из зрительного зала все переместились на площадь. По законам военного времени такое скопление народа не разрешалось, пришлось администрации театра вызывать пожарные машины. Только когда пожарники (не знаю, всерьез или нет) стали разворачивать свои шланги, народ стал расходиться. Но, может быть, и потому, что, как выяснилось, артистам было велено покинуть театр через другой выход.

Бомбежкам осенью 1941 года микрорайон нашей школы подвергался интенсивно: недалеко находились известные всей стране судостроительные НИИ и КБ, квартировались военные и морские части. В одну из таких яростных ночных бомбежек трагически погибла наша старенькая учительница русского языка и литературы, Ольга Константиновна Бондарева. Свой педагогический путь Ольга Константиновна начала еще до революции, в гимназии Императорского Человеколюбивого общества, которая располагалась в здании нашей школы. После революции Ольга Константиновна осталась работать в своей гимназии, преобразованной в школу. Жила она во дворе флигеле, отведенном школьному персоналу под жилье. Семьи у нее не было. Рассказывали, что в одну из ночей, когда вокруг все сотрясало и пылало, Ольга Константиновна, видимо желая куда-нибудь укрыться, выбежала на лестницу и... шагнула в разбитое, распахнутое настежь окно третьего этажа, приняв его за дверь.

Занятия у нас чаще проходили в подвале, превращенном в бомбоубежище. Сидели мы в верхней одежде, с противогазами через плечо. Противогаз полагалось носить каждому.

Сколько было учеников в нашем седьмом классе — не помню. Да и вряд ли их считали. Многие школы нашего района по разным причинам переставали функционировать, а их учеников перевели в нашу. А из моего прежнего, шестого класса остались только моя подружка и я.

Занятия в школе чередовались с дежурствами на крыше, в подъезде, на территории школы. Дежурили мы и в своих домохозяйствах. С особым рвением мальчишки тушили зажигательные бомбы. Досталось лиха и мне. Во время дежурства на крыше взрывной волной меня отбросило далеко от поста, где я находилась, оглушило и контузило. Когда я пришла в себя, никого кругом не оказалось. Попробовала встать — ноги отказали, кричала, плакала — никто не слышал. Оказалось, меня считали погибшей, не обнаружив на посту. А я лежала на крыше соседнего здания, примыкающего к школе. К счастью, труба помешала мне свалиться вниз. Нашла меня мама, которая забежала из больницы домой. Снимали меня с крыши пожарные. Несколько дней отлеживалась дома, потом — опять в школу. С тех пор у меня появились седые волосы.

При школе действовала столовая. В городе уже с сентября месяца была введена карточная система, продовольствия не хватало, но по распоряжению Ленгорсовета школьников кормили дополнительно. Полноценными эти обеды назвать было нельзя, но они являлись подспорьем как для учеников, так и для учителей. Столовая располагалась так-

же в подвале — старинное здание школы имело большие сводчатые подвальные помещения.

С приближением зимы 1941/42 года все меньше и меньше учителей и учеников стали приходить в школу. Но жизнь в ней теплилась, даже когда голод начал косить людей. В столовой давали, правда, одну похлебку, неизвестно из чего сваренную. Запечатлелась в памяти такая картина: наш завуч Давид Давидович Шухардт, в довоенную пору грузный человек, ходит между столиками и облизывает после учеников в основном уже пустые тарелки. Он, как и большинство мужчин, тяжело переносил голод. Рассказывали, что в его семье сварили почти все кожаные ремни. Однажды, в конце января 1942 года, Давид Давидович вышел из дома и пешком отправился в школу. Путь был неблизкий, и он оказался для него последним: до школы он не дошел. Его жена Елизавета Ивановна — она преподавала у нас в младших классах русский язык — и средний сын Гельмут — тоже ученик нашей школы — найти его нигде не могли. Вскоре умер их старший сын Эдвин — десятиклассник.

Тут необходимо пояснить, что в 1931—1937 годах школа (тогда № 33) имела два отделения — немецкое и русское. Немецкое отделение, его чаще называли «немецкой школой», являлось как бы восприемником действовавших до революции в нашем городе и закрытых вскоре после нее восьми немецких школ. Наша школа предназначалась для детей немецких и австрийских антифашистов — «шуббундовцев», детей российских немцев и немецких специалистов, работавших у нас в городе. Естественно, в ней учились и русские ребята, и их было большинство. Я проучилась в немецкой школе два года. Учителя в основном были немцы, многие из Республики Немцев Поволжья. В начальных классах все предметы преподавались на немецком языке, в том числе и русский язык. В 1937 году немецкую школу закрыли, навесив на нее ярлык «рассадник фашизма», школа стала целиком русская и получила номер 252. Те из учителей, которые не были репрессированы, остались в ней работать. Нам довелось учиться у них. С благодарностью вспоминаю Г.П. Вормсбехер, А.Е. Клайн, К.К. Мертенса, В.Г. Вагнера, чету Шухардтов и других. Многие учителя-немцы вместе с ленинградцами разделили все тяготы военного лихолетья. Пережив блокаду, они пережили еще и годы репрессий.

Зимой 1941/42 года занятия в школе фактически прекратились, хотя наиболее упорные ученики продолжали еще приходить. Школа стояла холодная и темная — электричества не было, окна выбиты и заколочены. Однажды собралось нас несколько учеников и учителей, и

мы не знали, что делать. А дежурить все равно надо — обходить все помещения и следить, чтобы не возникло пожара. Пожары в ту пору были частыми. Они могли возникнуть не только от зажигательных бомб, но и по другим причинам, главным образом из-за неисправности наших самодельных печек-«буржук», которыми мы обогревались и на которых готовили себе еду. Страшнее были злоумышленные поджоги. Здания горели, как свечки, — долго, тушить было нечем, водопровод не работал, да и некому. Помню, как рядом с домом, где жили мои родственники (угол ул. Декабристов и пр. Маклина), горел дом, известный в городе как «Дом-сказка». Он был построен в начале века архитектором А.Бернардацци. Его украшали многочисленные скульптурные изображения, в том числе и высеченная из камня огромная птица Феникс скульптора Рауша фон Траубенберга, яркие мозаичные панно. Говорили, что их изготовили по эскизам М.Врубеля. Праздничным, затейливым видом дом вполне оправдывал свое название. Знаменит он был еще и тем, что в разное время здесь жили известные люди — балерина А.Павлова, композитор С.Майкопар, скульптор М.Манизер, академик И.Крачковский, многие артисты Мариинского театра. Здесь же помещалась известная балетная школа А.Ф.Кларка, просуществовавшая до пожара 1941 года. Акомпаниатором в школе много лет работал Е.Мравинский. В школе занимались Н.Черкасов, Е.Карякина, другие известные артисты. Какое-то время школу посещала и моя тетушка, жившая по соседству. Балетные постановки школы, шедшие на разных сценических площадках, пользовались неизменным успехом. Сам А.Ф.Кларк и вся его семья погибли от голода.

Дом горел больше недели. От здания остались лишь одни стены. Энтузиасты, рискуя жизнью, спасли отдельные художественные детали, в том числе и мозаику. Но восстановить после войны дом в прежнем виде не представилось возможным. Стены взорвали, а потом на этом месте построили новое здание. Куда девался весь богатый декор, некогда украшавший его, я не знаю. Теперь мало кто и помнит о существовании прекрасного «дома-сказки». Кстати, после войны здесь жили наши сотрудники: Э.В.Зиберт, С.В.Иванов, С.Б.Фараджев.

Дежурили мы в школе по двое — на большее не хватало людей. Ночные дежурства старались брать на себя учителя или более старшие ученики. Но случалось и так — дежурный не приходил. Тогда перedelывали весь график в расчете на оставшихся в живых. Был у нас и один бессменный дежурный — наш сторож, живший при школе и любивший ее, преданный своему делу. Звали ее Настенька. Я не помню ее фамилии и отчества. Наверное, мало кто и знал их. Добрей-

шее, самоотверженное существо, она не гнушалась никакой работы, не считаясь ни со временем, ни с силами, если надо было что-то сделать или кому-то помочь. Думаю, эти качества и помогли ей выжить в ту тяжелую зиму.

И еще была у дежурных одна тяжелая обязанность — убирать трупы с пришкольной территории. Сколько их тогда лежало на улицах в одежде или зашитых в простыни и одеяла! Мы уже знали: если тело застыло в сидячем или лежачем положении, значит человек умер в пути. «Зашитые» умирали дома, просто у родственников или соседей не было сил отвезти их на кладбище или в морг. С улицы покойников подбирали специальные бригады. Чаще всего их свозили в районные или городские морги, а затем хоронили или сжигали. Наш районный морг находился в Канонерском переулке. Это было сравнительно недалеко от школы, но мы были слабые, поэтому приходилось трудно. Способ транспортировки простой — накидывали веревочную петлю на ноги и по двое, по трое волоком тащили до морга. Дорога в морг была накатанной. Сейчас трудно все это осмыслить. Нас спрашивают, какие чувства испытывали мы, почти дети, выполняя эту работу, — страх, жалость, отвращение, недовольство? Да никаких. Чувства притуплялись от всех страданий. Надо — значит надо. И делали. Хорошо еще, что мне довелось тащить только «зашитых» покойников.

За нашу работу при школе нас оставили на довольствии — стали привозить суп, если так можно назвать воду, где плавали единичные лапшинки или крупинки, а то и вовсе ничего не плавало, как в дрожжевом супе. Давали по две тарелки. Естественно, мы переливали суп в свою посуду и уносили домой. Для большинства из нас это было большим, а иногда и единственным подспорьем в скудном рационе. Мама получала «служашую» карточку, а я — «иждивенческую» («изможденческую», как мрачно иронизировали ленинградцы). Дети после двенадцати лет считались иждивенцами. Не буду перечислять, чего мы только не ели в ту пору, сколько проявляли изобретательности, чтобы несъедобное (жмыхи, дуранду, столярный клей и т.п.) превратить в съедобное. А если удавалось раздобыть картофельные очистки или кофейную гущу, — какие восхитительные лепешки получались из них! Я давала себе слово: как только кончится война, наестся вволю этими лакомствами. Жарили на чем придется, в ход шли даже касторовое масло, вазелин, олифа. Ну и, конечно, меняли вещи. На «черном рынке» буханка хлеба стоила от тысячи и выше (в те времена огромные деньги). Правда, я не видела такой продажной буханки, да и рынок находился в глухом подполье — за мародерство по законам военного

времени полагался расстрел. На этот рынок выходили «многоступенчатое». Помню, за золотое кольцо нам дали стакан прогорклого пшена. На другом рынке за папино отличное охотничье ружье и высокие сапоги — дюжину старых засохших просвирок.

Мама большую часть времени проводила в больнице, которая находилась напротив Кузнечного рынка. До войны здесь был родильный дом, где и работала мама врачом-акушером. С сентября 1941 года роддом преобразовали в центр оказания первой помощи пострадавшим от бомбежек и обстрелов. Каких только историй я не наслушалась и чего не нагладелась, навещая маму! Никогда не забуду молодую красивую женщину, в глазах которой глубоко засели осколки стекла. Она стояла у окна, когда поблизости от ее дома разорвался снаряд и взрывной волной выбило стекла. Она осталась слепой. Весной 1942 года больница была преобразована в стационар для детей-дистрофиков. Стационар этот действовал около полугода, а затем больнице был возвращен ее прежний профиль — роддом.

В январе 1942 года нас постигло большое горе: от голода погибли мой дядя и его жена. Я до сих пор не могу себе простить, что упрекнула дядю, когда он, незадолго до смерти, пришел к нам и, увидев на столе сахарницу, схватил ее и судорожно запихал ее содержимое в рот. Это был наш последний сахар из запасов мирного времени, предназначенных для заготовки варенья. А дядя очень любил меня. Помню, чтобы подкормить меня, он ловил голубей у Никольского собора.

После этого случая с сахаром дядя больше не приходил. Обеспокоенная его отсутствием мама, вырвавшись из больницы, пошла навещать его. Подойдя к дому, она увидела крытый грузовик, куда бойцы МПВО укладывали трупы умерших, подобранные на улице или вынесенные из квартир. Грузовик уже отъезжал, когда ветром откинуло рогожу, прикрывавшую покойников, и мама с трудом опознала дядю. Ей удалось узнать: хоронить везут в братские могилы на Серафимовское кладбище.

Это была не единственная потеря родных за период блокады. Как мы потом узнали, от голода погибли жена моего другого дяди и мой двоюродный брат. Мы считали их эвакуированными: они заходили к нам прощаться. Очевидно, по каким-то причинам эвакуация не состоялась, или они погибли в пути. Спросить было не у кого. Дядя же умер еще до войны.

Мама была очень добрым и отзывчивым человеком. Как только ей удавалось прийти из больницы домой, мы обязательно шли навещать кого-либо из родных или друзей, как бы далеко они ни жили. Ходить

повсюду приходилось пешком, транспорт не работал. Мама всегда брала с собой термос с кипятком и какие-либо лекарства — вдруг пригодятся. Часто наш визит был уже запоздалым. Но на меня удручающее впечатление производили не умершие, а, как я их называла, «живые покойники». Это были люди, похожие на скелеты, обтянутые кожей, которые ни встать, ни говорить уже не могли. И вот, к своему большому удивлению, уже после войны я от одной своей родственницы услышала: «А помнишь, вы навещали меня той ужасной зимой. Вы ничего мне не говорили, но по вашим глазам я поняла, что уже обречена». Кстати, на ноги ее поставили в диспансере при Кировском заводе, где она стала работать бухгалтером незадолго до того, как слегла. Такие диспансеры, спасшие жизнь многим сотням, если не тысячам ленинградцев, создавались для своих кадров при крупных заводах, фабриках и других учреждениях. В них оказывали медицинскую помощь дистрофикам — но главное, конечно, было питание, как оно называлось, «усиленное». Открылись такие диспансеры после того, как по ладожской Дороге жизни пошло продовольствие в осажденный город.

Родственница, о которой я говорила, жила в то время одна в двухкомнатной квартире. В одну из комнат ей вселили беженцев из Ленинградской области — несколько семей с детьми. Они очень голодали, так как менять на продукты им было нечего. Вначале родственница делилась с ними, особенно с детьми, чем могла, но... Вскоре все умерли и ей пришлось длительное время находиться вместе с умершими в одной квартире.

Тогда же зимой слегла мама — не выдержало сердце. Помню, побежала я в районную поликлинику вызвать врача. Квартирная помощь находилась в подвале. Освещала подвал одна «коптилка» (так называли чернильницу-«невыливайку», куда наливался керосин и вставлялся фитиль). Народу было много. Когда подошла моя очередь, я, видимо, от волнения сильно вздохнула, и коптилка погасла. Начались длительные поиски спичек — их тоже выдавали по карточкам. С большим трудом спички отыскивались.

С болезнью мамы все заботы о добывании еды легли на меня. Правда, и до этого отоваривание карточек было моей обязанностью. Очереди за хлебом! Сколько часов приходилось стоять на лютom морозе! Обычно очередь занимали с вечера, стояли всю ночь, поверх пальто закутавшись в одеяла (не люди, а кули какие-то). Утром ждали, привезут в эту булочную хлеб или нет, а если привезут, то хватит ли? Мне везло: если хлеб привозили, мне хватало. И ночью меня отпускали погреться — жалели по малолетству. Но случалось и такое: простояв

всю ночь, приходилось уходить ни с чем. В городе хлеба не хватало. В конце января были дни, когда хлеб в булочные не поступал совсем. На эти дни пришелся пик смертности от голода.

Я брала хлеб и другие продукты для всех родственников, живших с нами в одной квартире. Все они работали, а вечерами в магазинах хоть шаром покати. Нашу с мамой порцию хлеба — 250 грамм — я просила взвешивать отдельно, но положить себе в рот хоть маленький довесочек не разрешала, хотя искушение было велико. Все полученное пряталось за пазуху — у зазевавшихся покупателей хлеб могли вырвать из рук, тут же съесть или убежать с ним. Правда, иногда я отдавала довесочек стоящим в безмолвии вдоль стены булочной. По глазам этих людей, полных безысходного отчаяния, мольбы и в то же время покорных всему, и в том числе надвигающемуся, неотвратимому, понимала: здесь горе, связанное с невозможностью купить даже эту крохотную порцию хлеба.

Я говорила, что мне «везло» в очередях. Вспоминается и такой случай. Стояла я в очереди в булочной (угол Садовой и Большой Подъяческой) одной из первых, около самых дверей. Хлеб все не привозили, наконец слышу: «Везут!». Все пришли в движение, задние стали напирать на передних, а двери все не открывали. Ручка двери с силой вдавилась мне в живот, я закричала от боли и не знаю, чем бы это кончилось, если бы вдруг не обрушилась часть стены дома, ранее подвергнувшегося обстрелу. К счастью, никто не пострадал, а небольшая паника, вызванная этим происшествием, спасла мне жизнь.

Случались в очереди и курьезы. Как-то ко мне обратились с чем-то, назвав «девочкой». Это вызвало удивление, даже обиду у одной женщины. «Что вы, не видите, какая она девочка, у нее, поди, и дети уже взрослые!..». А было мне тогда 14 лет. Правда, мой юный возраст один раз чуть не стоил мне жизни — я едва не стала жертвой охотника за людьми, который прятался в подворотне, выжидая подходящий случай. Еле от него убежала и со страхом вошла в свой подъезд. Мне казалось, что он притаился в темноте и может меня схватить. Образ этого людоеда долго мерещился мне в темноте подъезда.

О канибализме во время блокады говорить, а тем более писать не разрешалось. Только сравнительно недавно стало возможным предать этот факт гласности. Да, как это ни прискорбно, но людоедство у нас было. Я не могу сказать о его масштабах. Это не было характерным явлением в осажденном Ленинграде. Как всегда, слухи превышали действительность. Я могу только сослаться на случаи, свидетелем которых была сама. Помню труп женщины, лежащей на трамвайных рельсах

на площади у Никольского собора. Мой путь в школу и обратно каждый день пролегал здесь. И я была свидетелем того, в какой последовательности и за сколько дней был расчленен весь труп. Помню две отрезанные ноги в валенках, вдруг оказавшиеся воткнутыми в сугроб снега у нашего подъезда. Еще помню людей, стоявших часами во дворе больницы на Кузнечном, где работала мама, ждавших, когда на помойку (куда же было девать?) вынесут ампутированные конечности и последы от рожениц (потом это было запрещено).

После открытия Дороги жизни в магазинах стали появляться кое-какие продукты. Во избежание инцидентов продуктовые карточки надо было прикреплять к какому-либо определенному магазину и отовариваться только в нем. Неприкрепленные карточки не отоваривались. Обычно по радио объявляли, какие продукты и в каком количестве будут выдавать на декаду. В магазине при покупке вырезались талоны соответственно объявленным нормам. Но бывали случаи, когда объявленный продукт в твоём магазине отсутствовал, а в другом был. Искушение заставляло людей идти на риск. Они пытались отовариваться в «чужом» магазине. Иногда это удавалось. Если нет, могли быть и неприятности: продавец отрежет талоны, а потом разглядит, что штамп на карточке другого магазина и возвращает карточку с отрезанными талонами, а отрезанные талоны считались недействительными, с ними потом было очень много мороки, особенно если один продукт заменялся другим, ну, например, мясо — на яичный порошок, и т.д.

Так вот. Прохожу я как-то по Почтамтской улице мимо большого гастронома. Зашла ради любопытства внутрь. Гляжу, на прилавке колбаса «собачья радость» (так у нас в шутку еще до войны назывался сорт колбасы, очень вкусный, между прочим). А у нас-то в магазине на мясные талоны который день ничего нет. Эх, думаю я, была не была, вдруг проскочит. Подошла моя очередь, продавщица берет карточки, отрезает талоны и... — «Девочка, как не стыдно заниматься обманом». Но карточки не отдает обратно, внимательно их разглядывая. Я — в слезы; мысли в голове нехорошие — пропали мои карточки. А продавщица идет в администраторскую. Через какое-то время оттуда выходит молодая женщина и, как мне кажется, строго просит назвать фамилию. Я лепечу сквозь слезы. Тогда она спрашивает, знаю ли я Митю Володина. Я киваю головой. Так звали моего двоюродного брата. Он был, согласно наследственным морским традициям нашей семьи, штурманом дальнего плавания, перед самой войной ушел в плавание, и мы ничего о нем не знали. Женщина оказалась женой брата и сообщила печальную весть: Митя погиб в самом начале войны. Его

корабль, возвращаясь из Таллинна, подорвался на мине. Я пришла домой с колбасой, которая уже не доставляла радости, — было очень жаль брата. Подавленная печальным известием, я даже не спросила ни имени этой женщины, ни ее адреса. Потом попытки навести справки ни к чему не привели. Директор магазина, у которой сидела та женщина, погибла во время обстрела.

Дома, кроме нас с мамой, существовали еще два едока: два наших меньших члена семьи — попугай и кот. Говорящий попугай Жаконя появился в нашей семье задолго до моего рождения. Папа купил его у матроса в порту. Два года попугаю пришлось прожить в строгой изоляции, чтобы отучиться от своеобразной морской лексики. И он отучился. Как я только помню, это была благовоспитанная птица, принимавшая участие в моем воспитании и воспитании кота Максима, который появился у нас за несколько лет до войны. До этого у нас был другой кот — Бимба. Но тот дружбу ни с кем не водил, даже своих хозяев терпел по необходимости.

Трогательная дружба связывала этих двух, как будто несовместимых, существ — Жаконю и Максима. Когда в доме появился очень шустрый и хулиганистый котенок, попугай на правах старшего принялся воспитывать несмышленишку и весьма преуспевал в этом деле. Стоило, например, Жаконе сказать Макс: «Не смей!» — как не в меру расшалившийся котенок замирал, а затем послушно шел на свое место, ничуть не обижаясь. Зато летом на даче старшим чувствовал себя кот. Он буквально нес вахту около клетки, когда ее выносили в сад, а попугай вылезал на крышу клетки (летать, по старости, он уже не мог). Если случалось забежать в сад чужому коту или собаке, им тут же задавалась такая трепка, что пришельцы едва уносили ноги. Однажды Макс отлупил большую овчарку. Он обрушился на нее откуда-то сверху, и от неожиданности бедный пес пустился наутек, даже не сумев постоять за себя. Эти два существа стойко переносили с нами все тяготы той суровой зимы — боялись, как и мы, бомбежек, страдали от голода и холода. Первое время мы, как и все ленинградцы, во время бомбежек прятались в бомбоубежище, затем под лестницей, потом в коридоре квартиры, в дверных нишах (считалось почему-то, что дверные перекрытия надежнее всего защищают в случае обвала). А после, когда привыкли, уже никуда не прятались, полагаясь на волю Бога.

Наши младшие члены семьи вели себя очень беспокойно, если мы во время бомбежек уходили из комнаты, кот прятался под кровать, а попугай принимался кричать и звать нас. Мы придумали закрывать его клетку накидкой (так делали всегда перед сном), но Жаконе это

не нравилось, и он старался через прутья клетки прогрызть накидку. А когда мы прятались в коридоре, приходилось брать с собой и клетку с попугаем, и кота. Кот забивался под стулья, а затем прыгал к кому-нибудь на колени. Он все время очень мерз. Спал он, естественно, с нами. Помню, в те лютые морозы зимы 1941/42 года, когда меня отпускали из очереди за хлебом домой погреться, я залезала в постель и тут же появлялся Макс. Мы лежим, оба трясемся от холода. Кот смотрит на меня сконфуженно (если он конфузился, то шурил глаза и топорщил усы), как бы спрашивая: «Ну, в чем же дело? Почему мы не можем никак согреться?». А однажды я застала такую картину: лежат в клетке рядышком Максим и Жаконя. Очевидно, каким-то образом дверь клетки оказалась открытой, и кот воспользовался этим.

Попугай не выдержал всех бедствий, но, скорее всего, он погиб от голода. Я считала попугая птицей всеядной — в мирное время они с котом всегда требовали, чтобы их угощали тем, что мы ели сами на завтрак или в обед. Кот «отведывал» первое и второе, попугай суп не ел, но с удовольствием уплетал мясное, особенно он любил куриные косточки. Было уморительно смотреть, как, обглодав мясо, Жаконя удобно ухватывал кость своей длиннопалой лапой и, приговаривая: «Дай головку почешу!», начинал почесываться. Любил попугай фрукты, овощи, но основной его пищей были семечки подсолнуха. Всего этого мы ему, естественно, дать не могли. Правда, летом маме удалось выменять мешочек семечек, но надолго их хватить не могло. Умирал попугай тяжело. Мама взяла его на руки. Изредка он окликал нас всех по имени: маму почему-то звал Олей, меня — Кукушечкой, кота — Попкой. Последним он называл себя — Жаконя. Из его глаза, как мне показалось, выкатилась слеза...

Мы очень переживали гибель Жакони. Мама, у которой он прожил 30 лет, не могла выбросить его на помойку. Ей пришла в голову мысль кремировать попугая в камине. Дров не было, но в ход пошел шкаф. У меня не хватило духу смотреть на эту церемонию — я убежала. Кот разделял наши переживания. Два дня он сидел, уткнувшись носом в камин, отказываясь даже от пищи. Вид у кота был ужасный. От худобы шерсть висела клочьями и выпадала, когти не убирались, его мучила «куриная слепота» — временами он терял зрение. Но и в таком виде он вызывал гастрономический интерес у родственников и знакомых, его приходилось тщательно оберегать. Помню, как муж моей тети, стуча кулаками по столу, требовал отдать ему Макса на съедение. А летом 1941 года он так же темпераментно осуждал нас за то, что мы «попадались панике» и насушили две наволочки сухарей (почему-то все

ленинградцы складывали сушеные сухари именно в наволочки). Чтобы как-то отвлечь внимание дяди от кота, тетя выменяла на какие-то вещи заспиртованного поросенка. Очевидно, когда-то он был музейным экспонатом. Попробовать поросенка, кроме дяди, никто не смог. При варке он источал такой запах, что невозможно было оставаться в квартире. Но дядя съел поросенка. Правда, на мои каверзные вопросы о вкусовых качествах этого поросенка дядя предпочитал не отвечать.

Однажды, придя домой, я увидела такую картину: жутко завывая, кот пополз под кровать. «Умирать!» — ужаснулась я. Вытащила кота за хвост и... скормила ему всю декадную норму на двоих сливочного масла (60 грамм), полученную только что по карточкам. Масло помогло. Кот прожил у нас после войны еще 15 лет, являя собой образец кошачьего долголетия. После войны на него приходили смотреть как на редкость, особенно маленькие дети, знавшие о существовании кошек только понаслышке. Как-то к нам, как на экскурсию, пришел целый класс. Макс преисполнился значимостью своей персоны, стал чванлив, разборчив в еде, приобрел другие нехорошие привычки.

Какие еще воспоминания остались от той суровой зимы... Обычно вспоминают новогодние праздники, елки, организованные для детворы по распоряжению ленинградских властей. Проходили они в помещении Малого оперного театра. В программу праздника входили хоровод у елки, спектакль и праздничный обед. Были даже выпущены пригласительные билеты. Об этих праздниках новогодней елки в осажденном Ленинграде много писалось и пишется. Преобладают восторженные отзывы, в них говорится о том, как веселилась детвора вокруг елки. Я была на таком празднике и до сих пор его очень хорошо помню. Веселья, на мой взгляд, не получилось. Надо было видеть глаза детей, устремленные на елку! В них были и боль, и недоумение, и испуг, и еще что-то неподдающееся описанию. Не было только веселья. Как только ни пытались расшевелить детей затейники, в ответ было молчание. А некоторые откровенно нервничали, боясь, что обещанный обед не состоится.

На меня лично большое впечатление произвел спектакль «Ленинградского блокадного театра». Давали «Овода». Я уже не помню имен артистов, участников спектакля. Актерский состав был, вероятно, сборный. Играли все очень хорошо, несмотря на то, что в помещении театра стоял лютый холод и у актеров изо рта шел пар. Играть им приходилось, надев ватники под театральные костюмы. Для нас, подростков, этот патристический, романтический (так не похожий на современный, балаганный) «Овод» был откровением. Мы глядели на сцену буквально открыв рот, забыв и о холоде, и об ожидавшем нас обеде.

Обеденные столы были накрыты в фойе и в подвальных помещениях. Обед состоял из двух блюд, на сладкое дали конфетки из дуранды. Но очень многие дети есть не стали, а деловито переложили обед в свои баночки и унесли домой — делиться с близкими. Отмечу, что баночки еще очень долго лежали в наших сумках и портфелях «на всякий случай», если вдруг «возникнет» какая-нибудь еда.

Вспоминая то далекое прошлое, хочется еще сказать несколько добрых слов о радио и книгах, имевших для нас тогда особое значение. Радио являлось не только оповестителем воздушных тревог и артобстрелов. Оно доносило до нас сводки Информбюро с фронтов, которые мы с нетерпением ждали, радуясь, если они приносили хорошие известия. Радио было той, пусть тоненькой, ниточкой, связывавшей нас со всей страной и внешним миром, которые восхищались мужеством и стойкостью ленинградцев. Мы слушали наших поэтов: музу блокадного города Ольгу Берггольц, Веру Инбер, Николая Тихонова, Всеволода Рождественского, Михаила Дудина, казахского акына Джамбула Джабаева и других, и их вдохновенные слова вселяли в нас Веру и Надежду. А когда возобновились музыкальные передачи, — жизнь показалась нам легче.

То же можно сказать и о книгах. Книга помогала выжить многим ленинградцам. Она отвлекала от постоянных мыслей о еде, заставляла стряхнуть оцепенение, думать, действовать. Недаром многие библиотеки не переставали работать даже в самые тяжелые дни. Сколько книг было прочитано в ту пору! У нас, школьников, особой популярностью пользовались романы А. Дюма.

Как ни долго тянулась суровая зима, но и ей пришел конец. Весна 1942 года принесла существенные изменения. Была увеличена норма выдачи продуктов. Большое подспорье в рацион внесли разные съедобные растения — щавель, крапива, лебеда. Появилась возможность иметь личные огородики, в том числе и в черте города: в садах, парках, скверах. Там сажали кое-какие овощи и главным образом лук, который так нужен был ленинградцам не только как продукт питания, но и как лекарство от цинги, которая после голода крепко въцепилась в многострадальных ленинградцев. Пухли, синели и отказывались повиноваться ноги, вылезали волосы, расшатывались и выпадали зубы. Вся медицина была мобилизована на борьбу с цингой. Панацеей считалась хвоя. Ее обдавали кипятком, настаивали и пили. Не могу сказать, чтобы это было вкусно и приятно, но известную пользу она оказывала.

Весной 1942 года все трудоспособное население Ленинграда, во избежание эпидемий, было мобилизовано на уборку города. После зимы

на улицах остались груды снега и льда, заваленные нечистотами (канализация не работала, все выбрасывалось прямо на улицу). Часто в грудах снега и льда находили вмерзшие трупы. Картина удручающая — представьте себе едва державшихся на ногах ленинградцев, в основном женщин и детей, по двое, по трое державшихся за лом и пытающихся отколоть накрепко вмерзший лед от тротуара. Мне пришлось работать по расчистке территории и школы, и дома. Но выдюжили и это. Город был очищен. Эпидемий не возникло.

Нам не представилось возможности занять свой огородик — мама болела, а я была занята в школе. Весной возобновились школьные занятия. Неожиданно она оказалась переполненной, пришли ученики из других школ, а также те, кого родители не отпускали из дома зимой. Открылись даже младшие классы, пришли новые учителя. Наш седьмой класс, как, впрочем, и другие, оказался очень сложным по составу. В основном собрались ученики, окончившие семь классов еще до войны, пришли, так сказать, обновить знания. У нас были даже введены выпускные экзамены за семилетку. Мы, «коренные», старались изо всех сил, хотя о многих предметах знали только понаслышке, ведь настоящих занятий у нас не было. И нас пожалели. Учителя «закрыли глаза» на прорехи в наших знаниях и всех перевели в восьмой класс.

Весной ленинградцы получили еще один подарок — баню. В нашем микрорайоне баня открылась на Усачевом переулке. Первоначально был составлен график посещения, преимущество получили дети. В школе нам торжественно объявили, что можем взять с собой «одного родителя».

Первоначально график посещения бани как-то соблюдался, но вскоре все спуталось. Лишенные возможности помыться в течение столь длительного времени люди устремились в баню, плохо соблюдая очередность. Женщины запросто могли обнаружить по соседству с собой мужчину. На пол обращали мало внимания, терли друг другу спины, носили вместе тазы, наслаждаясь теплом и обилием воды. По правде говоря, и пол бывало трудно распознать у сидящего или стоящего рядом сильно исхудавшего человека. Случалось и такое: обращал на себя внимание сосед, долгое время сидевший в неподвижности. Оказывалось — он уже покойник. «Ну что же, — как говорили тогда, — дело житейское» — и продолжали мыться. Но главное, — в помощи друг другу не отказывали.

Летом 1942 года по распоряжению ленинградских властей школьников стали отправлять на огородные работы. Каждое крупное предприятие имело подсобное хозяйство за пределами города, где выращи-

вали овощи. Основные работы производились взрослыми, школьники отправлялись к ним на помощь: на прополку, окучивание, сбор урожая и т.д. Школьников начальных классов на огороды не посылали.

Часть классов нашей школы, куда попала и я, направили в подсобное хозяйство на ст.Пери. Это была последняя предфронтовая станция. Пропуск на проезд оформлялся через Главное управление милиции. Поселили нас в отдалении от поселка, в ольховых зарослях, росших на болотистой почве. Здесь стояло несколько длинных палаток, раньше в них жили солдаты. В палатках двери отсутствовали, на крышах зияли дыры, пола, естественно, не было: под ногами хлюпала вода. Мы нарвали ольховых веток и устроили себе постели. Хорошо еще, что взяли с собой подушки и одеяла. Но и они, как и ольховые ветки, спасали мало. Вот откуда у большинства ребят после цинги и зимнего обморожения прибавились еще и осложнения от ревматизма.

Как вскоре выяснилось, в ольховых зарослях была расположена замаскированная зенитная батарея. Командование батареей ругалось на чем свет стоит: «Кто разрешил поселить здесь детей? Что будет, если враг обнаружит наши батареи и начнет бомбить их?». Мы испуганно молчали. Молчали и педагоги. Чем все это кончилось — не знаю. То ли батареи перевели, то ли расчет сидел, притаившись, ничем не обнаруживая себя. Выстрелов мы ни разу не слышали.

Участок, где нам предстояло работать, находился примерно в двух километрах от ольховника. Там же, в наскоро переоборудованном под столовую сарае, нас и кормили. Наш путь пролегал по совершенно открытому полю. Представьте себе: по солнцепеку или в дождь по дороге бредет толпа голодных ребят, еле передвигая ноги. Дождей, правда, было мало. После суровой, холодной зимы наступило сухое, жаркое лето. Изнурительное солнце печет головы, то и дело кто-нибудь падает в обморок. Небольшая остановка, а затем дальше в путь. Работали до вечера, с небольшим перерывом на обед. Обратный путь казался нам короче, да и солнце уже не пекло так нещадно. Но чувство голода нас не покидало — на ужин мы получали только по куску хлеба и кружке так называемого чая.

Я кое-как справлялась с трудностями быта, но ревматические боли вывели меня из строя. Я с трудом двигалась и, конечно, пройти весь долгий путь до работы и обратно не могла. Пришлось одной оставаться в палатке, хотя было страшно. А вскоре приехала меня навестить мама. С большим трудом ей удалось получить пропуск, пришлось дойти до большого начальства. Помню, это был выходной, и все оби-

татели палатки сидели на месте. Мама привезла с собой котелок пшенной каши и сразу захотела покормить меня. Нас тут же обступили. Рты у голодных ребят открывались сами собой — судорожное жевательное движение — и опять открытый рот. Мамино сердце дрогнуло. Каша была положена в каждый рот. Мне, как и всем, досталась только пара ложек.

Принимая во внимание мое жалкое состояние, педагоги решили отправить меня домой. Была выдана справка, что я не дезертир, а возвращаюсь с трудового фронта ввиду болезни. Я уехала вместе с мамой. Дома сразу же попала в больницу, где провела остаток лета. Немного подлечилась, но ходила плохо еще долгое время.

С осени начались занятия в школе. 1942/43-й учебный год оставил у меня самые теплые воспоминания. В нашем восьмом классе сложился очень хороший коллектив, да и педагоги были замечательные. Они верили, что идеи гуманизма победят, и нам внушали эту веру, учили ценить все доброе и прекрасное. С особой благодарностью мы вспоминаем нашу преподавательницу русского языка и литературы Надежду Николаевну Брюлову (из семьи знаменитых Брюлловых). Ее уроки по литературе не укладывались в казенные рамки школьной программы. Она рассказывала нам об эпохе, в которой жил и творил тот или иной писатель или поэт, об его окружении. В это «окружение» входили и такие писатели и поэты, о которых школьная программа предпочитала умалчивать. Петр Великий и Пушкин были ее кумирами. Несмотря на тихий голос, ее слушали затаив дыхание. Получить на ее уроках оценку ниже «4» считалось неприличным. Да и она сама никогда бы не поставила ученику неудовлетворительную отметку, считая, что если у ученика знания слабые — в этом только ее вина. Ученик приглашался к ней домой, и она дополнительно с ним занималась. Жила она недалеко от школы, с двумя дочками — студентками Академии художеств. Дома она всегда угощала нас чаем и тем, «что Бог послал». Помню, как-то раз Надежда Николаевна заболела, и к нам прислали учительницу литературы из других классов. Она добросовестно прочитала главу из учебника, а потом стала требовать такого же досконального изложения учебника от нас. Что тут поднялось! Нам всем поставили двойки за поведение. Но мы не сдались, дружно всем классом в следующий раз «промотали» урок литературы, а затем отправились к Надежде Николаевне умолять ее поскорее поправиться.

Учиться нам, конечно, было нелегко. Сказывались большие прорехи в знаниях, но мы старались наверстать упущенное. Сказывались и трудности быта. Помню, как-то раз мы, насквозь продрогшие, сожгли

в печке кабинета химии какие-то лежавшие в углу рейки. Какой нагоняй мы получили от нашего преподавателя химии! Еще долгое время он продолжал называть нас «варварами» и «вандалами» за то, что мы «уничтожили труд других людей». После этого происшествия мы уже безропотно отправлялись пилить и колоть дрова, не трогая школьного имущества.

Вспоминаю Мирру Давыдовну Паллей — завуча нашей школы. Молодая, энергичная женщина обладала большим чувством ответственности и любила детей. Ей было поручено организовать питание для школьников. В то время, по распоряжению ленинградских властей, стали открываться специальные столовые с усиленным питанием. К столовым прикреплялись наиболее ослабленные школьники, сроком на один месяц. Для нашей школы такая столовая действовала при Доме культуры имени Первой пятилетки. Не знаю, как это Мирре Давыдовне удавалось, но благодаря ее стараниям весь наш восьмой класс пользовался этим усиленным питанием до конца учебного года.

Вспоминаю добрым словом и других наших учителей: Ирину Александровну Жукову — преподавателя физики, Басю Павловну Иоффе — преподавателя алгебры и геометрии. Можно еще многое рассказать о нашем школьном житье-бытье, в том числе и курьезное. Как, например, один наш одноклассник почему-то панически боялся Басю Павловну и каждый раз, когда она его вызывала к доске, с ним случался какой-либо конфуз. Или о том, что в школе тогда действовал только один туалет. Перед ним выставлялись дежурные, следившие за порядком посещения.

Но было и страшное. В 1942—1943 годах артобстрелы особенно участились. Мы должны были спускаться в бомбоубежища и там продолжать, по возможности, урок. Как-то раз сидели мы на уроке, в химическом кабинете, расположенном на последнем этаже. Вдруг здание школы несколько раз сильно трянуло, с треском посыпались оставшиеся стекла, осыпая мелкими осколками парты. Все бросились вниз. А у меня вдруг опять отказали ноги. Едва сползла с лестницы, видно страх помог мне.

Сильное чувство страха при артобстреле мне пришлось пережить еще дважды. Один раз артобстрел загнал меня во двор дома на канале Грибоедова. Только я успела миновать подворотню, как туда попал снаряд. Я буквально вдавилась в стену дома. Сколько так простояла — трудно сказать. Обстрел кончился, а я все еще «подпирала стену». Когда наконец отлепилась от стены и вышла на набережную, первое, что увидела, — лужу крови и оторванную голову. Другой раз артобстрел

загнал меня в парадную полуразвалившегося дома по Малой Подъяческой. Наступили уже сумерки, а обстрел все не кончался. Кругом никого, ни в доме, ни на улице. Это мне показалось самым страшным.

Январь 1943 года принес нам радость. 18 января наконец-то была прорвана блокада. Это событие одушевило всех. Я и две мои подружки побежали в райком комсомола, чтобы тут же вступить в ряды ВЛКСМ. По мере приближения к райкому наш пыл начал понемногу остывать — ведь никаких рекомендаций у нас не было. Робко войдя в кабинет секретаря райкома комсомола, мы в нерешительности остановились у его стола. «В чем дело, девочки?» — строго спросил он. «У нас нет письменных рекомендаций», — тихо в один голос ответили мы. Секретарь понял все. «Какие, к черту, письменные рекомендации! — закричал он. — Вот тут рядом снаряд попал в дом, обвалилась стена, засыпало людей! Помогите спасти их, это и будет вашей рекомендацией!». Мы тотчас же побежали туда. Людей, правда, спасать нам не довелось, но кирпичи и мусор выносили исправно. Работники райкома отметили наш труд, мы получили комсомольские билеты. Я до сих пор жалею, что по истечении комсомольского возраста пришлось сдавать билет с такой памятной для нас, ленинградцев, датой выдачи.

Однако было бы несправедливо вспоминать только одно тяжелое. Мы умели видеть и ценить те немногие радости, которые нам доставались. Юность брала свое, и ничто не было нам чуждо. Какую радость, например, получали мы от посещения театров и концертов! В Ленинграде тогда работали два театра — драмы и музкомедии. Театр музкомедии давал свои спектакли в помещении Театра им. Пушкина (Александринского). Бывало, придешь в театр, только начнется спектакль, — объявляется воздушная тревога. Приходилось выходить из зрительного зала в коридоры или вестибюль и ждать ее отбоя. Случалось, что спектакль так и не мог продолжаться. Зато как было здорово, когда удавалось посмотреть весь спектакль! Да простят артистам Штраус, Легар, Оффенбах и другие композиторы, если герои их оперетт отпускали не по тексту меткие реплики или острые шутки в адрес незадачливого фюрера, его приспешников и всех фашистов. Зрителям нравились эти репризы. Зрители шли в театр несмотря на то, что добираться из театра домой приходилось по темным улицам, рискуя попасть под обстрел или бомбежку. Вспоминается смешной случай, когда однажды, возвращаясь из театра в крошечной темноте (окна из-за маскировки света не пропускали), наощупь искала свой дом и дверь парадной.

А концерты в Филармонии, где прозвучала знаменитая Седьмая сим-

фония Д. Шостаковича! Такое же неизгладимое впечатление оставили концерты наших прославленных мастеров балета: Н. Дудинской, Ф. Бабахиной, К. Сергеева. Три концерта в Филармонии дали летом 1943 года наши кумиры. За билетами мы стояли всю ночь, прячась в подворотнях, боясь, что нам их не хватит. Как мне недавно рассказывала Н.М. Дудинская, летели артисты из Перми, куда было эвакуировано Хореографическое училище, в сопровождении наших истребителей, обеспечивавших безопасность полета. Артисты в осажденном городе! Они самоотверженно сражались с врагом силой своего оружия — искусства, и воздействие этого оружия было неоценимо.

В начале лета 1943 года нас, троих комсомолок, вызвали в райком, где вручили направления на работу в школьные отряды, уезжавшие на огородные работы. Мы прикреплялись к этим отрядам как пионервожатые. Моему отряду из 232-й школы Октябрьского района предстояло работать в подсобном хозяйстве завода имени Марти, расположенном на станции Лисий Нос. Отряд был сборный, всего около 30 мальчишек и девчонок.

В Лисьем Носу мы прожили почти до конца сентября, пока весь урожай не был собран. Сентябрь выдался особенно трудным. Начались дожди и работать приходилось буквально по колено в воде. Но главное — ребят я привезла в Ленинград в целости и сохранности.

А дома — неожиданность: в школах ввели раздельное обучение. Чем это было вызвано, нам не объяснили, да и, наверное, сами педагоги не знали. Мою 252-ю школу сделали мужской, а нас, девочек, перевели в 239-ю школу на Адмиралтейском проспекте. Школа располагалась в историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Монферрана. Перед входом в здание стояли «два льва сторожевые», воспетые А.С. Пушкиным. 239-я школа тоже была блокадной. О жизни этой школы повествует книга ее завуча К.В. Ползиковой-Рубец «Они учились в Ленинграде. Дневник учащихся» [М.; Л., 1948]. Ксения Владимировна перешла после войны на работу в Эрмитаж.

Моих одноклассников переход в другую школу сильно огорчил. Как я уже говорила, в нашем восьмом классе сложился дружный коллектив, а расставаться с друзьями всегда нелегко. Тем более, что для мальчиков в Октябрьском районе мужской школы-десятилетки не было. Их перевели в 206-ю школу Куйбышевского района. Забегая вперед, скажу, что сперва мы поддерживали связь друг с другом, но постепенно наши пути разошлись. Особенно переживали переход в другую школу те из нас, кто учился в 252-й школе с первого класса и пережил там самый тяжелый период блокады.

В 239-ю школу перешли и некоторые наши учителя, в том числе и любимая наша преподавательница литературы Н.Н. Брюллова. Постепенно мы адаптировались в новой школе, водоворот школьной жизни увлек нас, но все равно с грустью вспоминали родную старую школу. У некоторых учеников не сложились доверительные отношения с новыми учителями. Справедливости ради должна сказать — в обеих школах мы учились у хороших учителей, любящих свою профессию и нас, своих учеников. Чтобы поставить последнюю точку в рассказе о 252-й школе, добавлю: годом позже ее окончили А.Д. Грач, В.В. Матвеев и В.П. Курылев — в будущем сотрудники нашего Музея.

Неожиданно мы все увлеклись художественной самодеятельностью. Из Дома народного творчества в школу пришла Надежда Валериановна Красовская. Своим артистическим и педагогическим мастерством она сумела расшевелить даже самых неспособных к драматическому искусству учениц, к коим относилась и я. Какой обширный репертуар у нас был! Какие таланты обнаружились! Звездой первой величины стала Галя Тимофеева — в будущем наша сотрудница Галина Николаевна Гоцко. Худенькая, застенчивая девушка с нервно трясущейся головой преображалась на сцене. Коронным номером Гали был монолог Липочки из пьесы Островского «Свои люди — сочтемся». Лучшего исполнения роли Липочки я никогда не слышала даже у настоящих артистов. Природная застенчивость помешала Гале поступить в Театральный институт. Но другие «звезды» художественной самодеятельности закончили его и разбрелись по разным театрам и концертным объединениям. После разделения школ несколько мальчиков, в том числе и Саша Куницын, с которым я училась в восьмом классе, пробовали включиться в нашу самодеятельность, но это не всегда получалось. Мы вышли из положения. Мужские роли стали играть сами. А Саша стал Александром Николаевичем Куницыным — заслуженным деятелем искусств России, профессором, заведующим кафедрой сценической речи Института театра, музыки и кинематографии, художественным руководителем театра «Время».

Мы много выступали со своими спектаклями. Ставили, помимо уже названных, «Урок дочкам» Крылова, отрывки из «Доходного места» Островского (я играла Юленьку). В оформлении спектаклей принимал участие не только весь класс, но и учителя. Так, для оформления спектакля «Урок дочкам» мы перетаскивали кресло и ковер из комнаты нашего директора В.В. Бабенко. Она жила при школе, так как ее квартира пострадала при бомбежке. Кто-то принес из дома старинную настольную лампу, приносили и другие необходимые для спектакля

вещи, в том числе и детали гардероба. Все это пригодилось нам и для «Доходного места». Костюмы заказывали в городской костюмерной.

Нас приглашали выступать в госпиталях. Чаще всего мы выступали в госпитале, находившемся в здании Географического общества. Раненые были самыми благодарными слушателями. Зато как мы волновались, когда приходилось выступать на школьных вечерах перед школьными шефами — военной бригадой артистов. В эту бригаду входил и В.И. Стржельчик — в будущем артист БДТ. Стройный, с белокурыми волнистыми волосами, голубоглазый красавец, он покорял наши девичьи сердца. В его репертуаре были отрывки из оперетт с пением и танцами, шуточные куплеты, довольно острые и пикантные, если они касались наших врагов (у учителей каменели лица). Выступления шефов сменялись нашими выступлениями, затем шли игры и танцы под «настоящую» музыку, исполняемую военными музыкантами.

С 1943 года возобновил работу наш районный Дом пионеров и школьников на Гражданской улице. Много интересных мероприятий провел он. Вспоминается встреча с английским писателем, его рассказы о странах, где ему удалось побывать. Заработали кружки. Мы с Галей Тимофеевой (Гоцко) стали посещать кружок балльных танцев. Вела кружок балерина Театра музкомедии М.В. Снежина. Ей помогала Нонна — наша сверстница. После окончания занятий Нонну встречал ее верный рыцарь Саша — впоследствии наш научный сотрудник А.Д. Грач. К сожалению, он и его жена Нонна Грач — сотрудница Эрмитажа — безвременно ушли из жизни.

А в ноябре 1943 года большую группу учащихся 239-й школы пригласили в Дом пионеров и школьников и торжественно вручили медаль «За оборону Ленинграда». Примерно двумя месяцами ранее в Исполкоме медалью «За оборону Ленинграда» награждали медработников. Маме был вручен орден Ленина.

Новый 1944-й год начался с радостного и долгожданного события. 27 января была снята блокада города. Нет необходимости комментировать, что это значило для всех нас, ленинградцев. Люди вздохнули с облегчением, предвидя конец войны, ну а мы, школьники, после празднования этого события продолжили свои обычные дела.

Начиная с весны в Ленинград стали возвращаться эвакуированные. Город заметно оживился, улицы перестали быть пустынными, трамваи ходили переполненными. С окон наконец-то сняли затемнение. На что были похожи наши квартиры при ярком свете! «Буржуйки», «коптилки», так выручавшие нас в тяжелые времена, основательно прокоптили все вещи.

В школе произошли большие перемены: она пополнилась за счет детей, вернувшихся из эвакуации, у нас образовалось пять десятых классов. При такой ситуации их можно было разделить по «языковому» принципу. Но все же в моем 10-м классе с английским языком учились две «французенки». Они со своей преподавательницей забирались в уголок классной комнаты и переговаривались шепотом. Для меня начало учебного года ознаменовалось большой неожиданностью — вызовом в Обком комсомола, где мне в торжественной обстановке вручили грамоту Ленгорисполкома за хорошую воспитательную работу в оздоровительном лагере летом 1944 года.



*Вера Володина — студентка
первого курса Ленинградского
государственного университета.*

Появились в городе и иностранные гости. Своим присутствием нас почтила и госпожа Клементина Черчилль. Тогда она казалась нам старой. Но вот недавно по телевидению показали кадр хроники того периода... Вот что значит молодость!

Пребывая в Ленинграде, госпожа Черчилль пожелала встретиться со школьниками, учившимися в осажденном городе. Встреча состоялась во Дворце пионеров. Собрались представители многих школ. От нашей 239-й школы во встрече участвовала и я. Мы пришли во Дворец задолго до ее прибытия. У многих на груди — медаль «За оборону Ленинграда». Конечно, немного волновались, да и стоять устали. Но вот в зал в сопровождении свиты вошла гостья в военной форме. Общие приветствия, какие-то речи. Вдруг ее взгляд остановился на мальчишке маленького роста, щупленьком, на вид лет 12, но с медалью на груди. «За что у тебя медаль?» — спросила, подходя к нему, гостья. «Как за что? — удивился мальчик и повел рукой в нашу сторону. — Как и у всех, за оборону Ленинграда».

Как-то мы разговорились с доктором философских наук Б.М. Фирсовым, работавшим в нашем Институте. Вспоминали блокадную юность, и оказалось, что он тоже присутствовал на этой встрече.

К восстановлению разрушенных зданий стали привлекать военнопленных немцев. Их уже никто не боялся: воинственный вид у них

пропал, многие выглядели сконфуженными и даже жалкими. Ходили они на работу группами, в сопровождении конвоира, но нередко ходили и поодиночке, очевидно в пределах того места, где работали. И — о, русские женщины, с их широкой душой и щедрым сердцем! Еще совсем недавно от них можно было услышать: «Встретись мне фашист — своими руками бы удавила!». Но вот немец уже вроде и не враг, а поверженный, и ненависть стала уступать место жалости (хотя не берусь утверждать, что у всех). Женщины иногда и подкармливали пленных, давая им хлеб или еще что-нибудь, хотя норма выдачи продуктов по карточкам была не так уж велика. Одни делали это скрытно, другие бросали еду из окон. Мама тоже бросала из окна завернутый в бумагу хлеб. Немцы быстро усвоили этот прием и, когда ходили без конвоя, всегда поглядывали на окна. Говорили, что немцы заходят даже во дворы, где чинят женщинам разную домашнюю утварь: их руки тоже истосковались по мирной мужской работе.

Восстанавливать разрушенный город помогали почти все работоспособные ленинградцы. Нас, десятиклассников, старались особо не привлекать к каким-либо работам — из-за большой загруженности учебой. Не скажу, что мы превратились в усердных зубрил, но времени на что-либо другое действительно не хватало.

Учебный год пролетел незаметно. Приближалась пора экзаменов. За подготовкой к ним нас и застал Великий Праздник Победы. Мы считали своим долгом отметить его успешной сдачей экзаменов. Мы были первыми, кто получал аттестат зрелости. Мы были первым послевоенным выпуском. И мы осознавали такую ответственность.

Окончание школы отметили широко. Помимо торжественного акта в школе, отдел народного образования Октябрьского района устроил вечер в Доме учителя. На этот вечер нам разрешили пригласить почетных гостей. Мы, несколько человек балетоманов, бросились приглашать Н.М. Дудинскую. К сожалению, она не смогла присутствовать на нашем вечере из-за спектакля, но, чтобы не огорчать нас, пригласила на следующий день на генеральную репетицию балета «Золушка», который ставил специально для нее К.М. Сергеев. Известие о приглашении распространилось с невиданной быстротой. На спектакль пришли все пять десятых классов почти в полном составе. Наталия Михайловна растерялась. Но администратор не захотел портить нам наш праздник и каким-то образом устроил нас всех в переполненном зрительном зале.

Вот вкратце и все мои воспоминания о тех далеких временах. Хотя что-то за давностью лет стерлось из памяти, надеюсь, что это повествование поможет больше узнать о жизни школьников и тех, кто их окружал.

ХРОНИКА БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

Проходят годы, не годы — десятилетия. А память возвращает нас к событиям нелегкой военной поры. Память... Она и сегодня, и завтра и потом будет напоминать нам о войне. Я пережила с мамой более 300 голодных и холодных дней и ночей в самое тяжелое время ленинградской блокады: зимы 1941 года — весны 1942 года.

...Как и многих ленинградских детей, война застала меня на даче. После окончания второго класса 297-й школы Фрунзенского района с двоюродной сестренкой мы отдыхали в Вырице. Хозяева, уже пожилые люди, сокрушаясь, не переставали уговаривать родителей не увозить нас в Ленинград, а оставить у них. На одном из последних, редких уже поездов нас, конечно, привезли домой.

Однако к началу июля мы были готовы к новому путешествию. В городе началась эвакуация детей. Я в числе ребят разного возраста (от первого до десятого классов) также была эвакуирована на станцию Пестово, в Новгородскую область, от прядильно-ткацкого комбината имени П. Анисимова, где работала бухгалтером мама. В Пестово мы жили по типу пионерского лагеря, но работали. Для жилья нам были отведены деревянные дома — добротные деревенские избы. Лето было жаркое. Весь июль мы помогали колхозникам на полях и раньше срока убирали лен. Но в августе оставаться там уже было опасно. Немецкие самолеты бомбили эти места, а вскоре около близлежащих озер высадился парашютный десант. Незамедлительно весь лагерь был отвезен на подводах на железнодорожную станцию. Единственно, что нас тогда беспокоило, это — куда мы поедem? Только бы в Ленинград! Возвращались домой в переполненных вагонах, сидя. Все зимние вещи, взятые с собой, были одеты на



Таня — школьница.

случай бомбежки. Действительно, один раз наш состав бомбили, все были высажены, и мы довольно долго сидели в лесу, в канавах. Но дети есть дети. Лес был полон ягод, особенно много было морошки, и мы ее собирали, еще не совсем дозревшую, чтобы привезти домой, мамам.

Наконец наш город! Неважно, что мы шли по перрону Московского вокзала наголо остриженные, в зимних пальто и валенках. В городе уже с 17 июля были введены карточки на основные продукты, но, как помнится, на вокзале, в ларьках и буфете в свободной продаже было еще много печенья, булочек, шоколада.

Дальше начались, казалось, бесконечные налеты, артобстрелы и... голод. Первый массированный налет на Ленинград был, как известно, 8 сентября. Стоял теплый солнечный вечер, и мы с любопытством, которое могло обернуться бедой, наблюдали за огромным количеством летящих в высоком голубом небе самолетов и еще большим числом падающих зажигательных бомб. А вскоре после 8 сентября, когда замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда, был один из самых страшных дней, когда наш дом был разбит. Это произошло 19 сентября 1941 года около четырех часов дня. Мы с сестренкой сидели на широких подоконниках (вторые рамы были сняты) и занимались рукоделием. Когда объявили тревогу, мы еще раздумывали, идти ли в бомбоубежище. Но мамы, уходя на работу, каждый раз повторяли одно и то же: «Как объявят тревогу, сразу в бомбоубежище!». Только мы успели спуститься, как раздался грохот разорвавшейся бомбы, зазвенело в ушах. Рассыпались мешки с песком, которыми были заделаны окна бомбоубежища, оказался засыпанным и вход в него. По счастливой случайности, если уместно здесь так сказать, бомба попала не в квартиры, а в лестничную клетку. Долго нам пришлось ждать, пока нас откопали и перевели в сохранившееся газоубежище. Прошло несколько дней, и мы узнали, что в тот день был интенсивный налет и пострадали многие дома нашего микрорайона. Говорили, что по этому маршруту летел самолет, пилотируемый молодой летчицей. Когда ее принудили приземлиться, у нее был обнаружен план района с Московским вокзалом и Знаменской церковью. Но церкви уже не было, она существовала до 1934 г., но на плане значилась (теперь здесь метро «Площадь Восстания»). В радиус бомбежки входили еще Владимирская церковь и Дом культуры пищевиков, где размещался госпиталь, рядом с которым находился наш дом.

Хотя квартира осталась невредимой, мы с мамой переехали жить к родственникам на Малодетское сельский проспект. И здесь вместе — две

мамы, которым тогда было меньше лет, чем нам сейчас, и две их дочки — пережили самое тяжелое время.

Все труднее становилось с продуктами. Буквально все, что было еще в продаже, старались купить. Долго, до поздней осени, в ларьках торговали квасом, из которого получался вкусный кисель. В один из сентябрьских дней мы с сестренкой отправились за ним. Очередь стояла большая, у ларька была давка, многие прорывались без очереди. Надежды не было. Тогда мы возвратились домой, написали много номерков, а вернувшись, раздали каждому его очередной номер. Только, как говорится, все наладилось, начался артобстрел. Несмотря на это, очередь не шевельнулась, все остались на своих местах. В это время подошел милиционер и сказал, что эта сторона обстреливается, — она более опасна. Несколько человек ушли, домой ушли. Побежали домой и мы. Когда кончился артобстрел, мы, естественно, снова помчались за квасом, но... ларька на Угловом переулке (напротив Фрунзенского университета) уже не было. В него попал снаряд, и вместо очереди, которая шумела еще полчаса-час назад, лежали изуродованные человеческие тела.

С каждым днем, все больше и больше, наши мысли сосредоточивались на еде. Всем ленинградцам-блокадникам хорошо знакомо это навязчивое, сосущее чувство голода. Но мы твердо придерживались главного правила — все делить поровну между собою и все делить по дням. Никогда не забуду, как осталась «лишняя» порция риса (20 граммов!), которую можно было сварить не один раз в день, как обычно, а два. В ожидании следующего дня мы не спали всю ночь. Некоторое время выручала льгота за папу — как ребенок, я имела пропуск в столовую, где дополнительно к пайку получала кусок картофельной запеканки, которую приносила домой, и мы ее делили на четверых.

Все вместе мы ходили и за водой. Воду брали в саду «Олимпия», где стояли зенитные батареи. Здесь красноармейцы сделали большой деревянный колодец, который периодически освещался электрической лампочкой. Если шли вечером, то обязательно надевали «бессменных часовых» — «светлячков».

Все знают, что с декабря месяца в Ленинграде стало особенно тяжело. Как почти каждая ленинградская семья, мы также потеряли близких людей. В декабре 1941 года от голода умер дядя, а в январе — бабушка. На моих детских санках отвезли их на Волковское и Охтинское кладбища.

Очень долго и томительно ждали вестей с фронта от папы. Шел месяц за месяцем, и только регулярно поступающий его аттестат давал нам надежду на то, что он жив. Он служил сначала на Балтийском



Татьяна Александровна Попова, заведующая Отделом археологии, кандидат исторических наук, специалист по трипольской культуре эпохи неолита (IV—III вв. до н.э.). Автор многих работ по материальной и духовной культуре древних земледельцев-скотоводов Юго-Запада Восточной Европы. В годы войны, как все школьники, помогала взрослым преодолевать тяготы блокадной жизни.

флоте, а затем, большую часть войны, — на Северном, в Заполярье (полуостров Рыбачий). Сколько было радости, когда перед самым Новым годом от него наконец пришло первое письмо. При керосиновой лампе, с зеленой нарядной елкой, украшенной игрушками, которые мы сами смастерили, со студнем из клея и конфетами из дуранды, мы встречали Новый, 1942-й год.

Несмотря на трудности, мы, как могли, подбадривали друг друга, заботились и были внимательны. Не один раз бывали в кинотеатре «Олимпия». В холодном зале, но с удовольствием смотрели «Музыкальную историю» и другие фильмы. Позже это здание было разбито.

И, конечно, самым важным источником стойкости и веры было радио, которое не отключалось никогда.

Хочется сказать и о своеобразном восприятии опасности. Чувства страха, боязни не было, они как-то притупились, ушли на второй

план. Иногда во время налета мы не ходили в бомбоубежище, и если это было ночью, то просто спали. А когда шли туда, всегда брали с собой небольшой чемоданчик, где лежали свечка со спичками, полотенце и мыло, молоток (чтобы стучать, если засыплет) и... довоенная пачка печенья — неприкосновенный запас. Так поступали многие ленинградцы. Были и специальные рекомендации на этот счет.

Говоря о блокаде, о ее тяготах и лишениях, с горечью вспоминаются некоторые неприятные моменты. Через несколько месяцев после того, как дом был разбит, он еще и горел. Поджег его лазутчик. В одну из квартир флигеля, соседнего с нашим, приехал человек, который отрекомендовался жившей там женщине, что он прибыл из части, в которой служит ее муж, попросил переодеться в штатское, принес ей две буханки хлеба. Не успела женщина куда-то отлучиться, как незнакомец облил лестницу начиная с четвертого этажа соляром и поджег. Возник пожар. Тушить его было трудно, так как стояли студеные январские дни. Потом мы все, кто как мог, помогали погорельцам.

Не падая духом, облегченно встретили весну 1942 года. В перерывах между тревогами и артобстрелами ходили греться на солнышко на Невский проспект. Было в этом что-то отрадное и символичное. Мы — живы, мы — на своем Невском, наперекор всему. Весной работал Дом книги, и мы купили там «Избранные произведения М.Ю. Лермонтова», выпущенные к столетию со дня гибели поэта, перед самой войной. Этот том и сейчас хранится в доме, как память о блокадных днях.

В апреле началось оживление и в школах. Все оставшиеся дети из многих школ района были собраны в 321-ю школу на Социалистической улице. Наши детские карточки мы сдавали в школу полностью и три раза в день питались там. Но в дни блокады детства не было. Мы как-то не по годам повзрослели и возмужали. Ребята мыслили категориями взрослых людей.

На этом можно было бы и закончить, но с блокадой связан и другой период — эвакуация на Большую землю, во время которой было также немало пережито. Как известно, Военно-Морской Флот был в те годы самостоятелен, отделен от Красной Армии. В начале лета 1942 года, как семья комсостава, по распоряжению военкомата, в обязательном порядке, мы были эвакуированы, и никакие отказы не помогли. После сдачи карточек в райсовет, с удостоверением (форма № 7) мы перебрались через Ладогу на ее восточный берег, откуда эшелон шел до Ярославля. Эвакопункт в Ярославле определил нас на теплоход до г. Астрахани. Однако развернувшиеся военные действия вблизи Вол-

ги не позволили нам туда доехать. Нас высадили в станице Николаевке, но через месяц здесь стало еще беспокойнее — фашисты рвались к Сталинграду. Тогда нас срочно отправили в г. Энгельс, где нас должны были присоединить к морскому училищу. До Энгельса мы и еще несколько семей добирались на небольшом военном разъездном катере три дня. Эти три дня тянулись как вечность. Продуктов почти не было. Главное — бомбили Волгу, бомбили нещадно, как Ленинград. Отвлекали лишь остановки около красивейших, но уже покинутых садов, где мы набирали яблоки, и живописных берегов великой реки России. То тут, то там стояли прижатые к берегам разбитые суда и танкеры. Несколько раз мы причаливали к ним и запасались бензином.

Затем было Иваново, затем — Свердловск, и только в августе 1944 года, проехав в товарном вагоне около недели от Урала, мы вернулись домой, в Ленинград.

Блокада, эвакуация, где ходили в госпитали, ухаживали за ранеными, показывая им бесхитростные концерты, встречи с отзывчивыми людьми тыла, которые тоже много делали для Победы, все это, безусловно, подготовило нас к жизни, помогло в дальнейшем любить прекрасное и ненавидеть отвратительное, воспитало чувство взаимоподдержки, доброжелательности, научило оптимизму даже в сложных условиях.

А совсем недавно, разбирая семейный архив, я обнаружила удостоверение, датированное июлем 1941 года. В нем говорится, что мама командирована в Пестово, но поездка не состоялась, ибо ее опередили события, о которых я писала выше. Самое любопытное состоит в другом — оно было напечатано на довоенной театральной афише (с бумагой уже было плохо, ее берегли!). На ней со щемящим сердце чувством читаем о репертуаре в мирные дни: «“Мария Стюарт”. Постановка засл. арт. Респ. Н.Н. Бромлей...».

Эта ценная находка и послужила основанием для рассказа о том, как память десятилетней девочки зафиксировала многие моменты жизни во время блокады, во время войны. И хотя с каждым годом все больший срок отделяет нас от событий войны, воспоминания не становятся расплывчатыми или аморфными, наоборот — они четкие и приобретают новый, особый смысл.

Сейчас это особенно важно, когда все честные люди прилагают общие усилия для сохранения мира на планете Земля. И я благодарна судьбе и организаторам издания, что мне предоставилась возможность поделиться своими воспоминаниями в настоящем сборнике.

Г.Н. Грачева

ДЕТИ БЛОКАДЫ

Какой великий подвиг совершили ленинградские матери, спасая своих детей от смерти, сокращая свой и без того голодный паек, стараясь побольше дать детям, защищая их своим телом и всей своей жизнью от смертельной опасности! Глубокий поклон и светлая память всем блокадным ленинградским матерям!

Ко времени блокады моей маме было сорок шесть лет. Она — член КПСС с марта 1917 года. Участие в революционной демонстрации в Петрограде в феврале 1917 года, работа в подполье, руководство госпиталями прифронтовой полосы Южного фронта во время гражданской войны, бои на Северном Кавказе не прошли даром. Зарубцевавшееся костное ранение одной ноги и перелом другой все время давали о себе знать. Какие физические силы и какую силу духа надо было иметь, чтобы вынести еще и блокаду?!

Когда память уносит меня назад в то, теперь уже далекое блокадное время, она выхватывает очень ясно отдельные картины и заставляет снова и снова впадать в отчаяние, радоваться, замирать от ужаса, холода и боли, смеяться. Кажется, что все это было только вчера.

Июнь 1941 года. Мне шесть лет. Мы на даче под Ленинградом. Теплое ясное летнее утро. Солнечные лучи пронизывают нитями густую сочную зелень листвы. Сквозь березовые ветви высоко и ярко



Галина Николаевна Грачева, старший научный сотрудник Отдела Сибири, кандидат исторических наук, специалист по этнографии самодейских народов Таймыра. В годы блокады вместе со своими одноклассниками помогала расчищать город, таскать на громадных носилках тяжелый мусор, маленькими ведерками черпать воду, проявляя, по словам их учительницы, «гражданское мужество». Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Трагически погибла во время экспедиции 1993 года.

синее удивительно чистое небо. Чувство бесконечной радости. Хочется бегать, прыгать, брызгаться в золотой от солнца теплой воде. Война. Еще невозможно осмыслить, что это такое? Почему взрослые так тревожны? Почему прерывистые гудки станционных паровозов звучат так долго и так настойчиво строго? Почему гости, которые приехали, чтобы провести вместе с нами лето, так быстро собираются снова домой? «Конечно, война не продлится долго. Месяц, два. Но лучше быть дома».

Невдалеке от нашей деревенской улицы в поле приземляется фашистский самолет со свастикой на крыльях. Интересно. Все ходят на него смотреть. Летчик, видимо, арестован. Это случайность. Дачники спешат вернуться в Ленинград. В переполненном поезде мы с мамой тоже возвращаемся.

Московский вокзал. Он весь забит людьми. Но не слышно обычного вокзального гомона. Говорят тихо. Привычные выходы в город закрыты. Милиционеры направляют приехавших в другие проходы. Попадаем в один из вокзальных залов. На полу на матрасиках лежат забинтованные дети. Их очень много, они неподвижны. Матрасики почти прижаты один к другому. В середине лишь узенькая дорожка, по которой быстро идут люди. Мама крепко прижимает меня к себе, старается побыстрее пройти эту узенькую дорожку. А со всех сторон на нас смотрят молчаливые широко раскрытые глаза из невыносимо белых бинтов. В них застыло удивление и страдание. Как страшно и как больно! Война...

Наша большая коммунальная квартира постепенно пустеет. Нет соседей справа. Их семья с тремя детьми еще в мае уехала на лето на юг. Там их застала война. Соседи справа эвакуируются. Уезжают на легке, рассчитывая вскоре вернуться. Семья агронома перебирается в колхоз на северной окраине Ленинграда. Из шести семей остаются только две: Спесивцевы и Никифоровы (это мы). Семья известных балетных танцовщиков Спесивцевых, живущая в нашей квартире, состоит из пяти человек: бабушка — мать знаменитой Ольги Спесивцевой, ее сын Анатолий Александрович — танцовщик Малого оперного театра, с женой Софьей Николаевной (врач-педиатр) и двумя детьми, Витей, который младше меня на три года, и маленьким Максимкой, родившимся после начала войны. Идут разговоры о возможном голоде. Мама покупает большую круглую булку про запас. Но булка черствеет, и мы ее постепенно съедаем. Уезжает на три дня домой в Эстонию Эля Эртис, студентка фармацевтического техникума, с которой мы жили вместе последние годы. Она уже не возвращается.

Мама вывешивает на стену карту Советского Союза. Красные була-

вочки все ближе отодвигаются к Ленинграду. Теперь на работу почти каждый раз мы ездим вместе. Мама ведет прием больных, я сижу в углу кабинета, читаю или хожу «в гости» к другим врачам, в лабораторию, в зубопротезную мастерскую, где так приятно пахнет розовый воск, перетаскивая за собой скамеечку, чтобы достать до полок, помогаю в регистратуре.

Еще есть возможность эвакуировать детей. Этот разговор потихоньку от меня происходит в мамином кабинете. «Вы врач. Ваша помощь может понадобиться в Ленинграде. Ребенок требует постоянных забот. Детские сады эвакуируются. Там за детьми будет хороший присмотр. Вам не надо будет каждую минуту думать о ней. Вас ведь только двое. Ее не с кем оставить». Женщина слишком настойчива. Я должна стоять у окна и ничего не слышать. Поднимаясь на цыпочки, вижу Московский вокзал, возле которого парами друг за другом стоят дети в белых панамках с узелками. Они подходят к вокзалу по Невскому мимо развалин Знаменской церкви, с Лиговки. Нарастает ужас предстоящего расставания. «Мама! Не отправляй меня!». Слышу громкий мамин шепот: «Нас только двое. Мы должны быть вместе. Поодиночке мы умрем. Умирать — так вместе». Я оборачиваюсь. Она смотрит на меня и улыбается. Мы, конечно же, вместе не можем умирать! О какой смерти вообще может идти речь, когда мы вместе?

Заклеиваем полосками бумаги стекла в окнах. Солнечная комната становится похожей на золотую клетку. В амбулатории на подоконнике лестничной площадки появляется ручная сирена-вертушка. Ее пронзительный вой достигает самых отдаленных уголков здания.

Фашисты обстреливают и бомбят город. Фугасные бомбы, попадая в дома, разрушают этажные перекрытия. На улицах появляются пустые коробки домов с зияющими насквозь оконными проемами. Если мы дома, во время сильных налетов устраиваемся в коридоре квартиры, прижимаясь к толстой капитальной стене. Говорят, что так можно спастись, если бомба попадет в дом. В подвале есть и бомбоубежище. Однажды мы пережидали там воздушную тревогу. Но больше не помню, чтобы кто-нибудь из нас туда спускался. Трамваи уже не ходят, зато мы ходим на работу пешком с Петроградской стороны от площади Льва Толстого к Московскому вокзалу. Иногда я остаюсь дома одна.

Осенью пустующие комнаты нашей большой квартиры заполняют семьи, переселенные с переднего края обороны Ленинграда, из ленинградских пригородов. В одной из них поселяется семья Петровых — рабочих Кировского завода. Их пять человек: муж, жена, старший сын Володя, две девочки — Нина двенадцати лет и Настя, моя ровесница.

В другой — семья колхозников Куровых. В маленькую шестиметровую комнату, некогда предназначавшуюся для прислуги, въезжает семья Трусовых из четырех человек.

Наступают холода. У нас появляется маленькая печка, сделанная из обычного дачного ведра, труба ее выходит в камин. Вместе с мамой пилим и рубим для нее дрова — маленькие поленья по 20 см из нашей мебели. Эта работа оказывается невероятно трудной. Мебель старая, сработана из добротной крепчайшей древесины. Мамины силы убывают — голод дает себя знать. Я рублю топором дрова прямо в комнате на прекрасном дубовом паркете. За дверью в коридоре около двадцати мороза. У нас в комнате тоже мороз, но меньше: всего около двенадцати. Даже днем темновато. В одну из бомбежек оконные стекла взрывной волной высосало наружу. С большим трудом удалось достать куски фанеры, чтобы заделать проемы.

Мы идем за водой. В руках у мамы ведро, у меня — небольшой бидончик. Больше нам не донести. Идти не далеко. Надо выйти из дома на площадь Льва Толстого, повернуть на Кировский, и через два дома в переулке открыт люк, из которого достают воду. Но достать ее тоже не легко: вокруг люка скользкая ледяная гора. Несколько женщин, обмотанных платками, ползком пытаются подобраться к люку, то и дело съезжая вниз. Мама держит меня за платок и подталкивает сзади. Пытаюсь забросить на веревке бидончик в люк. Вода не набирается, он плавает на поверхности. Снова и снова бросаю его вниз. Тем временем мои ноги примерзают к мокрому льду. Наконец-то набралось немного воды. Осторожно вытягиваю. Предательская ледяная корка у кромки люка зацепляет бидончик, он переворачивается, и вода выливается обратно. Колени совсем закованели. Все начинаю сначала...

Оставаясь одна, я почти не выхожу из комнаты. Уже много написано благодарных слов о ленинградском радио в дни блокады. Для многих детей оно было большим другом, не давало унывать, образовывало прекрасными передачами, воспитывало великолепным чтением лучших классических произведений. К тревогам и обстрелам привыкли. Но на это время включали метроном. Для детей, оставшихся в одиночестве в промерзших ленинградских квартирах, чистые звуки трубы отбоя воздушной тревоги означали и продолжение радиопередач. А значит означали и то, что холод и голод, постоянно преследующие сознание, отступали. Невыносимо длинные часы ожидания сокращались. Ведь держать в руках книжку или рисовать, шить не давал мороз. Нужно было, свернувшись в кресле калачиком, укрывшись оде-

ялом, беречь тепло. Вместе с Ниной и Настей Петровыми иногда мы устраивались втроем на кровати под одним одеялом, как в чукотском пологе, и слушали радио или читали вслух, согревая друг друга.

Их мать обычно дома. Отец и старший брат продолжают ходить на работу, на Кировский завод. Настает время, когда они приходят домой только раз в неделю, потом — раз в две недели... Их приход — всегда событие. Ведь Кировский завод на переднем крае, а значит — он живет и работает.

Однажды отец возвращается один. Он сильно простужен, лежит. А через несколько дней в этой семье беда. В магазине у матери украли хлебные карточки на неделю. Она в отчаянии. Отец умирает. Володя так и не возвращается с завода. Вскоре умирает и мать. Нина и Настя остаются одни. Соседи, как могут, поддерживают девочек. Чаще всего они сидят у Трусовых, в самой маленькой и самой теплой комнате, нагреваемой телами и дыханием людей.

Наши с мамой расставания невыносимы. Обратная дорога от Московского вокзала на Петроградскую невероятно тяжела. Несколько раз мама садится отдыхать. Но садиться нельзя. Сесть и расслабиться — значит умереть. В декабре мы получаем открытку от жены маминого брата. Они живут у Кузнечного рынка. Им нужна помощь, все слегли. Решаем перебраться к ним. И до работы от них ближе. Увязываем на саночки какие-то вещи и в сильнейшую стужу отправляемся, оставляя нашу квартиру с комнатой-мертвецкой. Там лежат бабушка и Максимка Спесивцевы, старик Куров, муж и жена Петровы.

Тяжелый переход к Кузнечному едва не стоил маме жизни. В первую очередь помощь понадобилась ей. И сколько раз еще за время блокады холодом, голодом, болезнями, обстрелами и бомбежками смерть заносила над нами свою косу!

Вернувшись домой в феврале, мы узнали, что вскоре после нашего ухода умерла Нина Петрова. Настю взяли к себе Трусовы. Они как могли выхаживали ее. У них она прожила всего около месяца. Спасти ее было невозможно. Петровы все умерли.

Сейчас, говоря о блокаде, о тяжелых потерях зимы 1941/42 года, в пример приводят семью Савичевых. Дневник маленькой Тани Савичевой стал символом судьбы очень многих ленинградских детей. Для меня — это Петровы. Еще в октябре — веселые, жизнерадостные Нина и Настя, полный сил Володя, суровый, сосредоточенный их отец, всегда озабоченная хлопотунья-мать...

В самую суровую зиму и позже мы очень много читали. Наши домашние книги постепенно исчезали в маленькой печурке, и чтения

явно не хватало. Ближайшая очень хорошая библиотека была расположена недалеко, в Доме культуры Промкооперации. Теперь это — Дворец Ленсовета. Библиотекарь, маленькая приветливая женщина с каким-то приподнято оптимистическим настроением, всегда была там. Зинаида Николаевна умела создать для каждого своего посетителя праздничное настроение. Библиотека притягивала к себе людей. Как много хотелось взять с собой книг, глаза разбегались. Кроме довольно серьезной литературы обязательно старались выбрать книги увлекательные, с веселым юмором. Самыми любимыми были рассказы М. Зощенко, украинские произведения Н.В. Гоголя. Для меня — большая, с множеством картинок книга Б. Житкова «Что я видел?», «Приключения Травки». Самые веселые места прочитывали вслух по нескольку раз. Коллизии сюжетов, юмор вызывали смех. А юмор и смех увеличивали силы. Много книг было прочитано из серии «Жизнь замечательных людей». Их упорство в преодолении трудностей, настойчивость, с которой они шли к успеху, тоже придавали силы.

Ранней весной 1942 года мама определила меня в детский сад-интернат. Он располагался в одном из деревянных строений Ботанического сада. А осенью там же в Ботаническом саду для детей открыли школу, состоявшую из трех классов. С большим трудом, так как мне еще не было восьми лет, только учитывая то, что я свободно читала и могла писать, меня вместе с несколькими другими детьми интерната приняли в школу в первый класс.

Анна Петровна Леонтьева — наша первая учительница. Высокая пожилая худая женщина с совершенно белыми стриженными волосами, в неизменной длинной коричневой юбке и черном пиджаке. Она постоянно с нами. Уроки часто прерываются обстрелами, бомбежками. Отсиживаемся в бомбоубежище, расположенном под зданием Главного гербария. Облепив со всех сторон Анну Петровну, слушаем ее чтение. В классе над черной доской висит лозунг, написанный красными буквами: «Сядь на школьную скамью, не забывай, что ты — в строю!». Каждая победа на фронте обсуждается, каждая возникшая трудность преодолевается вместе. Если сегодня кто-то не появился в классе, тут же двое или трое отправляются к нему домой. Мы делаем все, чтобы наш большой класс не поредел.

Большинство из нас невероятно плохо одеты. Особенно страдали от отсутствия теплой обуви. Анна Петровна добивается выдачи дополнительных ордеров на одежду, обувь. Вопрос, кому их выдать, обсуждается всем классом. Самые нуждающиеся выстраиваются у доски. Остальные смотрят на их одежду и решают. Для такого решения мы —

взрослые. Наши успехи или неудачи все время сравниваются с фронтовыми делами. Никаких скидок на голод или холод, замерзшие чернила, коченеющие руки и ноги. В классе мы сидим в зимней одежде. Больше всего ценится гражданское мужество. «Где твое гражданское мужество?» — спрашивает Анна Петровна. Это значит, что кто-то не приготовил урок, соврал, недобросовестно сделал порученное дело.

У нас дома в комнате появляется жилец. Он поселяется в углу, отгороженном шкафами. Это сотрудник МАЭ Василий Васильевич Федоров, хранитель археологических фондов МАЭ. Он приходит к нам из квартиры, расположенной с противоположной стороны нашего большого дома. От взрыва фугасной бомбы на улице через стену прошла громадная трещина. Оттуда жильцов переселяют в нашу часть дома. Предоставили Василию Васильевичу комнату Петровых. Но жить одному в холодной комнате невозможно, а у нас на месте ведерной печки стоит небольшая кирпичная плита, и температура ниже пяти мороза не опускается, а в основном она — положительная. Мы живем все вместе. Так теплее. Василий Васильевич сильно сутулится, немногословен, на руках шерстяные перчатки с обрезанными кончиками пальцев. Он устраивается, принес с собой книги, рукописи. Что-то пишет, сидя у печки, держа тетрадь на коленях. С интересом заглядывает в мои тетрадки, поправляет. Однажды он приносит радиорепродуктор в деревянном футляре, и мы торжественно заменяем им нашу черную тарелку. Сильные чистые звуки левитановского голоса наполняют комнату: «От Советского Информбюро...». Время от времени он отправляется на Университетскую набережную. Иногда отсутствует неделю и больше. Он — на казарменном положении.

Свободные от работы дни заняты поисками дров. Мама ездит на разборку деревянных домов куда-то к «Гиганту», обычно привозит оттуда по небольшому бревну. Такое бывает не часто. В разрушенных домах в округе подбираем каждую щепочку, все, что может гореть.

Для того чтобы приготовить уроки, я ставлю на плиту бутылочку с замерзшими чернилами и забываю открыть пробку. Мы сидим за столом и разговариваем. Раздается щелчок. О ужас! Все стены возле печки, стенка камина, пол, стоящие на плите кастрюли покрыты крупными фиолетовыми пятнами. Сначала, как и полагается, мне достается за закрытую пробку. Но потом, когда первая гроза миновала, и на случившееся можно посмотреть другими глазами, мы начинаем до слез смеяться. Фиолетовые плоды просвещения отмываются с большим трудом. Еще долгое время всем приходящим к нам не надо сообщать, что я уже хожу в школу.

В январе 1943 года мама тяжело болеет. Я ухаживаю за ней. Топлю печку, готовлю еду, кормлю. Ей очень плохо, и страх потерять ее заставляет меня не отходить от нее ни на минуту. Высокая температура. Глаза закрыты. Она молчит. Поздно ночью, приподняв веки, тихо спрашивает: «Что там в сводке?» — «Блокада прорвана!» — «Ах, ну какая же ты невнимательная! Что же ты мне раньше не сказала? Это же замечательно! Мне уже лучше. Ложись спать. Завтра — в школу. Теперь уже все будет хорошо». Через некоторое время она спокойно засыпает. Укутываюсь и ложусь и я. Мама поправляется, блокада прорвана, значит, прибавят хлеба, скоро придет теплая весна, потерявшие санки нашлись... Все очень хорошо!

Весной и летом 1943 года весь наш класс работает в парке Ботанического сада на огородах. Расчищаем землю от осколков кирпичей, стекол, щебенки — следов разрушения оранжерей и соседних зданий. Вспахиваем грядки. Поливаем. Сажать и полоть нам не доверяют. Мы упорно таскаем на громадных носилках тяжелый мусор, маленькими ведерками воду. Анна Петровна радостно и торжественно отмечает наше «гражданское мужество». Вместе с ней мы в День Победы прошли по Дворцовой площади. А через некоторое время она была награждена орденом Ленина.

Мама после войны долго могла ходить только на костылях. Прошло несколько лет упорного лечения, прежде чем она смогла их оставить.

МОЯ ПАМЯТЬ ХРАНИТ ВСЕ УЖАСЫ ВОЙНЫ...

Разные бывают воспоминания детства: приятные — мы по многу раз сами будим их в своей памяти; неприятные, и тем более страшные — гоним, стараемся забыть, но... именно они с поразительным упорством чаще прочих всплывают вновь, вызванные какой-либо случайной ассоциацией...

Мирная ночь. Война уже далеко позади. По улице спящего города лихой водитель гонит грузовик. Постепенно нарастая, шум мотора звериным воем врывается в распахнутое окно, и ты вдруг вскакиваешь с постели, дрожа от застаревшего, непрошедшего страха, и вновь встает перед тобой неправдоподобная картина того военного утра у станции Сонково:

Августовское утро 1941 года. На развороченном железнодорожном пути мечутся ошалевшие от паники и страха беженцы, а над ними с диким ревом носится взбесившийся фашистский «мессер», пуская очереди в незащи-

щенных стариков, женщин, детей. За моей спиной — разбитый, горящий эшелон, и предательски далеко — спасительный лес.

Я падаю, прижимаюсь к земле и с последней надеждой ишу глазами мать и брата.

Незнакомая женщина накрывает мою голову тазом... Под темным гулким колпаком мне становится еще страшнее. Приподнимаю «крышу» и в ужасе вижу: прямо на меня, как мне тогда казалось, с оглушительным воем и свистом падает самолет. Я опускаю глаза и цепенею в страшном ожидании...

Горящий «мессер» врзался в лес. Этого я, правда, уже не видела. Картину воздушной схватки истребителя с немецким бомбардировщи-



Галина Ивановна Дзенискевич, заведующая Отделом Америки, кандидат исторических наук, специалист в области этнографии индейцев Северной Америки. В августе 1941 года в детстве попала под бомбежку фашистского «мессера».

ком мне позднее дорисовал мой брат, рядом с которым в тот час не оказалось женщины с тазом.

И вот прошло уже более пятидесяти лет. Моя память по-прежнему хранит все ужасы войны: ночные бомбежки, пожары, голод (мы с матерью так и не смогли уехать тогда далеко от Москвы); однако, когда теперь в предутренний час по моей улице с нарастающим воем несется мирный грузовик, я просыпаюсь в страхе, и передо мной вновь оживает картина того августовского дня. Хочу, но не могу забыть его.

Т.А. Шрадер

НОЧЬЮ В НАШ ДОМ ПОПАЛА БОМБА

Я родилась в Ленинграде в 1939 году. До начала войны моя семья проживала на ул. Большая Зеленина, дом 14. В сентябре 1941 года ночью в наш дом попала бомба. В памяти остался какой-то непонятный ужас и вкус извести во рту...

Семья с остатками вещей переселилась в соседний дом, где нас расселили в помещении бывшего детского сада. Помню большую, перегороденную шкафами комнату, в основном темную. Запомнился возмущающийся чем-то дедушка, который вскоре умер. Оказалось, что кто-то украл у нас хлеб.

Отец служил тогда на Ленинградском фронте офицером морского флота и мог немного помогать нам хлебом. Очень хорошо помню момент рождения брата, ночь, крик мамы и какая-то бегущая в белом халате женщина. Мама родила брата 3 марта 1942 года сразу после смерти дедушки. Принимала моего брата акушерка, бабушкина приятельница, работавшая в свое время у врача Шредера, основавшего родильный дом.

Значительно более яркие воспоминания со времени эвакуации. Отец помог семье эвакуироваться летом в Вологодскую область, затем мы переехали в Вологду. Вернулись в Ленинград до окончания войны в 1945 г.



Татьяна Алексеевна Шрадер, старший научный сотрудник Отдела этнографии европейистики, кандидат исторических наук, специалист в области скандинавской филологии, истории немцев Петербурга и Петербургской губернии. Автор многих работ, в том числе переводов с норвежского языка. В детстве два года прожила в блокадном Ленинграде.

В.П. Дьяконова

СТРАНИЧКА ИЗ БЛОКАДНОГО ДНЕВНИКА



Вера Павловна Дьяконова, кандидат исторических наук, этнограф и археолог, специалист по тюркоязычным народам Южной Сибири. Все 900 блокадных дней провела в Ленинграде. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

«...По радио транслируют концерт для партизан Ленинградской области. Вчера была встреча партизан с Ленинградом. Город как-то красив, радостен. Да... Давно ли ленинградцы находились под постоянной опасностью. Артобстрел нарушал жизнь многих ленинградцев. Сколько сирот, сколько калек от рук фашистских захватчиков. Но будет праздник и на нашей улице. Сейчас немцы отогнаны от Ленинграда и город возвращается к нормальной жизни. Идет восстановление фабрик и заводов Ленинграда. Остановки трамваев перенесены на прежнее место. Начало спектаклей в театре в 7 часов. Все это показывает, что город входит в свое должное русло».

2 марта 1944 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО ТЕМ, КТО СОХРАНЯЛ МУЗЕЙ

А.А. Попов	
О действительных героях и мнимых	17
В.В. Федоров	
О блокадных днях, пережитых сотрудниками МАЭ	26
В.В. Екимова	
О фонде обороны	37
Д.А. Ольдерогге	
Наброски по воспоминаниям	38
С.В. Иванов	
Как была ликвидирована термитная бомба	46
В. В. Антропова	
Ученые думают о своих трудах, работая при свете коптилки	47
С.М. Абрамзон	
Они с честью справились со своей задачей	52
М.Д. Торэн	
Научная работа в Институте не прерывалась	55
В.Е. Краснодембский	
Из писем брату времен блокады Ленинграда	57
А.Н. Калдыкина	
18 января 1943 года	60
П.Н. Артамонова	
Трудно было, но выжили, сохранили музейные ценности	61
А.В. Панях	
Библиотека Института в годы войны	62
Т.В. Станюкович	
Музейные работники в годы блокады (по материалам архивов ЛО ИЭ и АН СССР)	68

СЛОВО ТЕМ, КТО ВОЕВАЛ

М.К. Кудрявцев	
Сентябрь 1942 года	89
А.И. Лавров	
Из записок ополченца	107

<i>И.Я. Треногов</i>	
Первые месяцы войны	110
<i>Г.Д. Вербов</i>	
Письма с фронта студенткам филологического факультета ЛГУ	115
<i>Г.А. Гловацкий</i>	
Войну я начал и закончил матросом	124
<i>К.В. Чистов</i>	
Начало и конец моей войны	127
<i>Л.М. Сабурова</i>	
В госпитале я проработала всю войну и еще полгода	133
<i>К.Д. Лаушкин</i>	
За всю войну мне только один раз удалось сфотографироваться	142
<i>Н.В. Новиков</i>	
В боях за Будапешт	144
<i>Э.Е. Фрадкин</i>	
Два очерка о Великой Отечественной войне	149
<i>Н.М. Федоров</i>	
Задание выполнено — мы облегчили действия нашей пехоте	154
<i>Л.А. Викторова</i>	
Мне довелось служить военным переводчиком	157
<i>М.М. Крюкова</i>	
Кажется тогда я выплакала вперед все слезы, сейчас их уже нет	168
<i>А.С. Задорожный</i>	
Мне целых восемь лет пришлось не выпускать из рук автомат	174
<i>М.П. Горбовский</i>	
Два эпизода из моей военной биографии	175
<i>Э.П. Карпеев</i>	
Я был участником парада Победы	177
<i>В. Стариков</i>	
Отряд имени Академии наук	179

СЛОВО ТЕМ, КТО РАБОТАЛ

<i>Л.В. Хомич</i>	
Страницы из блокадного дневника	191
<i>Л.И. Баславская</i>	
Называли нас «духовными сестрами»	202
<i>Л.Г. Нечаева</i>	
Мы строили железную дорогу через Ладогу	204
<i>Л.И. Смирнова</i>	
Нас всех поддерживала абсолютная уверенность в победе	205

Д.И. Тихонов	
Самым тяжелым испытанием был голод	214
Г.Г. Шаповалова	
«Я не геройствовала, а жила...»	215
Р.В. Кинжалов	
Воевать мне не довелось	226

СЛОВО ДЕТЯМ БЛОКАДЫ

Г.Н. Гоцко	
Мы жили коллективом	231
Ю.В. Маретин	
Открытие Книги	238
Л.А. Левизи	
Незабываемое	244
Ф.Д. Люшкевич	
Блокадные годы	249
Г.У. Михайлова	
«Так, с малолетней сестренкой мы остались одни...»	253
А.И. Мухлинов	
В жизни можно забыть многое, но блокадные дни — никогда	254
К.Б. Серебровская	
Я неохотно вспоминаю о войне... ..	256
Т.К. Шафрановская	
Блокадная дружба	259
С.А. Маретина	
Мы дожили до Победы	260
В.Н. Вологодина	
Наравне со взрослыми	275
Т.А. Попова	
Хроника блокадных дней	299
Г.Н. Грачева	
Дети блокады	305
Г.И. Дзенискевич	
Моя память хранит все ужасы войны... ..	313
Т.А. Шрадер	
Ночью в наш дом попала бомба	315
В.П. Дьяконова	
Страничка из блокадного дневника	316

ИЗ ИСТОРИИ КУНСТКАМЕРЫ (1941—1945)

Составитель
Вера Николаевна Вологодина

Утверждено к печати
Ученым советом Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской Академии наук

Редактор, технический редактор, корректор *И. Н. Ионина*
Набор *М. П. Оняновой*
Компьютерная верстка *С. Е. Григорьевой*
Цифровые копии фотоматериалов из фототеки Музея подготовлены
Е. Б. Толмачевой (фотолаборатория МАЭ РАН)

Допечатная подготовка и печать ИПП «Ладога»

Подписано в печать 19.11.03. Формат 70×90 ¹/₁₆. Гарнитура Лазурского.
Объем 20 печ. л. Тираж 500 экз. Заказ .